



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

92.8

17-913

P.2.

PG
3350
.A4.K15
v.2



1420 75

1111



А. С. ПУШКИНЪ.

К-П

Новонайденныя его сочиненія. Его черновыя письма. Письма къ нему
разныхъ лицъ. Біографическія и критическія статьи о немъ.

II.

МОСКВА.

1880.

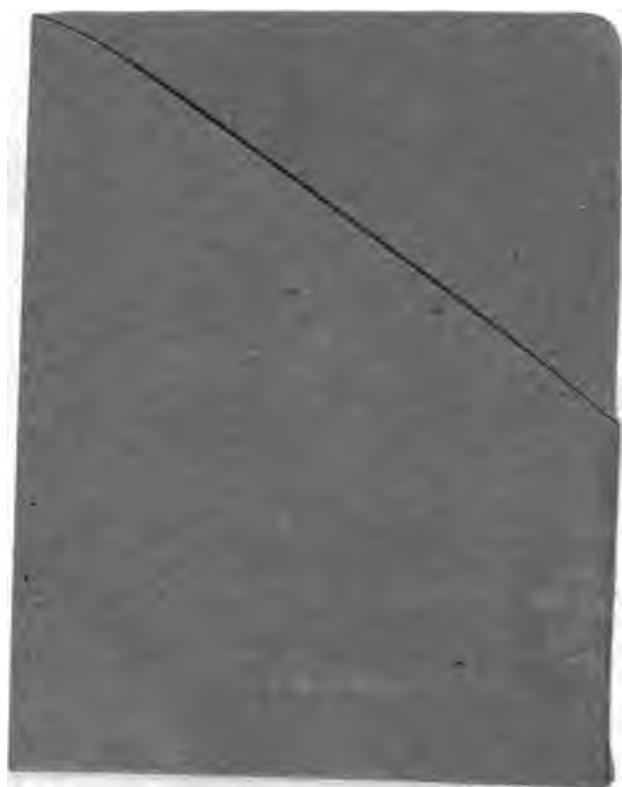
92:8

П-913

•••

А. С. ПУШКИНЪ.

2.



92:8
7-33

Къ биографіи А. С.
Пушкина

Куб-11

КЪ БІОГРАФІИ

А. С. ПУШКИНА.

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.

МОСКВА.

**Въ Университетской типографіи (М. Катковъ),
на Страстномъ бульварѣ.**

1885.

92:8(c)1

PG3350
A4K15
V.2



1956



41293
1848

A9282-37

15707

1044

1950 г.

*

Въ настоящемъ выпускѣ, кромѣ разныхъ статей объ А. С. Пушкинѣ, собраны нѣкоторыя мелкія его произведенія, вновь прочтенныя по черновымъ его рукописямъ, хранящимся въ Московскомъ Публичномъ Музеѣ, а также письма, полученныя А. С. Пушкинымъ и имѣющія значеніе для его біографіи. П. Б.





А. С. ПУШКИНЪ.

(1816—1837).

По документамъ Остафьевскаго архива и личнымъ воспоминаніямъ.

Статья князя П. П. Вяземскаго.



Сообщаемыя здѣсь свѣдѣнія объ Александрѣ Сергѣевичѣ Пушкинѣ извлечены изъ писемъ Н. М. и Е. А. Карамзиныхъ къ князю Вяземскому; князя П. А. Вяземскаго къ В. А. Жуковскому и А. И. Тургенева къ князю П. А. Вяземскому. Скучныя свѣдѣнія дополнены выдержками изъ біографіи сестры поэта, О. С. Павлицевой, написанной ея сыномъ, Л. Н. Павлицевымъ, и изъ записки графа М. А. Корфа съ примѣчаніями князя П. А. Вяземскаго въ защиту памяти поэта. Защиту его памяти мы считаемъ дѣломъ излишнимъ, но дорожимъ каждымъ свѣдѣніемъ о гениальномъ Русскомъ поэтѣ, хотя бы ему и въ укоръ передаваемымъ людьми ему близкими. А. С. Пушкинъ не могъ не знать всѣхъ сплетень, свивавшихся около его славнаго имени родными его, друзьями, завистниками и недругами. Въ письмѣ изъ Одессы 1824 года къ князю Вяземскому, Пушкинъ, говоря о безполезности утраченныхъ Записокъ Байрона, съ изумительнымъ краснорѣчіемъ обращается къ людямъ, потѣшающимся надъ слабостями великихъ людей. Конецъ обращенія его къ глумителямъ въ высшей степени краснорѣчивъ. Слово «иначе» поражаетъ блескомъ своего цинизма.

„Зачѣмъ жалѣешь ты о потерѣ Записокъ Байрона? Чортъ съ ними! Слава Богу, что потеряны. Онъ исповѣдался въ своихъ стихахъ невольно, увлеченный восторгомъ поэзіи. Въ хладнокровной прозѣ онъ бы лгалъ и хитрилъ, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своихъ враговъ. Его бы уличили, какъ уличили Руссо, а тамъ злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпѣ и будь за одно съ гениемъ. Поступокъ Мура лучше его Лалла-Рукъ (въ его поэтическомъ отношеніи). Мы знаемъ Байрона, — довольно. Видѣли его на тронѣ славы, видѣли въ мученіяхъ великой души, видѣли въ гробѣ посреди воскресающей Греціи. Охота тебѣ видѣть его на с...ѣ! Толпа жадно читаетъ исповѣди, записки, etc, потому что въ подлости своей радуется униженію высокаго, слабостямъ могущаго. При открытіи всякой мерзости она въ восхищеніи. *Онъ малъ какъ мы, онъ мерзокъ какъ мы!* Врете, подлецы: онъ и малъ, и мерзокъ не такъ какъ вы — иначе! Писать свои *mémoires* заманчиво и пріятно: никого такъ не любишь, никого такъ не знаешь какъ самого себя. Предметъ неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искреннимъ — невозможность физическая. Перо иногда остановится, какъ съ разбѣга передъ пропастью на томъ, что посторонній прочелъ бы равнодушно. Презирать судъ людей не трудно; презирать судъ собственный невозможно“.

*

Н. М. Карамзинъ въ письмѣ отъ 2-го Іюня 1816 года пишетъ изъ Царскаго Села, съ своего новоселья:

„...О себѣ скажемъ, что мы живемъ по здѣшнему въ пріятномъ мѣстѣ. Домикъ изрядный, садъ прелестный; ѣзжу верхомъ, ходимъ пѣшкомъ, и можемъ *наслаждаться* уединеніемъ. Государя я не видалъ, могу и не увидать. Ему докладывали о моемъ пріѣздѣ. Онъ спрашивалъ, по словамъ Ожаровскаго *), довольны ли мы домою, и проч. Въ Павловскомъ я былъ два раза: Императрица довольно пріятлива. Осмотрѣвъ Петербургскія типографіи, почти могу быть увѣреннымъ, что здѣсь нельзя печатать мнѣ исторіи; слѣдственно ждите насъ въ Августѣ. Жить дорого до крайности. Арзамасцы любезны по старому. Насъ посѣщаютъ питомцы Лицея: поэтъ Пушкинъ, *историкъ* Ломоносовъ, и смѣшать своимъ добрымъ простосердечіемъ. Пушкинъ остроуменъ“.

Вотъ любопытное письмо Е. А. Карамзиной, отъ 13-го Іюля того же года. Мы печатаемъ его вполнѣ ради его исторической важности,

*) Графъ Ожаровскій, генералъ-адъютантъ, лицо близкое Императору Александру и другъ Карамзина.

и хотя Пушкинъ упоминается въ немъ лишь вскользь, какъ школьнигъ, но однако уже какъ одно изъ малочисленныхъ лицъ, близкихъ князю Петру Андреевичу и проживавшихъ въ Царскомъ Селѣ. Всѣ письма и приписки Екатерины Андреевны писаны пофранцузски:

„Тому уже нѣсколько дней что мы не писали вамъ, дорогіе друзья, но придворные вечера и утомительныя прогулки лишали насъ этого удовольствія. Вы требуете подробностей. Я опишу вамъ день, проведенный въ Царскомъ Селѣ у Государя. Въ одинъ изъ Четверговъ, день въ который я встрѣчаюсь съ Государемъ въ саду, онъ ко мнѣ подошелъ; мы очень пріятно ведемъ бесѣду цѣлую четверть часа; расстаемся; каждый уходитъ въ свою сторону. Я о немъ перестала уже и думать, какъ вдругъ я снова вижу его передъ собой; я начинаю извиняться за мою неловкость, что я прерываю его царскія думы, онъ же мнѣ отвѣчаетъ любезностями. Эта вторая четверть часа оканчивается любезнымъ приглашеніемъ къ нему на обѣдъ на слѣдующій день. Вы понимаете, что приглашеніе принято съ благодарностію и приведено въ исполненіе въ Пятницу съ удовольствіемъ. Вотъ мы въ первый разъ запросто при большомъ дворѣ. Дворъ и свита Императрицы-матери, нѣсколько генераловъ, князь Голицынъ, Каподистрія и ваши покорнѣйшіе слуги составляли все общество, не считая хозяевъ дома и трехъ фрейлинь. По окончаніи обхода, во время котораго все семейство было со мной весьма любезно, и въ особенности хозяева, мы пошли обѣдать. За столомъ Государь нѣсколько разъ ко мнѣ обращался; затѣмъ мы перешли пить кофе на колоннаду, при страшномъ вѣтрѣ, надувавшемъ наши юбки какъ паруса; это однако не помѣшало находить погоду прелестной, хотя всѣ отъ холода дрожали, и кататься въ линейкахъ по Александровскому парку (мы и обѣдали не въ большомъ дворцѣ, а въ Александровскомъ, который восхитителенъ). Гулянье наше окончилось около шести часовъ; въ семь часовъ мы собрались на колоннаду въ большомъ дворцѣ, а оттуда пошли пѣшкомъ на большое озеро въ саду; здѣсь насъ ожидали лодки, и мы совершили восхитительную прогулку, такъ какъ погода совсѣмъ стихла; гулявшіе въ саду, собиравшіеся въ кучки, представляли оживленное зрѣлище; надо знать садъ, чтобъ имѣть вѣрное понятіе объ этой прекрасной подвижной картинѣ. Мы вышли на пустынный островъ; здѣсь насъ ожидало угощеніе. Хозяинъ и хозяйка превзошли себя въ искусствѣ чествовать своихъ гостей. Я расскажу вамъ самыя выдающіяся черты относительно меня самой. Государь, послѣ того что подходилъ много разъ ко мнѣ, чтобы говорить мнѣ весьма любезныя вещи, въ то время какъ подавали чай — подозвалъ подававшего, предложилъ мнѣ чай, самъ налилъ и самъ поднесъ мнѣ самымъ любезнѣйшимъ образомъ и все время продолжая разговоръ. Какъ скоро онъ удался, императрица Елисавета замѣнила его, нашла, что я сижу непокойно, поднесла мнѣ стулъ, на-

ставала, чтобы я сидѣла пока она стоитъ; я ее умоляю, чтобы она позволила мнѣ также стоять; тогда она приказываетъ поставить стулъ рядомъ съ моимъ, и тутъ я начинаю совершенно дружески съ нею разговаривать. Десять минутъ послѣ нашего разговора засѣданіе окончено, садятся снова въ шлюпки, причаливаемъ къ пристани, и счастливый день заканчивается счастливо. По окончаніи всего этого всѣ пошли спать—одни съ своими женами, а другіе одинешеньки. Мы же не легли спать, потому что Каподистріа съ Северинымъ пришли къ намъ пить чай, и часъ съ ними проведенный былъ не изъ менѣе пріятныхъ всего дня. Изъ всего этого вы можете заключить, что съ нами обращаются отлично, и ваше заключеніе будетъ совершенно основательно; также бесспорно и то, что все семейство привлекательной доброты, особенно Государь, который къ этому присоединяетъ необыкновенную любезность, преисполненную очарованія. Жена его — Грація, но уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, сохранившая въ голосѣ прелесть, проникающую прямо въ сердце, и ангельскую чувствительность, и пѣжность во взорѣ. Не смотря на все это, не смотря на блестящую и чарующую прелесть, меня окружающую, взоры мои, мысли, чувства влекутъ меня въ Москву, спокойное убѣжище, гдѣ лѣнь моя имѣла возможность отдыхать въ покоѣ. Я до сихъ поръ не сжилась съ окружающимъ меня туманомъ, и вздыхаю по моей спокойной ничтожности. Напоследокъ, я передаю мою участь въ руки того, кто ею управитъ лучше меня и который самъ будетъ направляемъ тѣмъ Всеблагимъ Существомъ, Которое видитъ души насъ обоихъ чистыми и непорочными.

„Возвращаюсь снова къ празднествамъ. Мы собираемся на Петергофскій. Государь былъ такъ добръ, что подумалъ о насъ, и мы будемъ имѣть комнаты, а не то трудно было бы удовлетворить наше любопытство; по возвращеніи сообщу вамъ описаніе. Письмо это и сообщаемое описаніе навѣрно не имѣютъ такой пикантности, какъ письмо отъ 29-го Іюня, вчера полученное; оно очень насмѣшило насъ, благодаря тому, что страшная опасность такъ хорошо обошлась, но въ другой разъ подражайте Государю, который, катая своихъ гостей въ лодкахъ, никого не топить ¹⁾). Излишне вамъ говорить, что 29 и 12 мы праздновали елико было возможно, и пили за ваше здоровье, захвативъ всѣхъ кто принимаетъ въ васъ участіе: г-жу Огареву и маленькаго Пушкина, пившаго отъ всего сердца за ваше здоровье. Чтѣ касается до меня, дорогой мой другъ, мнѣ пріятно говорить и повторять, какъ я васъ нѣжно люблю; одно ваше слово сказанное съ чувствомъ запечатлѣвается въ моемъ сердцѣ. *Это письмо запоздалое. Вы удивляетесь, откуда оно взялось* ²⁾). Я хотѣла угодить княгинѣ Вѣрѣ ³⁾); она меня просила подробно-

¹⁾ См. Переписку княжны Туркестановой съ Кристиномъ, стр. 362, въ 6-й книгѣ Р. Архива 1882 о неудачномъ катавѣ на лодкѣ въ селѣ Остаѣевѣ. П. Б.

²⁾ Напечатанное курсивомъ—и въ письмѣ порусски. Евят. Андр. объясняетъ князю Петру Андреевичу свою необычную общительность.

³⁾ Княгиня В. Ѳ. Вяземская, супруга поэта. П. Б.

стей, но онѣ только для васъ и для Рябинина, которому вы ихъ сообщите. Вы видите, что я не измѣняю моихъ привычекъ: все тѣже караулы, но я не церемонюсь съ друзьями; вы ихъ никому не показывайте“.

Отъ 30 Сентября 1818 года Н. М. Карамзинъ пишетъ изъ Царскаго Села:

„Думаемъ къ 7 Октября переѣхать въ городъ, читать корректуры, дѣлать визиты, большею частію пустыя, пить чай съ Тургеневымъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ; одинъ разъ въ недѣлю кричать съ глухимъ канцлеромъ, etc.“

Онъ же отъ 12 Мая 1819 года изъ Царскаго Села:

„Очень благодарю за Мет. d'un homme cѣlѣbге, etc.; немедленно отправлю все къ Пушкину *) черезъ Тургенева“.

Письмо Е. А. Карамзиной, отъ 23 Марта 1820, заключаетъ характеристическія свѣдѣнія объ А. С. Пушкинѣ и о тѣсномъ кружкѣ друзей Н. М. Карамзина:

„Что касается до насъ, то я полагаю, что праздники мы проведемъ какъ и Великій постъ, т. е. въ совершенномъ одиночествѣ. Александръ Тургеневъ съ своимъ братомъ Сергѣемъ уѣхалъ въ Москву. Повидимому, послѣднему не очень понравились сношенія съ моимъ мужемъ: уѣзжая на неопредѣленное время въ Константинополь, онъ даже не далъ себѣ труда зайти къ намъ проститься. Кто знаетъ, милый князь Петръ, кто знаетъ, можетъ быть настанетъ время, когда, живя въ одномъ съ нами городѣ, вы насъ также не будете посѣщать, потому что ваша братья хоть и либералы, тѣмъ не менѣе весьма нетерпимы; надобно имѣть одни и тѣже взгляды, а не то не только нельзя другъ друга любить, но даже и видѣться нельзя. Я шучу, помѣщая васъ въ это число: характеръ моего мужа мнѣ порука, что мы останемся братьями, не смотря на политическія мнѣнія. Жуковскій навѣщаетъ насъ разъ въ мѣсяць. У Пушкина всякій день дуэли; благодаря Бога, онѣ не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы. Муравьевъ печатаетъ свою критику на исторію моего мужа. Вы видите изъ этого краткаго обзора, что наше положеніе плохо въ томъ обществѣ, которое навѣщало насъ съ большимъ постоянствомъ; но, увѣ, надо находить утѣшеніе и, благодаря Бога, мы не слишкомъ унываемъ. Мой мужъ занимается своей исторіей съ большей усидчивостью чѣмъ когда либо, а я (какъ муха на возу) ее переписываю. Мы уже помышляемъ о Царскомъ Селѣ; намъ приготавливаютъ уже нашъ домикъ. Семейство наше здравствуетъ, и мы хоромъ благодаримъ за то Бога. Тѣже молитвы приношу за всѣхъ васъ, мои друзья, какъ за себя и за моихъ; цѣлую васъ съ большой нѣжностью и предоставляю себѣ въ слѣдующую Середу сказать вамъ: Христосъ воскрес!“

*) Къ Александру ли Сергѣевичу? П. Б.

Къ этому письму, писанному Екатериной Андреевной, по обычаю, пофранцузски, Николай Михайловичъ приписалъ, какъ и всегда, по-русски:

„Обнимаю васъ, любезнѣйшіе друзья, прочитавъ не безъ улыбки что пишеть къ вамъ жена о либералахъ, которые нелиберальны даже и въ разговорахъ, а я стараюсь быть либеральнымъ и на дѣлѣ, и въ такихъ случаяхъ... Но теперь не имѣю времени болтать. Скажу только, что люблю васъ, и нѣжно. Будьте, милые, здоровы и благополучны! На вѣки вашъ Н. Карамзинъ.“

О дуэляхъ Пушкина упоминается и въ выдержкахъ изъ біографіи Павлицевой и въ запискѣ графа М. А. Корфа.

Въ письмахъ Н. М. Карамзина и Екатерины Андреевны весьма ясно звучить строгій наставническій тонъ, съ значительной примѣсью высокоумія. Тонъ этотъ даже изумительно напоминаетъ тѣ письма, которыя князь Андрей Ивановичъ писалъ моему отцу въ послѣдніе годы жизни. Немудрено, что и Пушкинъ съ горечью вспоминалъ объ отношеніяхъ къ нему Карамзина.

Такъ, въ письмѣ изъ Михайловскаго, отъ 10-го Іюня 1826 года, онъ пишеть князю Петру Андреевичу:

„Коротенькое письмо твое огорчило меня по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, что ты называешь моими эпиграммами противъ Карамзина? Довольно и одной, написанной мною въ такое время, когда К. меня отстранилъ отъ себя, глубоко оскорбивъ и мое честолюбіе, и сердечную къ нему приверженность. До сихъ поръ не могу объ этомъ хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна; а другія, сколько знаю, глупы и бѣшены. Ужели ты мнѣ ихъ приписываешь? Во-вторыхъ, кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ахъ, милый, слышать обвиненіе, не слыша оправданія, и рѣшать: это Шемакинъ судъ. Если ужъ Вяземскій—такъ что же прочіе? Грустно, братъ, такъ грустно, что хоть сейчасъ въ петлю“.

Двѣ эпиграммы Пушкина (1818 года) на Карамзина напечатаны въ первомъ томѣ его сочиненій (изд. 1880, стр. 212).

Двѣ эпиграммы на Аракчеева (1820 года, въ томъ же изданіи) несомнѣнно были, и даже на первомъ планѣ, въ числѣ эпиграммъ, упоминаемыхъ Н. М. Карамзинымъ. (См. ниже).

Въ письмѣ къ князю Вяземскому отъ 17 Мая 1820 года Карамзинъ вкратцѣ упоминаетъ объ исходѣ перваго акта Пушкинской драмы въ связи съ политическими событіями того времени въ Европѣ: 1-го (13) Февраля 1820 года былъ убитъ въ Парижѣ герцогъ Беррійскій.

„Богъ знаетъ какъ долго не получали ни строки изъ Варшавы. Даже и Тургеневъ жаловался на ваше молчаніе. Впредь не желаемъ имѣть такого безпокойства. Готовитесь ли къ сейму и что сочиняете: рѣчи ли, конституцію ли? Гишпанцамъ желаю добра, а едва ли придется мнѣ и съ вами идти къ нимъ пѣшкомъ. Глобами и журналами не прельщаюсь. И у насъ проявились смѣльчаки: графъ Хвостовъ *держнулъ* сказать (въ стихахъ на убіеніе Берра), что не должно рѣзать людей. Онъ ждетъ великодушно смерти отъ руки какого-нибудь Занда! Не выдумываю, а слышалъ отъ него самого. Между тѣмъ А. Пушкинъ былъ нѣсколько дней совсѣмъ не въ нитическомъ страхѣ отъ своихъ стиховъ на свободу и нѣкоторыхъ эпиграммъ. Далъ мнѣ слово уняться и благополучно поѣхалъ въ Крымъ мѣсяцевъ на пять; ему дали рублей тысячу на дорогу. Онъ былъ, кажется, тронуть великодушіемъ Государя, дѣйствительно трогательнымъ. Долго описывать подробности; но если Пушкинъ и теперь не исправится, то будетъ чертомъ еще до отбытія своего въ адъ. Увидимъ, какой эпилогъ напишетъ къ своей поэмѣ! Простите, милые друзья, родители и дѣтки! Будьте всѣ здоровы. На вѣки вашъ Н. Карамзинъ“.

Поэмка эта—«Русланъ и Людмила», а эпилогъ, напечатанный въ «Сынѣ Отечества» того же года, помѣченъ: «26 Іюня 1820 года. Кавказъ».

Хожденіе пѣшкомъ въ Испанію объясняется предшествовавшимъ письмомъ отъ 12 Апрѣля: „Исторія Гишпаніи очень любопытна, боюсь только фразъ и крови. Конституція кортесовъ есть чистая демокрація à quelque chose près *). Если они устроятъ государство, то общаюсь идти пѣшкомъ въ Мадридъ, а на дорогу возьму Донъ-Бисота или Бихота.“

Письма Карамзинныхъ, характеризующія первый актъ драматической жизни Пушкина, недостаточно выражаютъ почти сыновнія отношенія Пушкина къ Карамзинымъ. Въ письмѣ В. А. Жуковскаго къ отцу Пушкина, отъ 15 Февраля 1837 года, отношенія эти ярко обрисовываются при прощаніи Пушкина съ жизнію:

„Было очевидно, что онъ спѣшилъ сдѣлать свой земной расчетъ и какъ будто подслушивалъ шаги приближающейся смерти. Взявши себя за пульсъ, онъ сказалъ Спасскому: *Смерть идетъ*. Когда подошелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрѣлъ на него два раза пристально, пожалъ ему руку; казалось, что хотѣлъ что-то сказать, но махнулъ рукою и только промолвилъ: *Карамзину!* Ея не было, за нею немедленно послали, и она скоро приѣхала. Сви-

*) За малымъ исключеніемъ.

даніе ихъ продолжалось только минуту; но когда Катерина Андреевна отошла отъ постели, онъ ее кликнулъ и сказалъ: «*Перекрестите меня*», и потомъ поцѣловалъ у нея руку“.

Въ письмахъ Карамзина замѣтно строгое, родительское и даже высокомѣрное отношеніе къ гениальному юношѣ. Это замѣтно изъ двухъ писемъ Карамзина 1820 года, напечатанныхъ Гротомъ и Пеккарскимъ въ 1865 году. Нѣтъ сомнѣнія, что увлеченія первой молодости Пушкина должны были производить сильное впечатлѣніе въ пуританской атмосферѣ, въ которой жилъ Карамзинъ, а гениальность Пушкина привлекала всѣ взоры на такія шалости, которыя изъ года въ годъ повторяются среди столичнаго юношества, оканчивающаго свое школьное образованіе или уже выступившаго на дѣятельное поприще. Въ запискѣ Павлицева, племянника А. С. Пушкина, упоминается о двухъ дуэляхъ, которыя только доказываютъ, что гениальный юноша долго оставался задорнымъ ребенкомъ.

Прежде однако чѣмъ передавать подробности объ отроческихъ годахъ Пушкина, сохранившихся въ запискѣ Павлицева, помѣщаемъ здѣсь, вслѣдъ за строгими отзывами Карамзина о Пушкинѣ, отзывы князя П. А. Вяземскаго и А. И. Тургенева.

Талантъ Пушкина весьма рано возбудилъ восторгъ князя Вяземскаго. Въ письмѣ къ Жуковскому изъ Варшавы, отъ 25 Апрѣля 1818 года, князь Петръ Андреевичъ пишетъ:

„Стихи чертенка-племянника чудесно-хороши. Въ *дыму столѣтій!* Это выраженіе—городъ. Я все отдалъ бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестія! Надобно намъ посадить его въ желтый домъ: не то, этотъ бѣшеный сорванецъ насъ всѣхъ заѣстъ, насъ и отцовъ нашихъ. Знаешь ли, что Державинъ испугался бы *дыма столѣтій?* О прочихъ и говорить нечего“!

Князь Вяземскій, не смотря на восторгъ, все-таки видитъ въ Пушкинѣ только племянника Василья Львовича. Тургеневъ же, помѣстившій Пушкина въ Лицей, и по окончаніи въ немъ курса поэта, не зналъ что дѣлать съ нимъ, точно курица высидѣвшая утенятъ. Въ письмѣ отъ 25 Февраля по поводу «*Руслана и Людмилы*» высказываетъ онъ свои заботы о Пушкинѣ:

„Племянникъ почти кончилъ свою поэму, и на сихъ дняхъ я два раза слушалъ ее. Пора въ печать. Я надѣюсь отъ печати и другой пользы, личной для него. Увидѣвъ себя въ числѣ напечатанныхъ и слѣдовательно уважаемыхъ авторовъ, онъ и самъ станетъ уважать себя и нѣсколько остепе-

нится. Теперь его знают только по мелким стихамъ и крупнымъ шалостямъ; но по выходѣ въ печать его поэмы—будутъ видѣть на немъ если не парикъ академическій, то по крайней мѣрѣ не первостепеннаго повѣсу; а кто знаетъ? можетъ быть схватятъ и въ Академію. Тогда и поминай какъ звали! И Жуговскій сталъ не тотъ съ тѣхъ поръ, какъ завербованъ“.

Достаточно видно, какъ много бѣдный Пушкинъ настрадался смолу отъ своихъ родныхъ и друзей. Не даромъ онъ любилъ повторять слова Французскаго героя: «Защити меня, Господи, отъ моихъ друзей, а враговъ я беру на себя».

Въ дополненіе къ тѣмъ скуднымъ свѣдѣніямъ о первой молодости А. С. Пушкина, которыя сохранились въ перепискѣ князя П. А. Вяземскаго, помѣщаю здѣсь выписки изъ воспоминаній Павлицева о матери своей, Ольгѣ Сергѣевнѣ Павлицевой, родной сестрѣ Александра Сергѣевича. Списокъ съ помѣтами князя П. А. Вяземскаго сохранился въ бумагахъ покойнаго. Предсказаніе о насильственной смерти поэта приписывается Ольгѣ Сергѣевнѣ Павлицевой, занимавшейся хиромантиею. Биографическій очеркъ переполненъ разказами о видѣніяхъ, галлюцинаціяхъ и столоверченіяхъ. Въ запискѣ Павлицева упоминаются двѣ дуэли, доказывающія только, что гениальный юноша долго оставался задорнымъ ребенкомъ, и едва ли не до конца жизни. Если бы Пушкинъ озабоченъ былъ сдерживаніемъ своихъ порывовъ и методическимъ пользованіемъ своими способностями, то онъ не могъ бы быть тѣмъ Пушкинымъ, которому Россія поставила памятникъ.

*

Записка Л. Н. Павлицева.

Сергѣй Львовичъ, получивъ современное Французское образованіе, предавался главнымъ образомъ изученію Французской литературы, писалъ превосходные Французскіе стихи, даже цѣлыя повѣсти въ стихахъ, уцѣлѣвшія въ альбомѣ г-жи Воловской въ Варшавѣ. Дѣдъ мой замѣчательнъ былъ какъ искусный актеръ-любитель, каламбуристъ и вообще какъ свѣтскій человекъ. Но Сергѣй Львовичъ въ бесѣдахъ своихъ не любилъ касаться ни политическихъ, ни экономическихъ вопросовъ, хотя не лишенъ былъ знаній въ этомъ отношеніи. Не любилъ тоже пускаться въ философію пренія; помимо того,

что перечиталъ у себя въ кабинетѣ всѣ произведенія энциклопедистовъ Вольтеровской эпохи, онъ имѣлъ особенное расположеніе къ стихотворству. И не мудрено, что всѣ въ его домѣ занимались писаніемъ стиховъ: даже въ передней Пушкиныхъ водились доморощенные стихотворцы изъ многочисленной дворни обоего пола, знаменитый представитель которой, камердинеръ Никита Тимоѣевичъ, состряпалъ даже нѣчто въ родѣ баллады, передѣланной изъ сказокъ о Соловьѣ-разбойникѣ, богатырѣ Ерусланѣ Лазаревичѣ и царевнѣ Милитрисѣ Кирбитьевнѣ. Рукопись Тимоѣевича, какъ курьезъ, долгое время хранилась у моей матери, и затерялась во время переѣзда нашего изъ Варшавы въ Петербургъ въ 1851 году.

Въ Петербургѣ Сергѣй Львовичъ вошелъ, чрезъ своего брата Василя Львовича, въ дружескія связи съ первоклассными тогдашними литераторами. Батюшковъ, Дмитріевъ, Жуковский и князь Вяземскій сдѣлались обычными посѣтителями его дома. Впослѣдствіи, съ выпускомъ Александра Сергѣевича изъ Лицея, а Льва Сергѣевича изъ Университетскаго Пансіона, литературный кружокъ Пушкиныхъ увеличился друзьями молодого поэта—барономъ М. А. Корфомъ, барономъ А. А. Дельвигомъ, В. В. Кюхельбегеромъ, А. С. Грибоѣдовымъ, П. А. Плетневымъ, Е. А. Баратынскимъ и С. А. Соболевскимъ. Ольга Сергѣевна превосходно очертила каждого изъ нихъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Всѣ эти и другія болѣе или менѣе замѣчательныя личности не могли не имѣть вліянія на развитіе умственной дѣятельности моей покойной матери.

Кромѣ того, обычными посѣтителями дѣда моего были Французскіе эмигранты. Изъ нихъ назовемъ графа Бурдибура, Камара, виконта Сентъ-Обена, а главное графа Ксавье де-Местра, автора: *Voyage autour de ma chambre ...*

Гувернеровъ и гувернантокъ изъ иностранцевъ у молодыхъ Пушкиныхъ перебивало множество до вступленія Александра Сергѣевича въ Лицей. Всѣ почти науки преподавались Ольгѣ Сергѣевнѣ и Александру Сергѣевичу этими господами. Первымъ воспитателемъ обоихъ дѣтей былъ графъ Монфоръ, затѣмъ Русло, котораго смѣнилъ Шедель. Эти два послѣдніе Француза стояли въ педагогическомъ отношеніи ниже всякой критики. Несносный, капризный самодуръ Русло, имѣвшій претензію писать Французскіе стихи не хуже Корнея и Расина, изливалъ свою злобу на Александра Сергѣевича всякій разъ, когда заставлялъ его въ дѣтской за подобными же упражненіями въ стихотворствѣ. Тогда онъ жаловался Надеждѣ Осиповнѣ, въ глазахъ которой дѣти всегда были виноваты, а самодуръ правъ. Гувернантки были сносноѣ.

Такимъ образомъ первоначальное воспитаніе моей матери и брата ея находилось въ рукахъ этихъ господъ и госпожъ. Къ счастью, господамъ иностранцамъ не отдали въ распоряженіе Русскій языкъ и православный катехизисъ.

Бабка дѣтей, Марья Алексѣевна—изящнымъ слогомъ которой любовались всѣ читавшіе ея письма—обучала своихъ внуковъ отечественному языку.

ку, а священникъ Александръ Ивановичъ Бѣликовъ преподавалъ имъ Законъ Божій. Обладая въ совершенствѣ Французскимъ языкомъ, онъ перевелъ „Духъ Массильона“, и какъ проповѣдникъ отличался силою своего краснорѣчія. Въ гостинной Пушкиныхъ бесѣдовалъ онъ съ Французскими эмигрантами на ихъ же языкѣ, опровергая остроумно философскія убѣжденія этихъ господъ. Съ нимъ только и съ Марьей Алексѣвной дѣти разговаривали по-русски. Сергѣй Львовичъ по вечерамъ занималъ ихъ мастерскимъ чтеніемъ Французскихъ классиковъ, въ особенности Мольера.

Отношенія матери моей къ своему брату, поэту, были самыя дружественныя. Она въ дѣтствѣ еще критиковала его комедію „L'Escamoteur“, а онъ, будучи въ Лицеѣ, въ 1814 году, написалъ ей извѣстное посланіе.

По Воскресеньямъ и праздникамъ родные посѣщали Царскосельскихъ питомцевъ. Тутъ Александръ Сергѣевичъ читывалъ сестрѣ свои поэтическія произведенія и спрашивалъ ея совѣтовъ, сознавая всю тонкость ея вкуса и мѣткость ея замѣчаній. Она съ своей стороны обмѣнивалась съ нимъ мыслями и сама старалась развивать свое нравственное образованіе.

Весну и лѣто Пушкины проводили въ Михайловскомъ, въ сосѣдствѣ съ многочисленной семьей Ганибаловъ, представителями которыхъ были неисчерпаемые въ веселости своей и хлѣбосольтствѣ трое дядей Ольги Сергѣевны Петръ, Павелъ и Семенъ Исааковичи, сыновья Исаака Абрамовича. Изъ нихъ отставной подполковникъ Семенъ Исааковичъ придумывалъ всевозможныя увеселенія, среди которыхъ и былъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ. Александръ Сергѣевичъ очень любилъ его, помимо того что однажды (это было вскорѣ послѣ его выпуска изъ Лицея) чуть было не вызвалъ его на дуэль за то, что С. И. въ одной изъ фигуръ мазурки завладѣлъ его дамой, дѣвицею Л—вой, къ которой Александръ Сергѣевичъ былъ не совсѣмъ равнодушенъ. Дѣло между дядей и племянникомъ кончилось, разумѣется, мировой и новыми увеселеніями.

Ольга Сергѣевна разлучилась съ братомъ Александромъ Сергѣевичемъ въ 1820 году, когда онъ, какъ извѣстно, былъ удаленъ изъ Петербурга; возвратился онъ въ Михайловское только лѣтомъ 1824 года. Въ 1826 году младшій ея братъ, Левъ Сергѣевичъ, записался, втайнѣ отъ родителей, прочившихъ его въ гражданскую службу, въ Нижегородскій драгунскій полкъ и уѣхалъ изъ Петербурга.

И Александръ Сергѣевичъ и Левъ Сергѣевичъ бѣжали, можно сказать, изъ дома. Первый чуть ли не нарочно провинился стихами, чтобы его выслали изъ Петербурга, а второй тайкомъ записался въ Нижегородскій драгунскій полкъ, какъ о томъ выше сказано. Мать моя выдержала ярмо дольше всѣхъ.

Въ альбомѣ списаны Ольгою Сергѣевной лучшія Русскія стихотворенія ея брата и другихъ писателей, а также ея собственныя. Въ сожалѣнію, мать

моя не подъ каждымъ изъ нихъ подписывала фамилію авторовъ. Но въ числѣ этихъ поэтическихъ произведеній помѣщено два, которыя приписываются Ольгѣ Сергѣевнѣ ея друзьями. Мать моя, по скромности своей, на мои вопросы, кто ихъ сочинилъ, отвѣчала улыбаясь: „Отгадай, не скажу“. Первая изъ этихъ пьесъ: „Пушкинъ“ сочинена, когда братъ ея, высланный изъ Петербурга, плѣнялъ своею лирою Бессарабію и Кавказъ. Вотъ какъ онъ былъ воспѣтъ, по всей вѣроятности сестрою:

П у ш к и н ъ.

Еще въ младенческія лѣта
Являлъ онъ въ пѣсняхъ дивный даръ,
И не потухнулъ въ шумѣ свѣта
Его души небесный жаръ.
Не измѣнилъ онъ назначеню,
Главы предъ рокомъ не склонялъ,
И вѣрный тайному влеченю
Онъ надъ судьбой торжествовалъ.
Въ печальной участи изгнанья,
Видѣвъ міръ въ себѣ одномъ,
Златое сѣмя дарованья,
Какъ пышный цвѣтъ созрѣло въ немъ.
Онъ плѣлъ въ степяхъ подъ игомъ скуки,
Влача свой страйническій вѣкъ,
И на плѣнительные звуки
Стекались нѣмой чуждыхъ рѣкъ;
Внимая пѣснопѣвьямъ славнымъ,
Пришельца въ лавры облекли,
И въ упоеньи нарекли
Его пѣвцомъ самодержавнымъ.

Вторая пьеса: „Разустройство“, въ которой Ольга Сергѣевна говоритъ отъ имени Царскосельскаго товарища Александра Сергѣевича, В. В. Кюхельбекера, написана по случаю упрека, сдѣланнаго Кюхельбекеру моимъ дядей за обидчивый характеръ, причемъ Александръ Сергѣевичъ сказалъ ему: „Тяжелый у тебя нравъ, братъ Кюхля! Вспомни мое слово: ни любовницы, ни друга не познать тебѣ во вѣкъ“. Пушкинъ, впрочемъ, надо замѣтить, очень любилъ брата Кюхлю (такъ онъ всегда называлъ его), и только разъ повздорилъ съ нимъ изъ за какихъ-то пустяковъ, вслѣдствіе чего, рассказывала мнѣ Ольга Сергѣевна, секунданты повздорившихъ, ихъ же закадычные друзья, поставивъ поединщиковъ на дистанію въ десяти шагахъ, вручили имъ по карманному пистолетику, не бывшему и на пять шаговъ. Результатомъ поединка было, конечно, искреннее примиреніе друзей и смѣхъ немалый.

Вотъ стихи „Разустройство“.

Не мани меня, надежда,
Не прельщай меня мечта!
Ужъ нельзя мнѣ всей душою
Вдаться въ сладостный обманъ.
Ужъ унесся предо мною
Съ жизни жизненный туманъ.

и пр.

*

Послѣдній выписываемый нами эпизодъ изъ біографіи О. С. Павлицевой, не принадлежитъ той же эпохѣ; но мы приводимъ эту характеристическую черту, такъ какъ весьма вѣроятно намъ не придется болѣе возвращаться къ этому біографическому очерку.

27 Января 1828 года, въ часъ пополуночи, Ольга Сергѣевна вышла изъ дому; у воротъ ждалъ ея отецъ мой. Они сѣли въ сани и поскакали въ церковь Св. Троицы Измайловскаго полка, гдѣ и обвѣнчались въ присутствіи четырехъ свидѣтелей, друзей жениха, а именно: двухъ офицеровъ Измайловскаго (В. и Б.) и двухъ Конноегерскаго полка (В. и Т.).

Послѣ вѣнца Николай Ивановичъ отвезъ свою супругу назадъ къ родителямъ, а самъ отправился къ себѣ домой. Ольга Сергѣевна рано утромъ послала за братомъ, Александромъ Сергѣевичемъ, жившимъ тогда особо въ Демутовой гостинницѣ. Онъ тотчасъ прискакалъ, и послѣ переговоровъ съ родителями далъ знать Николаю Ивановичу, чтобы тотъ немедленно явился. Новобрачные пали къ ногамъ родителей и получили прощеніе. Но прощеніе Надежды Осиповны было неполное: она до самой своей смерти дулась на зятя. Сергѣй же Львовичъ, напротивъ того, полюбилъ его какъ роднаго сына.

Когда объ этомъ происшествіи доложено было Государю Императору С.-Петербургскимъ оберъ-полицеймейстеромъ, то Его Величество спросилъ, нѣтъ ли жалобы съ чьей-либо стороны и, на отрицательный отвѣтъ оберъ-полицеймейстера, соизволилъ сказать: „Такъ оставить безъ послѣдствій“, чему былъ очень радъ Николай Ивановичъ, и въ особенности его свидѣтели.

По этому же случаю Александръ Сергѣевичъ сказалъ сестрѣ: „Ты мнѣ испортила моего Онѣгина: онъ долженъ былъ увести Татьяну, а теперь... этого не сдѣлаетъ“.

*

Записка графа Корфа *).

Въ 1872 году Н. П. Барсуковъ сообщилъ князю П. А. Вяземскому копию съ записки графа М. А. Корфа объ А. С. Пушкинѣ съ просьбой сдѣлать на нее замѣчанія. Сообщаемъ этотъ важный доку-

*) Эту записку авторъ передалъ въ спискѣ на храненіе и въ Чертковскую Библиотеку. Подстрочныя къ ней замѣчанія принадлежатъ князю П. А. Вяземскому. П. Б.

ментъ, не смотря на его строгую оцѣнку характера Пушкина, ссылаясь въ оправданіе на письмо поэта о Байронѣ, помѣщенное вслѣдъ за предисловіемъ къ нашей статьѣ. Излишне защищать и память Сергѣя Львовича Пушкина, жившаго, подобно всѣмъ нашимъ дѣдамъ, пробавляясь Вольтеромъ и одоляясь другъ у друга посудой во всѣхъ случаяхъ, выходящихъ изъ обыденнаго порядка.

Жизнь Пушкина была двойная ¹⁾: жизнь поэта и жизнь человѣка. Биографическіе отрывки, которые мы о немъ имѣемъ, вышли всѣ изъ рукъ или его друзей, или слѣпыхъ поклонниковъ, или такихъ людей, которые смотрѣли на Пушкина черезъ призму его славы и даже если и знали что нибудь о моральной его жизни, то побоялись бы раскрыть ее передъ публикою, чтобы не быть побіенну литературными каменьями. Я не только воспитывался съ Пушкинымъ въ Лицеѣ, но и жилъ еще съ нимъ лѣтъ пять подъ одною кровлею, въ томъ самомъ домѣ Трофимова, о которомъ говоритъ г. Бартеневъ, каждый при своихъ родителяхъ; потому зналъ его такъ коротко, какъ мало кто другой, хотя связь наша никогда не переходила за обыкновенную пріятельскую.

Начну съ того, что все семейство Пушкиныхъ было какое-то взбалмошное. Отецъ его былъ довольно пріятнымъ собесѣдникомъ, на манеръ старинной Французской школы, съ анекдотами и каламбурами, но въ существѣ человѣкомъ самымъ пустымъ, безтолковымъ, бесполезнымъ и особенно безмолвнымъ работъ своей жены. Последняя была женщина не глупая, но эксцентрическая, вспылчивая, до крайности разсѣянная и особенно чрезвычайно дурная хозяйка. Домъ ихъ представлялъ всегда какой-то хаосъ и вѣчный недостатокъ во всемъ, начиная отъ денегъ и до послѣдняго стакана: когда у нихъ обѣдывало человѣка два-три лишнихъ, то всегда присылали къ намъ за приборами. Все это перешло и на дѣтей. Въ Лицеѣ Пушкинъ рѣшительно ничему не учился ²⁾, но и тогда уже блисталъ своимъ дивнымъ талантомъ. Особенный кружокъ, въ которомъ Пушкинъ проводилъ свои досуги, состоялъ вполнѣ изъ л.-гусарскаго полка ³⁾. Вечеромъ, послѣ класныхъ часовъ, когда прочіе бывали или у директора или въ другихъ семейныхъ домахъ, Пушкинъ, ненавидѣвшій всякое стѣсненіе, нировалъ съ этими господами на распахку.

¹⁾ Какъ то обыкновенно бываетъ со всѣми: здѣсь нѣтъ двойности, исключительно или особенно Пушкину принадлежащей.

²⁾ Кажется, учился неосновательно, непослѣдовательно, а *рѣшительно ничему*—ужь слишкомъ сильно сказано. Онъ и тогда много читалъ, стало быть про себя все-таки учился.

³⁾ И въ гусарскомъ полку Пушкинъ не только *нировалъ на распахку*, но сблизился и съ Чаадаевымъ, который вовсе не былъ гулякою; не знаю что бывало прежде, но, со времени перѣзда семейства Карамзиныхъ въ Царское Село, онъ бывалъ у нихъ ежедневно по вечерамъ. А дружба его съ Ив. Пущиннымъ?

По окончаніи курса выпустили его изъ Лицея коллежскимъ секретаремъ—чинъ, который остался при немъ до могилы. Между товарищами, кромѣ стихотворцевъ, онъ не пользовался особенною пріязнью. Въ Лицеѣ его называли Французомъ ⁴⁾; а если вспомнить, что онъ получалъ это прозваніе въ эпоху „нашествія Галловъ“, то ясно, что этотъ титулъ заключалъ въ себѣ мало лестнаго. Вспылчивый до бѣшенства, вѣчно разсѣянный, вѣчно погруженный въ поэтическія свои мечтанія, съ необузданными Африканскими страстями, избалованный издѣтства похвалою и льстецами ⁵⁾, Пушкинъ ни на школьной скамьѣ, ни послѣ, въ свѣтѣ, не имѣлъ ничего любезнаго и привлекательнаго въ своемъ обращеніи. Бесѣды ровной, систематической, сколько нибудь связанной у него совсѣмъ не было, какъ не было и дара слова; были только вспышки: рѣзкая острота, злая насмѣшка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но все это лишь урывками, иногда, въ добрую минуту; большею же частію или тривіальныя общія мѣста, или разсѣянное молчаніе ⁶⁾. Въ Лицеѣ онъ превосходилъ всѣхъ въ чувственности, а послѣ, въ свѣтѣ, предался распутствамъ всѣхъ родовъ, проводя дни и ночи въ непрерывной цѣпи вакханалій и оргій ⁷⁾. Должно дивиться, какъ и здоровье и талантъ его выдержали такой образъ жизни, съ которымъ естественно сопрягались и частыя гнусныя болѣзни, низводившія его не разъ на край могилы. Пушкинъ не былъ созданъ ни для свѣта, ни для общественныхъ обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только двѣ стихіи: удовлетвореніе плотскимъ страстямъ и поэзія, и въ обоихъ онъ ушелъ далеко. Въ немъ не было ни внѣшней, ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ, и онъ полагалъ даже какое-то хвостовство

⁴⁾ Если слылъ онъ *Французомъ*, то вѣроятно потому, что по первоначальному домашнему воспитанію своему лучше другихъ товарищей своихъ говорилъ по французски лучше зналъ Французскую литературу, болѣе читалъ Французскія книги, самъ писалъ Французскіе стихи, и проч.; но видѣть тутъ какое-нибудь политическое значеніе—есть предположеніе совершенно произвольное и которое въ Лицеѣ вѣроятно никому въ голову не приходило.

⁵⁾ Не думаю, чтобы Пушкинъ былъ издѣтства избалованъ *льстецами*. Какіе могли быть тутъ льстецы?

⁶⁾ Былъ онъ *вспылчивъ*, легко раздраженъ—это правда; но совсѣмъ *тѣмъ*, онъ, напротивъ, въ общемъ *обращеніи* своемъ, когда самолюбіе его не было задѣто, былъ особенно *любезенъ* и *привлекателенъ*, что и доказывается многочисленными пріятелями его. Бесѣды *систематической*, можетъ быть, и не было, но все прочее сказанное о разговорѣ его—несправедливо или преувеличено. Во всякомъ случаѣ не было *тривіальныхъ общихъ мѣстъ*: умъ его вообще былъ здравый и свѣтлый.

⁷⁾ Сколько мнѣ извѣстно, онъ вовсе не былъ *преданъ распутствамъ всѣхъ родовъ*. Не былъ монахомъ, а былъ грѣшенъ какъ и всѣ въ молодые года. Въ любви его преобладала вовсе не *чувственность*, а скорѣе поэтическое увлеченіе, что впрочемъ и отразилось въ поэзіи его.

въ отъявленномъ цинизмѣ по этой части: злыя насмѣшки—часто въ самыхъ отвратительныхъ картинахъ надъ всѣми религіозными вѣрованіями и обрядами, надъ уваженіемъ къ родителямъ, надъ родственными привязанностями, надъ всѣми отношеніями общественными и семейными: это было ему ни почемъ. Ни несчастіе, ни благотвореніе императора Николая его не исправили: принимая одною рукою щедрые дары монарха, онъ другою омокать перо для злобной эпиграммы *)! Вѣчно безъ копѣйки, вѣчно въ долгахъ, иногда почти безъ порядочнаго фрака, съ безпрестанными исторіями, съ частыми дуэлями, въ близкомъ знакомствѣ со всѣми трактирами, непотребными домами и прелестницами Петербургскими, Пушкинъ представлялъ типъ самаго грязнаго разврата. Было время, когда онъ получалъ отъ Смирдина по червонцу за стихъ; но эти червонцы скоро укатывались, а стихи, подъ которыми не стыдно бы было подписать имя Пушкина—единственная вещь, которою онъ дорожилъ въ мірѣ—сочинялись не всегда и нелегко. Онъ писалъ только въ минуты вдохновенія. Женитьба нѣсколько его остепеняла, но была пагубна для его генія. Прелестная жена, которая любила славу своего мужа болѣе для успѣховъ своихъ въ свѣтѣ, предпочитала блескъ и балную залу всей поэзіи въ мірѣ, и—по странному противорѣчію—пользуясь всѣми плодами литературной извѣстности Пушкина, изподтишка немножко гнушалась тѣмъ, что она, свѣтская женщина *par excellence*, привязана къ мужу *homme de lettres*. Эта жена съ семейными и хозяйственными хлопотами привела къ Пушкину ревность и отогнала его Музу *).

*

Время съ 1822 по 1825 годъ.

Князь П. А. Вяземскій пишетъ Тургеневу отъ 30 Мая 1822 г. изъ Москвы (дуэли съ полковникомъ Старовымъ и Молдаваниномъ Бальшемъ относятся къ 1822 г., см. Рус. Арх. 1866 г.):

Вручитель этихъ строкъ Malcolm, Шотландскій путешественникъ; онъ былъ мнѣ рекомендованъ изъ Варшавы и подтвердилъ собою хорошую реко-

*) Императору Николаю былъ онъ душевно преданъ.

*) Никакого особеннаго знакомства съ трактирами не было, и ничего трактирнаго въ немъ не было, а еще менѣе *грязнаго разврата*. Всѣ эти обвиненія не только несправедливая строгость, но и клевета. Жена его любила мужа вовсе *не для успѣховъ своихъ въ свѣтѣ* и нисколько не *гнушалась* тѣмъ, что была женою d'un *homme de lettres*. Въ ней вовсе не было чванства, да и по рожденію своему принадлежала она высшему аристократическому кругу. Худо вѣрится, чтобы эта записка была составлена Корѣомъ, а если его, то нельзя не дивиться, что при подобной оцѣнкѣ Пушкина взялся онъ за председательство въ комитетѣ о сооруженіи ему памятника.

мендацію. Приласкай его и познакомь въ Петербургѣ. Ты меня совсѣмъ забылъ. Сдѣлай милость, вышлай скорѣе красную книжку. Кишиневскій Пушкинъ ударилъ въ рожу одного боярина и дрался на пистолетахъ съ однимъ полковникомъ, но безъ кровопролитія. Въ послѣднемъ случаѣ вель онъ себя, сказываютъ, хорошо. Написалъ кучу прелестей; денегъ у него ни гроша. Кто въ Петербургѣ заботился о печатаніи его Людмилы? Вся-ли она распродана и нельзя ли подумать о второмъ изданіи? Онъ, сказываютъ, пропадаетъ отъ тоски, скуки и нищеты. Прости.

Братъ твой здоровъ. Получилъ-ли портретъ и грамматику и пустилъ-ли въ ходъ то и другое?

На письмѣ черная печать съ припиской:

Не пугайся чернаго сургучу: другаго не попалось подъ руки, да и Пушкинъ такъ натвердилъ „Черную Шаль“.

Помѣщаемъ здѣсь письмо Михаила Ѳедоровича Орлова къ князю П. А. Вяземскому изъ Кіева, отъ 9 Ноября 1822 года, характеризующее Орлова и опредѣляющее въ его глазахъ значеніе Пушкина:

Любезный другъ, письмо твое съ изображеніемъ прелестной твоей жены я получилъ исправно и спѣшу тебѣ отвѣчать. Ждалъ тебя въ Крыму, въ Одессѣ, во всей Южной Россіи, а ты рыскалъ по Сѣверу. Надѣюсь, что по крайней мѣрѣ успѣю тебя захватить въ Москвѣ, когда нынѣшній годъ туда явлюсь. Между тѣмъ посылаю женѣ твоей, у коей цѣлюю ручку, нѣсколько банокъ варенья Кіевскаго, уплачивая тѣмъ старій мой долгъ и замазывая тебѣ сахаромъ ротъ за всѣ твои упреки.

При семъ слѣдуетъ также большое письмо отъ Пушкина, разбраненнаго тобою. Я не знаю, что онъ къ тебѣ пишетъ; но этотъ молодой человѣкъ сдѣлаетъ много чести Русской словесности. Кавказскій Плѣнникъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прелестенъ, и даже послѣдніе стихи похожи нѣсколько на сочиненіе поэта лауреата (lauréat), и можно ихъ простить за красоты общаго.

Дѣло мое идетъ и продолжается. Чужіе края и отечество наполнились странными слухами, и посреди общаго вранья трудно постичь настоящій ходъ дѣла. Объ ономъ я распространяться не буду, но вообрази себѣ собраніе глупой черни, смотрящей на воздушный шаръ. Одни говорятъ—это чортъ летитъ, другіе—это явленіе въ небѣ, третьи—чудеса, и пр., и пр. Спускается балонъ, и чтожь? Холстина надутая газомъ. Вотъ все мое дѣло. Когда шаръ спустится, вы сами удивитесь, что такъ много обо мнѣ говорили. Впрочемъ, все сіе дѣло меня крѣпко ожесточило и тронуло до крайности. Ежели я достигъ равнодушія, то черезъ сильную борьбу. Теперь я спокоенъ и надѣюсь, что тѣ, кои съ перваго шаха хотѣли меня сбить съ ногъ, ушиб-

лись сами о меня и кусаютъ себѣ пальцы. Прощай, любезный Асмодей, до свиданья.

Характеристично для исторіи развитія нашего журнализма письмо князя Петра Андреевича, писанное 25-го Февраля 1824 г. должно быть къ Воейкову и сохранившееся въ копіи въ бумагахъ Жуковского:

Еще до полученія твоего письма собирался я внести тебѣ часть оброчной суммы на текущій годъ. О первыхъ двухъ письмахъ твоихъ слышу въ первый разъ. За что мнѣ на тебя гнѣваться? По неволѣ скуплюсь стихами своими: будешь скупъ, какъ ничего нѣтъ, а цензура и послѣднее отнимаетъ. Спасибо за описаніе литературнаго вашего миролюбія. Дайте срокъ! „C'est de Moscou aujourd'hui que vous viendra la lumière“ ¹⁾. „Фонтанъ“ брызнетъ на васъ поэзією! Я готовлю къ нему родъ предисловія, разговора, *facétie*; не знаю, удастся ли? Послѣ будетъ мнѣ можно; а болѣе всего дожидаю прока отъ журнала Рамча, если позволять ему издавать его. Ваша Петербургская преза тоща до крайности. Да и какъ вы всѣ лѣнны! Скажемъ правду: будто Гречь и ты журналисты! Вы компиляторы текущихъ бездѣлокъ. Вы не даете насущнаго хлѣба, а кормите сухарями. Кажется, Ривароль говорить о Мирабо, что главное въ немъ достоинство было, *qu'il écrivait et parlait sur des objets palpitants de l'intérêt du moment* ²⁾. Вотъ правило, коему долженъ слѣдовать журналистъ. А у васъ никогда не дождемся этого трепетанія. Одинъ Измайловъ иногда захватываетъ природу на дѣлѣ, да и то когда ее проноситъ съ верха и низа. Конечно, времена не благопріятствуютъ большей живости, но послѣдуемъ первому, который и въ навозѣ копышется. Надобно напугать Красовскаго съ братією дѣятельностію и рваться передъ ними, и что ихъ дураковъ тѣшить и добровольно засыпать подъ ихъ баюканье? Вода хлещетъ и подмываетъ съ ревомъ и яростію плотину, преграждающую ея естественное теченіе, а не цѣлуетъ ее покорными и безголосными струями. Плотину поставили, за то и держись плотина!... Ужъ если пошло дѣло на брань, то побранку тебя и за твое шарлатанство и гостинодворничество. Чтò за охота выставлять старыя за новыя? Кого обманешь? Да и на что подставлять бедро справедливымъ уликамъ? Мало ли говорено было о томъ, что ты перепечатываешь старье, а ты все не уймешься. Ужъ изъ Дамскаго Журнала вытаскиваешь ты меня! Пожалуй, подумаютъ иные, что я самъ, какъ Хвостовъ, суюсь изъ угла въ уголь. Воля твоя, не хоро-

¹⁾ Теперь изъ Москвы придетъ къ вамъ свѣтъ.

²⁾ Что онъ писалъ и говорилъ о предметахъ, животрепещущихъ занимательностію минутъ.

шо! Зачѣмъ не выдаешь ты листковъ своихъ въ книжкахъ? Все бы лучше, а теперь какъ ни дѣлай, но не уберешься, чтобъ ихъ не расхватали на завитки, на закуриваніе трубокъ и еще....

Но Боже упаси того!

Что за подогрѣтый разборъ Дмитріева? И меня также отрѣзалъ ты, какъ часть телятины, да и выставилъ цѣлкомъ. Охота тѣшить Булгаринныхъ, Баченовскихъ и напрашиваться на ихъ тупое остріе!

У меня болѣе мѣсяца лежитъ на столѣ это письмо и листъ стиховъ для тебя, но иные стихи хочется исправить, а въ этомъ и запятая. Сдѣланный стихъ никакъ въ переработку нейдетъ. Пока посылаю кое-что на зубокъ.

Прости. Можетъ-быть со временемъ буду присылать тебѣ изрядныя статьи, подъ названіемъ: *Сыщикъ*, въ коихъ буду выводить на свѣжую воду наши глупости журнальныя, нравственныя, и проч. и проч.

Скажи Жуковскому, что его виды Павловска мало-по-малу идутъ въ ходъ. Палеологовъ его также снаряжаю. Обнимаю его.

Отъ 9-го Сентября 1824 года князь П. А. Вяземскій пишетъ Жуковскому по издательскимъ дѣламъ своихъ друзей.

Ты вѣроятно знаешь, что Ольдекопъ перепечаталъ незаконно поэму Бавказскаго Плѣнника, что Сергій Львовичъ протестовалъ, что продажа была остановлена, и проч. Теперь прислали въ Москву на продажу. Я писалъ о томъ Шаликову, который говорилъ Шаряеву, который сказалъ, что Сергій Львовичъ сдѣлался съ Ольдекопомъ и позволилъ ему продавать свое изданіе. Узнай, сдѣлай милость, сейчасъ отъ Сергія Львовича, правда ли это? Если же нѣтъ, то пусть онъ немедленно напишетъ мнѣ предъявительное письмо, которымъ я воспользуюсь для удержанія продажи. Не надобно же дать грабить Пушкина. Довольно и того, что его давать. Если Сергія Львовича нѣтъ въ Петербургѣ, ни сына его Льва, то ты можешь узнать о дѣлѣ отъ Гнѣдича или Плетнева, и тотчасъ отписать (бы) мнѣ, а я черезъ Оболенскаго *) все могу предварительно остановить продажу. Такъ какъ это дѣло не мое и не твое, то надѣюсь, что нечего погонять тебя, и я увѣренъ, что ты тотчасъ все сдѣлаешь исправно. Не забудь, что почта ходитъ теперь ежедневно въ Москву. Тебѣ Тургеневъ далъ 1200 р. отъ меня. Вотъ наши съ тобою счеты: слушай! Отъ тебя прислано мнѣ 50 Павловскихъ видовъ по 15 р. тетрадка; продано 39 экземпляровъ, выручено 515 р. (между прочимъ гр. Бобринская за 5 экземпляровъ дала 150 р.), слѣдовательно у меня остается

*) Тогдашняго попечителя Московскаго университета князя Андрея Петровича. П. Б.

11 экземпляровъ. Твоихъ сочиненій прислано мнѣ 270 экземпляровъ, продано мною 31 экземпляръ, выручено 775 р., остальные 239 экземпляровъ отданы Шляреву въ лавку. У меня твоихъ денегъ

515 Павловскіе виды.

775 Сочиненія.

Всего 1.290

Стало, за мною еще твоихъ 90 р., которые отдамъ Тургеневу, или кому хочешь, или пришлю, или что куплю, табаку Турецкаго, чаю, дѣвку; только тогда вышли мнѣ еще рублей 60: потому что менѣе 150 р. здѣсь не достанешь, и то уже поѣзжанную, а если съ иглочки, то 200 рублей.

Что ты дѣлаешь, злодѣй? Я не могу простить тебѣ твое молчаніе о Байронѣ? За то мнѣ на дняхъ показывали несчастные стихи на смерть Кутузовой, увѣряя, что они твои. Я промолчалъ. Ничто тебѣ! Я получилъ отъ Гагарина изъ Парижа новую *Messelièppe Delavignia* на смерть Байрона. Отдалъ ее переписывать и пришлю Карамзину. Прелесть! Есть два-три мѣста восхитительныя. А у насъ одинъ Кюхельбекеръ провылъ на его могилѣ. А отъ тебя и Пушкина не могъ добиться. Странные вы люди! Да будь я поэтъ, а не стихотворецъ, то я почти обрадовался бы смерти Байрона, какъ поэтическому кладу, брошенному съ неба на прозаическую лошину нашего сухаго вѣка. Байронъ владѣлъ не только умозрительною поэзію, но онъ осуществилъ и практическую поэзію. Наполеонъ на скалѣ святой Елены и Байронъ въ Миссолунги! Вотъ два поэтическіе фarosа, которые освѣщаютъ нашу глубокую ночь. Тутъ есть какая-то религіозная таинственность, т.-е. религія не поповской, а той, которая была составлена изъ философіи и поэзіи. Въ ихъ смерти отзывается что-то такое смертію Эдипа. Прахъ сихъ двухъ великихъ людей долженъ былъ быть принятъ дѣвственною землею, еще чистою отъ прикосновенія того, что можетъ назваться *милью Европейскою*, въ виду натуры еще *неупраздненной*. Кстати! Кажется, стихъ Шиллера можно бы выразить порусски такъ: *упраздненныя небеса*. Воля ваша, нашъ языкъ со-всѣмъ не смѣлъ. Не говоря уже о Нѣмецкомъ, который своеволенъ, но и самый Французскій дерзаетъ болѣе нашего. Оставь Французскихъ романтиковъ, какъ воспитателей еще не обдержавшихся, возьми въ одномъ родѣ Монтаня, въ другомъ Боссюета *avec sa voix qui tombe* *), Расина съ своими собаками; да у насъ затравятъ собаками, т.-е. Каченовскими; да по несчастію и Карамзинъ и Блудовы къ нимъ пристанутъ, чтобы заѣсть смѣльчака, который позволить себѣ такія дерзости и дебоширства.

*) Съ его упадающимъ голосомъ.

Пишете-ли вы-съ что-нибудь новенькое, Василий Андреевич? Муза ваша давно молчитъ. Что ты даешь въ Полярную? Что въ Сѣверные Цвѣты? Скажите Дельвигу, что я на дняхъ ему пришлю свой оброкъ.

Прости. Обнимаю всюю душою. Ожидаю на дняхъ жену и дѣтей *). Пришли же мнѣ скорѣе отвѣтъ о Кавказскомъ Плѣнникѣ.

Въ то время какъ князь Вяземскій съ усердіемъ и самоотверженіемъ занимался поэмами Пушкина и сплоченіемъ разбѣянныхъ публицистическихъ силъ подъ знаменемъ Карамзина и Пушкина, послѣдній продолжалъ поднимать исторіи, принуждая людей уважать его какъ гениальнаго поэта, родовитаго дворянина и утонченнаго свѣтскаго человѣка, или клеймя высокоумѣрныхъ недоброжелателей язвительными эпиграммами и сарказмами. Глубоко оскорбленъ былъ Пушкинъ предложеніемъ принять участіе въ экспедиціи противъ саранчи. Въ этомъ предложеніи Новороссійскаго генераль-губернатора онъ увидалъ злѣйшую иронию надъ поэтомъ-сатирикомъ, приниженіе честолюбиваго дворянина, и вѣроятно паче всего одураченіе Ловеласа, подготавливаемаго свое торжество. Разстройство любовныхъ плановъ Пушкина долго отзывалось черченіемъ на черновыхъ бумагахъ женскаго изящнаго Римскаго профиля въ элегантномъ классическомъ головномъ уборѣ, съ представительной рюшью на шеѣ.

Отъ 7-го Іюня 1824 г. князь Вяземскій пишетъ Жуковскому, что онъ, получилъ извѣстія изъ Одессы о дѣлѣ Пушкина, не совсѣмъ однако согласныя съ сообщаемыми имъ извѣстіями:

„Пишутъ, что Пушкинъ снова напроказничалъ, вслѣдствіе чего просить объ отставкѣ, но навѣрное ея не получить. Пишутъ, что нельзя не сожалѣть Пушкина, но что онъ кругомъ виноватъ: рѣдко встрѣтишь такую вѣтренность и такую склонность къ злословію; сердце у него доброе, но онъ очень склоненъ къ мизантропіи; онъ избѣгаетъ не общества, а людей, которыхъ боятся; это объясняютъ его несчастіями и отношеніями къ нему родителей.“—Передавая эти извѣстія, князь Вяземскій присовокупляетъ: „Разумѣется, будь остороженъ съ этими выписками; но видно дѣло такъ повернуло, что онъ не просится: это не ясно! Грѣшно, если и надъ нимъ уже промышляютъ и лукавятъ. Сдѣлай одолженіе, попроси Северина устроить, что можно къ лучшему. Онъ его, кажется, не очень любитъ, тѣмъ болѣе долженъ стараться спасти его; къ тому же вѣрно уважаетъ его дарованіе, а дарованіе не только держава, но и добродѣтель“.

Л. С. Пушкинъ, по пріѣздѣ изъ Михайловскаго, видимо пораженный распространенными даже въ дружескихъ кружкахъ въ Петербургѣ и Москвѣ неблагопріятными для брата слухами объ удаленіи бра-

*) Изъ Одессы. П. Б.

та изъ Одессы, пишетъ князю Вяземскому въ Январѣ 1825 г., нѣсколько мѣсяцевъ уже спустя по заточеніи Пушкина въ Михайловское. Вѣроятно Левъ Сергѣевичъ замѣтилъ у Карамзиныхъ (гдѣ онъ читалъ наизусть стихи братѣ въ концѣ 1824 года), что свѣдѣнія имѣющіяся у моего отца не вполне благопріятны для его брата по Одесскимъ дѣламъ и могутъ повліять на друзей и въ отношеніи столкновенія Пушкина съ отцемъ его, что онъ и подразумеваетъ подъ прочими ложными слухами, которые могли бы и не расходиться.

Не зная адреса Кюхельбекера—пишетъ Левъ Сергѣевичъ—я осмѣливаюсь обезпечить васъ, почтеннѣйшій князь, просьбою доставить ему приложенное письмо, и воспользоваться симъ случаемъ, чтобы поговорить съ вами о братѣ. Я не считаю сіе лишнимъ, ибо по Москвѣ ходятъ о томъ извѣстія, дошедшія и къ намъ, которыя столь же ложны, сколько могутъ быть для него вредны. Причина его ссылки, довольно жестокой и несправедливой мѣры правительства, вамъ, можетъ быть, не совершенно извѣстна. Вотъ она. Вслѣдствіе мелочныхъ, частныхъ неудовольствій и дѣлъ съ братомъ, Воронцовъ требовалъ его удаленія, какъ челоуѣка вреднаго для общества (не говорю о прижимкахъ— vexations, которыя онъ дѣлалъ брату въ Одессѣ). Въ то время братъ подалъ въ отставку, но бумага Воронцова его предупредила ¹⁾—сослать его въ деревню подъ надзоръ правительства съ запрещеніемъ вѣзжать даже и въ уѣздные города, говоря, что онъ для того такъ поступаетъ, чтобы не быть принужденнымъ прибѣгнуть къ мѣрамъ строжайшимъ (?). Вотъ его исторія, безъ подробностей, но вѣрная. Я видѣлъ всѣ предписанія и бумаги начальства. Оставляю вамъ, князь, судить о его положеніи. Что же касается до прочихъ слуховъ, которые могли бы и не расходиться, то вѣрьте, что они большею частію совершенно ложны или по крайней мѣрѣ увеличены. Одна только обида осталась у насъ еще на сердцѣ: *Шаликовъ осквернилъ могилу моей бѣдной тетки* ²⁾.

Вы скоро увидите печатанную первую главу Онѣгина, которую цензура, сверхъ всякаго чаянія, пропустила. Въ одномъ изъ примѣчаній, присоединенныхъ къ Онѣгину, было мѣсто убійственное для Василья Львовича; мнѣ очень хотѣлось сохранить его, но братъ, какъ добрый племянникъ, его выпустилъ. А жаль!

Простите меня, почтеннѣйшій князь, если я отнял у васъ нѣсколько минутъ моею болтливостію, и вѣрьте искренней преданности вашего покорнаго слуги.

¹⁾ Письмо подмочено, вслѣдствіе чего нѣсколько словъ нельзя прочитать.

²⁾ Подчеркнутыя слова выражены пофранцузски и съ неприличной опредѣленностью.

Къ заступничеству Карамзина князь Вяземскій, кажется, не обрадовался. Карамзинъ долженъ былъ быть раздраженъ на Пушкина за то, что онъ скомпрометировалъ его заступничество въ двадцатомъ году, хотя самъ Карамзинъ пишетъ, что Пушкинъ ему тогда далъ обѣщаніе вести себя хорошо въ теченіе двухъ лѣтъ. Карамзинъ въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву положительно говоритъ, что Пушкинъ былъ прощенъ до отправленія къ Инзову, что видно и изъ разрѣшенія Пушкину ѣхать съ Раевскими на Кавказъ.

Отъ 2-го Декабря 1824 года Н. М. Карамзинъ пишетъ къ Вяземскому:

Вчера молодой Пушкинъ читалъ намъ наизусть *Цыганскую* поэмку брата и нѣчто изъ Онѣгина: живо, остроумно, но не совсѣмъ зрѣло. Отъ Пушкина къ Байрону: его *Донъ-Жуанъ* выпалъ у меня изъ рукъ. Что за мерзость! И даже сколько глупостей!

Это единственное упоминаніе о Пушкинѣ въ письмахъ Н. М. Карамзина въ теченіе 1824 года, сохранявшихся моимъ покойнымъ отцомъ.

В. А. Жуковскій пишетъ Тургеневу изъ Петербурга отъ 22-го Ноября по 1824 поводу столкновенія въ Махайловскомъ между отцомъ и сыномъ, вслѣдствіе порученія Александра Сергѣевича родительскому надзору.

Слухи дошедшіе до васъ о Сверчкѣ *) пусты: онъ въ деревнѣ по прежнему; но едва не надѣлалъ глупостей, которыя, кажется, имѣтъ слѣдствій не будутъ. Я получилъ отъ него письмо, которое было меня очень взбудоражило; но братъ его пріѣздомъ своимъ меня успокоилъ. Я отвѣчалъ ему и жду отъ него увѣдомленія. Отецъ пріѣхалъ въ Петербургъ вчера. Я еще съ нимъ не видался; но и онъ съ своей стороны, кажется, дѣлаетъ ребяческія глупости. Хочу ему прочитатъ проповѣдь, на которую я приглашу его къ себѣ. Бѣдъ никакихъ не случилось, но могли бы случиться. Расскажу при свиданіи. У меня деньги есть въ сборѣ, но еще не сдѣлалъ изъ нихъ употребленія: жду хорошаго случая; по мелочамъ не намѣренъ раздавать. Обними брата, Вяземскаго и Жихарева.

25. Нынче буду у С. Л.; знаю только навѣрное, что ничего не случилось. Скажи объ этомъ Вяземскому.

*) Прозвище Пушкина въ „Арзамасѣ“.

Князь Петръ Андреевичъ пишетъ отъ 10 Юля 1825 изъ Ревеля:

Иду обѣдать къ Пушкинымъ, дочь (Ольга Сергѣевна) имянинница и нездорова. Она очень мила и напоминаетъ брата, отъ котораго получилъ я вчера письмо. Онъ отпущенъ въ Псковъ для лѣченія своего аневризма, но не знаютъ, поѣдетъ ли; мать, кажется, еще просила Государя, чтобы отпустили его въ Ригу, гдѣ есть хорошій докторъ.

Отъ 1-го Августа того же года изъ Ревеля:

Я получилъ письмо отъ ссылочнаго Пушкина; онъ, кажется, довольно доволенъ позволеніемъ ѣхать въ Псковъ, и имѣетъ уже тамъ на примѣтѣ оператора.

Отъ 28-го того же мѣсяца, изъ Царскаго Села:

Жуковскій получилъ письмо отъ ея брата, гораздо въ лучшемъ духѣ, чѣмъ то, которое она (Ольга Сергѣевна) получила. Онъ соглашается ѣхать въ Псковъ и, кажется, все будетъ устроено. Покажи ей мое письмо, но на всякій случай не при родителяхъ, которые, можетъ быть, не знали, что Пушкинъ не хочетъ ѣхать въ Псковъ.

Въ бумагахъ князя Вяземскаго сохранилась первоначальная редакція посланія къ Ольгѣ Сергѣевнѣ Пушкиной, 12 Августа 1825 года, во время ея пребыванія въ Ревелѣ. Двѣ послѣднія строфы представляютъ нѣсколько вариантовъ отъ текста, напечатаннаго въ изд. 1880, и въ «Сѣверн. Цвѣтахъ» 1826 года:

Его удѣлъ: блескъ славы горделивой.
Сіяющей изъ лона бурныхъ тучъ,
И отъ нея падетъ блестящій лучъ
На жребій твой смиренной, но счастливой.
Но ты ему спасительнѣе будь (еще полезнѣй).
Святи ему звѣздою безмятежной!
И въ бурной мглѣ участіемъ дружбы нѣжной
Вливай покой въ растерзанную грудь
(госкующую, томящуюся).

Варианты въ скобкахъ помѣщены также въ скобкахъ и въ подлинникѣ.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ исторіи, возбуждаемыя раздражительнымъ характеромъ Пушкина, его вспыльчивостью и гордостью, не выходили бы изъ ряда весьма обыкновенныхъ, если бы не было вокругъ него столько людей, горячо заботившихся о его участи. Свѣдѣнія о каждомъ его шагѣ сообщались во всѣ концы Россіи. Пушкинъ такъ умѣлъ обстановкаивать свои выходки, что на первыхъ порахъ самыя лучшіе его друзья приходили въ ужасъ и распускали вѣсти подъ этимъ пер-

вымъ впечатлѣніемъ. Благодаря таланту своему, Пушкинъ смолоду былъ близокъ людямъ состарившимся: Карамзинъ, Дмитріевъ, Жуковский, Тургеневъ всѣ весьма склонные строго судить шалости, особенно имѣвшія ухарскій характеръ. Среда эта, по своимъ вкусамъ, традиціямъ и убѣжденіямъ, была вполне буржуазная: порядочность, законность были высшими идеалами Карамзинскаго кружка.

Нѣтъ сомнѣнія, что Пушкинъ производилъ и смолоду впечатлѣніе на Россію не однимъ своимъ поэтическимъ талантомъ. Его выходки много содѣйствовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала вниманіе на человѣка, отъ котораго всегда можно было ожидать неожиданное. Помѣщаемъ здѣсь протестъ князя П. А. Вяземскаго на имя А. И. Тургенева, протестъ, писанный въ эту эпоху и который слѣдовало бы скорѣе ожидать отъ Пушкина:

Гдѣ имѣеть засѣданія свои комитетъ попеченія о Цыганахъ и тѣхъ, кои ихъ слушаютъ? На одномъ ли основаніи устроенъ этотъ комитетъ, какъ тотъ, который нѣкогда образованъ былъ въ пользу Жидовъ, и въ такомъ случаѣ можно ли ожидать, что послѣдній принесетъ столько же пользы, какъ и первый?

При семъ желается узнать, какое понятіе имѣютъ господа засѣдающіе о бѣдственномъ вліяніи Цыганскаго голоса на нравственность людей? Гдѣ гнѣздо, гдѣ улей сплетней, составляемыхъ на мой счетъ въ столичномъ городѣ Петра? Кто пл . . ица, кто matka пчелка, которая разноситъ обо мнѣ сей дружественный медъ?

Хорошо ли вмѣшиваться въ дѣла семейныя? По чистому побужденію—согласенъ, но не по толкамъ городскимъ, сужденіямъ старыхъ бабъ обоого пола? Хорошо ли было встревожить Карамзиныхъ на счетъ человѣка, коего они любятъ горячо, не предваривъ прежде этого человѣка, уже не малолѣтнаго? Дружба хороша, но если она при слабоуміи, то можетъ въ иной часъ накупить болѣе непріятностей, чѣмъ сама непріязнь. Зная мой характеръ врутой, малосносный, не должно ли было предположить и ту возможность, что укорижны Карамзиныхъ по дѣлу *несправедливому* и во всякомъ случаѣ *пустому*, хотя бы и справедливому, подѣйствуютъ на меня однимъ раздражительнымъ образомъ? Чтѣ тогда сказали бы эти попечительные друзья?

Позволительно ли изъ шалостей случайныхъ, не имѣющихъ никакой связи съ жизнію, не имѣющихъ на нее и на все, чтѣ есть въ ней высокаго никакого обратнаго дѣйствія, составить себѣ о человѣкѣ мнѣніе постоянное, исключительное? Одно изъ двухъ или человѣкъ этотъ пошлый, и всякое заблужденіе, всякое отступленіе отъ казенной дороги официальной морали можетъ вовлечь его въ бездну гибели и разврата—и тогда не стоитъ онъ, чтобы о немъ заботились, и туда ему и дорога! Или этотъ человѣкъ не со-

вѣтъ *дюжинный*, и тогда зачѣмъ же добровольнымъ судьямъ его присвоивать себѣ права какихъ нибудь *триумфировъ* и безъ апелляции осуждать его, ставить себя его выше и выставлять свои мнѣнія за приговоры мудрости воплощенной? Положимъ, что иные поступки, иные слабости въ пріятеляхъ моихъ и кажутся мнѣ предосудительными; но хорошо ли сдѣлаю, если пойду трезвонить о нихъ на городскихъ колокольняхъ, и составлю хоръ, единогласный съ городскими вумами и за одно буду ругать изъ дружбы того, котораго другіе ругаютъ изъ злости? Можно ли нѣкоторымъ моральнымъ б. ид. л... мѣ судить безпристрастно о положеніяхъ того, который еще въ цвѣтѣ силы и въ пылу? Не будетъ ли для нихъ всякая примѣта въ немъ доказательствомъ пріапізма? Да откуда выскочилъ этотъ консиліумъ? Не всѣ ли мы изъ одного *юмпитали неизлѣчимыхъ* хотя подверженные различнымъ болѣзнямъ? Бто изъ насъ не тронуть недугомъ? Чтò даетъ право считать себя здоровѣе сосѣда?

Тутъ право нѣтъ личности; ибо точно не могу придумать, кто могъ наблѣвать обо мнѣ столько вздора; знаю только, что это отрывка пріятельская. Не сержусь на слабый желудокъ того, который не могъ переварить пищи ему несвойственной; но прошу его, тебя и всѣхъ васъ впередъ изясниться сперва со мною, а не бить тревоги на мой счетъ у Баранзиныхъ. Право, это не дѣло, а все таки снлетня. Вообще не люблю опекунства и не имѣю въ немъ нужды: я прошелъ уже лѣта испытаній. Бытіе мое, характеръ, получили свой образъ. Если вамъ этотъ образъ не нравится, то между нами дружбы быть не можетъ, ибо не будетъ съ вашей стороны уваженія ко мнѣ; если вы думаете, что нѣкоторыя черты этого образа стереться могутъ и дать мѣсто дикимъ наростамъ, то опять нѣтъ уваженія, или есть въ васъ большое легкомысліе. Впрочемъ, не знаю по чести, о чемъ тутъ говорить. Съ тѣхъ поръ, что знаю себя, велъ я всегда одинъ родъ жизни. Не веду себя всегда по казенному образцу, позволяю себѣ иное, можетъ быть и многое, но не въ ущербъ чести и совѣсти. Не думаю отступать отъ обязанностей своихъ, ибо не всюду сую своихъ обязанностей. Кончу тѣмъ, что друзьямъ не должно надѣдаться, а мнѣ вы опекунствомъ своимъ надѣдите. Разумѣется, бываютъ случаи, въ которые другъ долженъ сказать истину другу, горькую и рѣзкую; не смотря на то какъ онъ ее приметъ; но эти заговоры дружбы по поводу пѣсней Цыганскихъ—нелѣпы и смѣшны. Досадны мнѣ они только потому, что ваши голоса сливаются въ слухъ моемъ съ голосами Московскихъ бригадирь-бригадиршъ, и что мнѣніе ихъ вмѣсто того, чтобы пересилено быть вашимъ обо мнѣ—напротивъ, перетянуло и васъ.

Сдѣлай милость, давай знать что дѣлается съ моею бумагою въ Г. У. П. Право. За это можно мнѣ извинить, что я въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ выслушалъ разъ пять или шесть Цыганскія пѣсни. За то отъ меня пробилъ Цыганскій потъ у другихъ.

Прости. Я нарочно давно не писалъ къ тебѣ ибо во мнѣ еще кипѣла, право, не досада на васъ, а скука отъ васъ. Теперь она начинаетъ остывать, и обнимаю тебя по старому.

Пріѣздъ Пушкина въ Москву въ 1826 году произвелъ сильное впечатлѣніе, не изгладившееся изъ моей памяти и до сихъ поръ.

Вызванный императоромъ Николаемъ Павловичемъ, вскорѣ послѣ коронаціи, изъ заточенія въ Михайловскомъ, Пушкинъ какъ метеоръ промелькнулъ въ моихъ глазахъ. «Пушкинъ, Пушкинъ пріѣхалъ», раздалось по нашимъ дѣтскимъ, и всѣ, дѣти, учителя, гувернера — все бросилось въ верхній этажъ, въ приемныя комнаты, взглянуть на героя дня.

Литературныя знаменитости были намъ не въ диковинку: Дмитриевъ, Жуковский, Баратынский вращались въ нашей дѣтской средѣ; даже Рылѣевъ, котораго я прозвалъ «voilà la chose *)» по его обычному присловью, подмѣченному мною, всѣ они, повторяю, были и намъ дѣтямъ люди довольно близкіе. Одинъ лишь Карамзинъ являлся дѣтскому воображенію какъ непостижимая и недостижимая величина. Однажды я провелъ цѣлое лѣто у Карамзиныхъ въ Царскомъ Селѣ въ 1825 году и помню то благоговѣйное чувство, которымъ проникнуты были къ нему всѣ члены семейства.

Сильному впечатлѣнію, произведенному пріѣздомъ Пушкина, не говоря о магическомъ дѣйствіи его стиховъ, появленіе которыхъ всегда составляло событіе въ домѣ, несомнѣнно много содѣйствовала дружба Пушкина съ моею матушкой, въ Одессѣ, гдѣ часть нашего семейства провела лѣто въ 1824 году. И дѣтскія комнаты, и дѣвичья съ 1824 года были неувыдающимъ разсадникомъ легендъ о похожденияхъ поэта на берегахъ Чернаго моря. Мы жили тогда въ Грузинахъ, Цыганскомъ предмѣстьи Москвы, на сельско-хозяйственномъ подворьѣ П. А. Кологривова, вотчина моей матушки. Позже, зимой 1826—1827, по переѣздѣ въ нашъ домъ въ Чернышевскомъ переулкѣ, я рѣшился, по тогдашней модѣ, поднести Пушкину, вслѣдъ за прочими членами семейства, и мой альбомъ недавно подаренный мнѣ. То была небольшая книжка въ 32 долю листа, въ красномъ сафьянномъ переплетѣ; я просилъ Пушкина написать мнѣ стихи.

*) Вотъ въ чемъ дѣло.

Дня три спустя, Пушкинъ возвратилъ мнѣ альбомъ, вписавъ въ него:

Душа моя Павелъ!
Держись моихъ правилъ
Люби то-то, то-то,
Не дѣлай того-то.
Кажись, это ясно.
Прости, мой прекрасный!

Альбомъ этотъ попался мнѣ весьма недавно въ Остафьевской библиотекѣ, но съ вырѣзаннымъ листкомъ. Вырѣзалъ же этотъ листокъ я самъ, получивъ впоследствии въ подарокъ альбомъ болѣе значительнаго размѣра, куда я и переделалъ стихи Пушкина. Альбомъ хранится у меня нѣсколько лѣтъ, и въ него занесли свои имена мой учитель, Викторъ Праховъ и Ѡ. С. Толмачевъ; но въ 1831 году онъ взятъ у меня послѣднимъ моимъ Московскимъ преподавателемъ, сколько помнится, Недремскимъ, служившимъ секретаремъ совѣта Московскаго университета, и имъ возвращенъ не былъ. Всѣ эти обстоятельства весьма памяты мнѣ, потому что и по переѣздѣ въ Петербургъ я долго питалъ надежду возвратить покищенное сокровище.

Нѣсколько десятковъ лѣтъ позже я по поводу этихъ стиховъ производилъ дознаніе въ «Русскомъ Архивѣ»; они были напечатаны въ одной изъ первыхъ его книжекъ, и П. И. Бартеневъ съ обычной обязательностью отыскалъ въ своихъ бумагахъ стихи, довольно ветхій ключекъ, на которомъ переписаны были, сколько помнится, ошибочно, разыскиваемые мною утраченные стихи.

Я уже упоминалъ выше, что каждое появленіе стихотвореній Пушкина было событіемъ и въ нашемъ дѣтскомъ мірѣ: каждая глава «Онѣгина», «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Цыгане», ежегодные альманахи царили въ нашихъ дѣтскихъ комнатахъ и растрепывались пуще любого учебника.

Со времени написанія стиховъ въ мой альбомъ кличка моя въ семействѣ стала: «душа мой Павелъ»; до стиховъ же Пушкина я пользовался нелестнымъ прозвищемъ:

Павлушка, мѣдный лобъ, приличное прозванье,
Имѣлъ ко мнѣ большое дарованье.

Прозвище это взято было изъ эпиграммы Измайлова на Павла Свиныгина и навлекло на моихъ сестеръ строгій нагоняй со стороны Пушкина за предосудительную, вредную шутку.

Въ перепискѣ отца моего съ Пушкинымъ я нашелъ любопытные слѣды отраженія на дѣтскій умъ литературной офисины двадцатыхъ

годовъ. Вотъ что между прочимъ князь И. А. Вяземскій пишетъ Пушкину отъ 26-го Юли 1827 года изъ села Мецкерскаго въ Саратовской губерніи:

Я у Павлуши нашелъ въ тетради: „Бритика на Евгенія Онѣгина“, и по началу можно надѣяться, что онъ нашимъ критикамъ не уступитъ. Вотъ она: „И какой тутъ смыслъ: завѣтный вензель О да Е?“ Въ другомъ же мѣстѣ онъ просто приводитъ твой стихъ: „Какія глупыя мѣста“. L'enfant p^ro^met *). Булгаринъ и теперь былъ бы радъ усновить его Пчелѣ.

Оба приведенные стиха изъ Онѣгина (гл. III).

На это въ Сентябрѣ 1827 года Пушкинъ отвѣчаетъ:

„Бритика Павлуши меня веселитъ, какъ прелестный цвѣтъ, обещающій плоды; проси его прислать свои замѣчанія на Онѣгина: будетъ отвѣтъ“.

Духъ критики воспитанъ былъ въ насъ отцомъ моимъ съ дѣтства несправедливымъ предпочтеніемъ Дмитріева въ ущербъ Крылову, безспорно господствовавшему въ нашей дѣтской средѣ. Насъ заставляли учить наизусть апологи Дмитріева, чтеніе же басенъ Крылова едва допускалось. И. И. Дмитріевъ, другъ моего дѣда, былъ мѣстномъ отца моего и законодателемъ и верховнымъ судьей литературнаго приличія и вкуса. Пушкинъ въ своей перепискѣ упрекаетъ отца моего въ несправедливости по отношенію къ Крылову и пристрастіи. Нѣтъ сомнѣнія, что изо всѣхъ членовъ Арзамаса отецъ мой былъ болѣе прочихъ человекомъ партіи, и почти онъ одинъ таковымъ былъ даже и тогда, когда онъ пережилъ всѣхъ своихъ друзей.

Въ 1827—1828 годахъ вокругъ меня болѣе другихъ стихотвореній Пушкина звучали стихи изъ «Бахчисарайскаго Фонтана» и «Цыганъ». Я помню, какъ мой наставникъ, Феодосій Сидоровичъ Толмачевъ, въ зиму 1827—1828, обращая мое вниманіе на значеніе «Цыганъ», объяснялъ, что Пушкинъ писалъ съ натуры, что онъ кочевалъ съ Цыганскими таборами по Бессарабіи, что его даже упрекали за безнравственный родъ жизни весьма несправедливо, потому что писатель и художникъ имѣютъ полное право жить въ самой развратной и преступной средѣ для ея изученія.

Легенда эта, поясняющая мнимою съ натуры передачу Цыганской жизни, въ воображеніи ребенка рисовала лишь выспія таинственныя наслажденія внѣ условій и тѣсныхъ рамокъ семейной жизни: о пре-

*) Дѣта съ будущастью.

досудительности посѣщенія Дыганъ я уже довольно слышался въ родственныхъ кружкахъ «Московскихъ бригадиршъ обоюго пола».

Въ 1827 году Пушкинъ училъ меня боксировать по англійски, и я такъ пристрастился къ этому упражненію, что на дѣтскихъ балахъ вызывалъ желающихъ и нежелающихъ боксировать; послѣднихъ вызывалъ даже дѣйствіемъ во время самыхъ танцевъ. Всеобщее негодованіе не могло поколебать во мнѣ сознаніе поэтическаго геройства, изъ рукъ въ руки переданнаго мнѣ поэтомъ-героемъ Пушкинымъ. Послѣдствія геройства были однако для меня тягостны: изъ всего семейства меня одного перестали возить даже на семейные праздники въ подмосковныя ближайшихъ друзей моего отца.

Пушкинъ научилъ меня еще и другой игрѣ. Мать моя запрещала мнѣ даже касаться картъ, опасаясь развитія въ будущемъ наследственной страсти къ игрѣ. Пушкинъ во время моей болѣзни научилъ меня играть въ дурачки, употребивъ для того визитныя карточки, накопившіяся въ новый 1827 годъ. Тузы, короли, дамы и валеты козырные опредѣлялись Пушкинымъ; значеніе остальныхъ не было опредѣлено, и эта-то неопредѣленность и составляла всю потѣху: завязывались споры, чья визитная карточка бьетъ ходы противника. Мои настоячивые споры и приводимыя цитаты въ пользу первенства попавшихся въ мои руки козырей потѣшали Пушкина какъ ребенка.

Эти непедагогическія забавы поэта объясняются и оправдываются его всегдашнимъ взглядомъ на приличіе. Пушкинъ неизмѣнно, въ теченіе всей своей жизни, утверждалъ, что все что возбуждаетъ смѣхъ—позволительно и здорово, все что разжигаетъ страсти—преступно и пагубно. Года два спустя, именно на этомъ основаніи онъ настаивалъ, чтобы мнѣ дали читать Донъ-Кихота, хотя бы и въ переводѣ Жуковскаго.

Пушкина обвиняли даже друзья въ заискиваніи у молодежи для упроченія и распространенія популярности. Для меня нѣтъ сомнѣнія, что Пушкинъ также искренно сочувствовалъ юношескому пылу страстей и юношескому броженію впечатлѣній, какъ и чистосердечно, ребячески забавлялся съ ребенкомъ.

Князь П. А. Вяземскій пишетъ Пушкину изъ Москвы отъ 22 Ноября 1827 года:

Въ концѣ Января думаю быть у васъ. Что нашъ „Современникъ“, пойдетъ ли со временемъ? У насъ здѣсь Аксаковъ, глупѣйшій изъ современниковъ, съ которымъ ничего писать нельзя. Онъ поступаетъ съ нами, какъ поступилъ съ Филоктетомъ Лагарпа, то есть бьетъ лежачихъ. Ты счастливъ: твой цензоръ даетъ тебѣ дышать и рѣжетъ только Аббасъ-Мирзу въ горахъ

и жгеть Ибрагима на морѣ. Мнѣ хочется иногда просить тебя подпустить въ свой жемчугъ мой буски для свободнаго пропуска. Я вчера обѣдалъ у дяди твоего. Онъ умиленнымъ и потѣющимъ взоромъ указывалъ намъ на Маргариточку свою, играющую на фортепіано. Бстати! Часто-ли обѣдаешь дома, то-есть въ нѣдрахъ Авраама? Сдѣлай милость, обѣдай чаще. Сергѣй Львовичъ вѣрно въ брата, хлѣбосоль и любить кормить. Извини мнѣ, что даю тебѣ совѣтъ; но ты знаешь, какъ я люблю тебя. Мой сердечный поклонъ и лобзаніе въ руку Ольгѣ Сергѣевнѣ. Жива ли наслѣдственная шаль ея? А что дѣлаетъ „наша“ другъ? Ольга Сергѣевна видно разбогатѣла: она хотѣла быть въ перепискѣ со мною, когда не имѣла денегъ для абонированія въ бібліотекѣ чтенія, а нынѣ уже не добивается переписки со мною. Бланийся отъ меня Дельвигу, Плетневу. Не стыдно ли тебѣ; пакостнику, обѣдать у Булгарина? Не лучше ли обѣдать въ нѣдрахъ Авраама? Обнимаю тебя.

8-го Ноября 1827 года князь Вяземскій пишетъ Жуковскому:

... Ради Бога, восприни! Неужели не набрался ты духа въ чужихъ краяхъ? Полно сидѣть мамою Василисою съ чулкомъ въ рукахъ! Твое положеніе прекрасно, но озари, раздвинь кругъ своего дѣйствія. Не засыпай въ нѣгѣ поэзіи жизни, поэзіи, которой вѣрю въ тебѣ, потому что душа твоя зажжена не у площаднаго фонаря; но не отрекайся и отъ прозы, которая также въ своихъ послѣдствіяхъ есть поэзія. Вотъ разница: боюсь, что твоя поэзія родитъ одну прозу; а проза, которую предлагаю тебѣ, неминуемо отзовется когда нибудь поэзіею, то есть чѣмъ нибудь возвышеннымъ. Сдѣлай милость, подумай о моей „бібліотекѣ иностранныхъ книгъ“. Ты можешь это сдѣлать и будешь истинно благодѣтелемъ литературы нашей. Радуюсь, что мой „Современникъ“ пришелъ тебѣ на вкусъ; но жалѣю, что мои современники мнѣ не подѣ статью. Кому же какъ не тебѣ быть главою такого предпріятія? По крайней мѣрѣ Пушкину. Мнѣ, пожалуй, и откажутъ въ позволеніи издавать журналъ. Васъ посоветятся; но я не Булгаринъ и не будочникъ, слѣдовательно какъ мнѣ журналъ издавать? Самъ Блудовъ скорѣе будетъ покровительствовать Булгарину, чѣмъ мнѣ, или журналу, выходящему подѣ моимъ содѣйствіемъ, что между прочимъ уже и было. Надѣюсь быть въ Январѣ у васъ, и тогда увидимъ. Я радъ содѣйствовать, а другой стези мнѣ на дѣйствіе нѣтъ, кромѣ литературной или даже журнальной, потому что Богъ размѣнялъ мое приданое на мелочь. Признайся, морзавецъ, что ты съ тѣмъ только и написалъ ко мнѣ, чтобы влѣпить мнѣ инвалидный листокъ? Богъ тебѣ судья! А между тѣмъ сдѣлаю, что можно. Кажется въ „Телеграфѣ“ разъ уже отзывались съ похвалою о „Славянинѣ“ *). Да зачѣмъ онъ „Славянинъ“?

*) „Славянинъ“ издавался Воейновымъ при „Инвалидѣ“.

Пришлю тебѣ на дняхъ книжки „Телеграфа“ и „Москов. Вѣстника“, тебѣ принадлежащія, а первыя книжки ищутъ тебя по Европѣ. Будешь ли имѣть случай пересылать безденежно журналы къ Тургеневу? Разложи же свой ящикъ съ книгами и дай мнѣ все что можешь. И старое хорошо, когда нѣтъ новаго.—Стихи, за которые ты сердился, даны мнѣ Перовскимъ для напечатанія. Вѣдайся съ нимъ. Письма твои имѣли цѣну что ни говори, и обрадованныя тобою лучше по моему избраннымъ: въ нихъ болѣе мыслей, сужденій и дѣла. Обнимаю тебя“.

Оба эти письма важны по отношенію къ готовившейся журнальной дѣятельности Пушкина и его друзей.

Въ 1828 году Пушкинъ и князь Вяземскій просили разрѣшенія отправиться на театръ войны. Отказъ сообщенъ графомъ Бенкендорфомъ отъ 22-го Апрѣля 1828 года, и мотивированъ тѣмъ, что просятъ многіе и что всѣмъ отказываютъ. Тогда же было отказано и Пушкину.

Здѣсь, можетъ быть, кстати помѣстить замѣтку касательно сообщенныхъ П. А. Мухановымъ въ Русской Старинѣ «Воспоминаній тайнаго совѣтника». Въ воспоминаніяхъ этихъ разсказывается, что поѣздка Пушкина на Кавказъ устроена была игроками. Поѣздка его на Кавказъ въ 1820 году устроена была Раевскими, взявшими съ собой заботѣвшаго Пушкина въ Екатеринославѣ. Поѣздка его въ 1829 году на Кавказъ и въ Малую Азію могла быть устроена дѣйствительно игроками. Они, по связямъ въ штабѣ Паскевича, могли выхлопотать ему разрѣшеніе отправиться въ дѣйствующую армію, угощать его живыми стерлядями и замороженнымъ шампанскимъ, проигравъ ему безрасчетно деньги на его путевыя издержки. Устройство поѣздки могло быть придумано игроками въ простомъ разчетѣ, что они на Кавказѣ и въ Закавказьи встрѣтятъ скучающихъ богатыхъ людей, которые съ игроками не сѣли бы играть и которые охотно будутъ цѣлыми днями играть съ Пушкинымъ, а съ нимъ вмѣстѣ и со встрѣчными и поперечными его спутниками.

Разсказъ безъ подробностей, безъ комментаріевъ—есть тяжелое согрѣшеніе противъ памяти Пушкина; потому что въ голомъ намекѣ, можетъ быть имѣющемъ и официальную достовѣрность, слышится какъ будто заподозриваніе сообщничества Пушкина въ игрецкомъ планѣ. Пушкинъ до кончины своей былъ ребенкомъ въ игрѣ, и въ послѣдніе дни жизни проигрывалъ даже такимъ людямъ, которыхъ кромѣ его обыгрывали всѣ. Нигдѣ не видно, чтобы Пушкинъ похвалился выигрывать, между тѣмъ какъ изъ его писемъ нерѣдко видно, что онъ проигрывалъ, напр. въ Псковѣ четвертую главу Онѣгина, вмѣсто того

чтобы написать седьмую. Въ Петербургѣ онъ проигралъ Никитѣ Всеволожскому цѣлый томъ стихотвореній. Впрочемъ Пушкинъ не всегда проигрывался. Между письмами отца моего къ Булгакову сохранилось письмо къ другому лицу. Это письмо относится къ 1828 году.

Я почти укралъ у Пушкина Онѣгина, который еще не совсѣмъ вышелъ въ свѣтъ. Онъ все собирается писать тебѣ, а между тѣмъ все играетъ, по крайней мѣрѣ, кажется, не проигрываетъ.

Отъ 17 Мая 1828 года князь Вяземскій пишетъ Тургеневу изъ Петербурга:

Вчера Пушкинъ читалъ свою трагедію у Лаваль; въ слушателяхъ были двѣ книжки Michel, Одоевская-Ланская, Грибоѣдовъ, Мицкевичъ, юноши, Балкъ, который слушалъ трагически. Кажется, всѣ были довольны, сколько можно быть довольнымъ, мало понимая. Въ трагедіи есть красоты первостепенныя. Я нѣсколько разъ слушалъ ее со вниманіемъ, и всегда съ новымъ, то есть свѣжимъ удовольствіемъ. Иныя сцены, въ особенности изъ послѣднихъ, недостаточно развиты, и только развѣ *des sommaires de scènes* *). Вообще истина удивительная, трезвость, спокойствіе. Автора почти нигдѣ не видишь. Передъ тобою не кукуны на проволокъ, дѣйствующія по манію закулиснаго фокусника. Но за то можетъ быть мало созданія. Вальтеръ-Скоттъ также историченъ, но все болѣе соображеній въ его картинахъ. Читая его, угадываешь, что человекъ этотъ могъ бы и выдумать событія, создать свою исторію: въ Борисѣ Годуновѣ не находишь того убѣжденія. За то сравните климатъ, въ которомъ родился, развился, созрѣлъ одинъ и другой. Вся Англія, прошедшая и нынѣшняя, приготовила Вальтеръ-Скотта, напитала его соками своими. У насъ Пушкинъ послѣ Карамзина выродокъ. Русская природа не могла выразить его. А старуха Michel **) безподобная: мало знаетъ по-русски, вовсе не знаетъ Русской исторіи, а слушала какъ умница.

Осенью 1828 года князь Вяземскій пишетъ Тургеневу:

О литературѣ сказать нечего. Она вся заключается въ двухъ или трехъ журналахъ и въ альманахахъ. Пушкинъ, сказываютъ, поѣхалъ въ деревню: теперь самое время случки его съ Музою, глубокая осень. Цѣлое лѣто кружился онъ въ вихрѣ Петербургской жизни, воспѣвалъ Запревскую. Вотъ четыре стиха, которые дошли до меня:

И мимо всѣхъ условій свѣта
Стремится до утраты силъ,
Какъ беззаконная комета
Въ кругу разчисленномъ свѣтилъ.

*) Оглавленіе сценъ.

**) Книжка Голицына.

Еще написалъ онъ народную балладу: „Утопленникъ“, гдѣ много силы:

И въ опухнувшее тѣло
Раки черныя вились.

Вѣроятно, все это будетъ въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“; будетъ много и моего, и прекрасно разсказанная сказка Баратынскаго, который кончилъ также и свой „Бальный вечеръ“. Тѣмъ болѣе вижу съ Баратынскимъ, тѣмъ болѣе люблю его за чувства, за умъ, удивительно тонкій и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплохъ, какъ хочешь, вездѣ и всегда найдешь его съ новою, своею мыслью, съ собственнымъ воззрѣніемъ на предметъ. Сегодня разговорились мы съ нимъ о Филаретѣ, къ которому возить его тестъ, Энгельгардтъ. Онъ говоритъ, что наши монахи сановные напоминаютъ ему всегда что-то женское: ряса какъ юбка и въ обращеніи какое-то кокетство, игра затверженной роли, и проч. Миѣ кажется это замѣчаніе удивительно вѣрно. Филаретъ критиковалъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ сцену кельи о. Пимена, въ которой лежитъ Гришка Отрепьевъ, во первыхъ потому, что въ монастыряхъ монахи не спятъ по двое. Положимъ это такъ; но далѣе: зачѣмъ заставлятъ Отрепьева валяться на полу? Взойдите, говоритъ онъ, въ любой монастырь, въ любую келью, вы найдете у каждаго монаха какую ни есть постелишку, не богатую, но по крайней мѣрѣ чистую. Каково это тебѣ покажется, господинъ филофиларетъ?..

Въ письмѣ къ Пушкину отъ 25 Сентября 1828 года князь Вяземскій говоритъ:

Какіе твои стихи, гдѣ ты сравниваешь мѣдную Грацію (а не мѣдную Венеру) съ беззаконною кометою? Покажи ихъ. Я изъ нихъ знаю, и то ошибочно, только четыре стиха.

Къ А. И. Тургеневу князь Вяземскій пишетъ изъ Москвы отъ 12 Декабря 1828 года:

Здѣсь Александръ Пушкинъ; я его совсѣмъ не ожидалъ. Онъ привезъ славную новую поэмю „Мазепу“, но не Байроновскаго, а своего. Пріѣхалъ онъ недѣли на три, какъ сказываютъ; еще ни въ кого не влюбился, а старья любви его немного отшатнулись. Вчера долженъ онъ былъ быть у Борсаковой; не знаю еще, какъ была встрѣча. Я его все подзываю съ собою въ Пензу; онъ не прочь, но не надѣюсь, тѣмъ болѣе, что къ тому времени вѣроятно онъ влюбится. Онъ очень тебѣ кланяется. Онъ вовсе не переѣмился, хоть кажется не такъ веселъ. Кончилъ онъ также и седьмую пѣсню Онѣгина, но я еще не слыхалъ.

Къ нему же Вяземскій пишетъ отъ 9-го Января 1829 года:

Онъ что-то во все время былъ не совсѣмъ по себѣ. Не умѣю объяснить, ни угадать что съ нимъ было, или чего не было, mais il n'était pas en verve *). Постояннѣйшія его посѣщенія были у Корсаковыхъ и у Цыганокъ; и въ томъ и въ другомъ мѣстѣ видѣлъ я его рѣдко, но видалъ съ тѣми и другими, и все не узнавалъ прежняго Пушкина.

А. С. Пушкинъ пишетъ къ князю Вяземскому въ началѣ весны 1830 года:

Посылаю тебѣ драгоценность: доносъ Сумарокова на Ломоносова. Подлинникъ за собственноручною подписью видѣлъ я у Ив. Ив. Дмитріева. Онъ отысканъ въ бумагахъ Миллера, надорванный, вѣроятно въ присутствіи, и вѣроятно сохраненный Миллеромъ, какъ документъ распутства Ломоносова: они были врагами. Состряпай изъ этого статью и тисни въ „Лит. Газ.“ Письмо мое доставить тебѣ Гончаровъ, братъ красавицы: теперь ты угадаешь что тревожить меня въ Москвѣ. Если ты можешь влюбить въ себя Е..., то сдѣлай мнѣ эту божескую милость... Она преслѣдуетъ меня и здѣсь письмами и посылками. Избавь меня отъ Пентефринхи. Булгаринъ изумилъ меня своею выходкою: сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно; но распутница, лѣвъ и Гончарова не выпускаютъ меня изъ Москвы, а дубины въ 800 верстъ длины въ Россіи нѣтъ, кромѣ графа Панина. Жену твою вижу часто, т.-е. всякой день. Наше житье-бытье сносно. Дядя живъ. Дмитріевъ очень милъ. Зубковъ членъ клуба. Ушаковъ кривъ. Вотъ тебѣ просьба: Погдинъ собрался ѣхать въ чужіе края; онъ можетъ обойтись безъ вспоможенія, но все-таки лучше бы... Поговори объ этомъ съ Блудовымъ, да по жарче. Строевъ написалъ tables des matières **) исторіи Барамзина, книгу намъ необходимую. Ее надобно напечатать; поговори Блудову и объ этомъ. Прощай. Мой сердечный поклонъ всему семейству. Въ доносѣ пропущено слово „оскорбляя“. Батюшковъ умираетъ.

Въ этомъ письмѣ Пушкина, уже напечатанномъ въ «Русскомъ Архивѣ», мы выпускаемъ одну грубую шутку, совершенно непонятную за неимѣніемъ на нее комментарія. Въ прямомъ своемъ значеніи она положительно не можетъ быть принята и даже не имѣетъ смысла. Письмо это весьма важно, такъ какъ Пушкинъ намекаетъ слишкомъ прозрачно на происходившій въ немъ переворотъ весной 1830 года:

*) Но онъ не былъ въ ударѣ.

**) Предметную роспись.



Пушкинъ рѣшился влюбиться не на шутку, а шутки бросить въ сторону, торопясь очистить свою сцену отъ всякаго скоморошества.

Любопытно по сопоставленію чиселъ то, что письмо Пушкина изъ Москвы, написанное въ Мартѣ 1830 года, служить въ перепискѣ отвѣтомъ на письмо, написанное княземъ Вяземскимъ изъ Москвы же въ Петербургъ Пушкину, отъ 2 Февраля того же года, и заканчивающееся словами: «А что за картина была въ картинахъ Гончарова!»

Пушкинъ пораженъ былъ красотой Н. Н. Гончаровой съ зимы 1828—1829 года. Онъ, какъ самъ говорилъ, началъ помышлять о женитьбѣ, желая покончить жизнь молодаго человѣка и выйти изъ того положенія, при которомъ какой нибудь юноша могъ трепать его по плечу на балѣ и звать въ неприличное общество. Почти тѣже выраженія, которыя приходилось впоследствии слышать отъ Пушкина, встрѣчаются и въ письмѣ его къ женѣ отъ 17 Апрѣля 1834 года («Вѣстникъ Европы» 1878), когда онъ говоритъ о своей временной холостой жизни въ Петербургѣ.

Потомъ, пишетъ Пушкинъ, явился я къ Дюме, гдѣ появленіе мое произвело общее веселье: „Холостой, холостой Пушкинъ!“ Стали потчивать меня шампанскимъ и пуншемъ и спрашивать, не поѣду ли къ Софьѣ Астафьевнѣ? Все это меня смутило, такъ что я къ Дюме являться уже болѣе не буду“. Въ концѣ Мая Пушкинъ пишетъ: „Обѣдаю у Дюме въ два часа, чтобы не встрѣтить холостой шайки“.

Холостая жизнь и несоотвѣтствующее лѣтамъ положеніе въ свѣтѣ надѣли Пушкину съ зимы 1828 — 1829 года. Устраняя напускной цинизмъ самаго Пушкина и судя почеловѣчески, слѣдуетъ полагать, что Пушкинъ влюбился не на шутку около начала 1829 года. Напускной же цинизмъ Пушкина доходилъ до того, что онъ хвалился тѣмъ, что стихи имъ посвященные Н. Н. Гончаровой 8 Іюля 1830 года,

Тебя мнѣ испослалъ, тебя, моя Мадонна,
Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ...

— что эти стихи были сочинены имъ для другой женщины...

Елисавета Михайловна Хитрова, дочь знаменитаго фельдмаршала Кутузова (рожд. 1783, сконч. 1838), питала къ Пушкину самую нѣжную, страстную дружбу. Между потомками знаменитаго полководца въ женской линіи сохранялись и сохраняются многія доблестныя Кутузовскія традиціи: большое уваженіе къ проявленіямъ общественной дѣятельности и горячая любовь ко всему что составляетъ славу Русскаго имени. И Пушкинъ и отецъ мой сохраняли по смерти самыя

дружескія отношенія ко внукамъ Кутузова, недавно скончавшемуся Николаю Матвѣвичу Толстому, Павлу Матвѣвичу Толстому-Кутузovu, княгинѣ Аннѣ Матвѣевнѣ Голицыной и графинѣ Тизенгаузенъ.

Елисавета Михайловна Хитрова пишетъ князю П. А. Вяземскому весной 1830 года:

Я только что узнала съ большимъ огорченіемъ, любезный князь, что статья о Видокѣ такого свойства, что она можетъ повредить нашему общему другу. Перовскій, который только что отъ меня вышелъ, человекъ благоразумный, мнѣ говорилъ, что по дружбѣ къ Пушкину онъ весьма бы желалъ, чтобы статья не появлялась въ печати: самое незначительное послѣдствіе было бы, если бы Булгаринъ отвѣчалъ напечатаніемъ новыхъ писемъ. Я вамъ замѣчу, дорогой князь, что я во всемъ этомъ не понимаю равнодушія литературныхъ друзей Пушкина. По крайней мѣрѣ необходимо посоветоваться съ Жуковскимъ: Пушкинъ любитъ его, а на его мнѣнія рѣдко можно опереться въ пользу перебранокъ. Это первое движеніе еще старая кваска. Нельзя ли отложить статью въ ожиданіи отвѣта Жуковского? Я совершенно убита тѣмъ, что сказалъ мнѣ Перовскій.

Статья, о которой говоритъ Е. М. Хитрова, напечатана въ V т. сочиненій Пушкина (изд. 1859 г., стр. 163). Статья, написанная рукой Пушкина безъ помарокъ, сохранилась въ бумагахъ князя Вяземскаго. Комментарій на эту статью находимъ въ письмѣ князя Вяземскаго къ А. И. Тургеневу отъ 25 Апрѣля 1830 года.

Посылаю тебѣ, любезный другъ, отъ Дельвига его газету и 7-ю пѣсню Олѣгина. Въ газетѣ означилъ я имена авторовъ надъ нѣкоторыми статьями. Ты удивишься на страницѣ 94 стихамъ Пушкина къ Филарету: онъ былъ задранъ стихами его преосвященства, который пародировалъ, или лучше сказать, палинодировалъ стихи Пушкина о жизни („Даръ напрасный“), которые нашелъ онъ у общей ихъ пріятельницы Елизы Хитровой, пылающей къ одному христіанскою, а къ другому языческою любовью. Въ статьѣ о Видокѣ на страницѣ 162 ты узнаешь Видока-Булгарина. Она написана Пушкинымъ въ отвѣтъ на пакостную статейку Булгарина въ „Сѣверной Пчелѣ“, гдѣ Пушкинъ (подъ видомъ Французскаго писателя, а Булгаринъ Гофмано-французскаго) названъ картежникомъ, пьяницею, вольнодумцемъ предъ чернью и подлецомъ предъ сильными, и все это потому, что Булгаринъ принялъ критику Дельвига на романъ его за критику Пушкина, и разсердился, что его называютъ Полякомъ, а вѣроятно еще болѣе за то, что обвиняютъ его въ напрасной клеветѣ на Самозванца, котораго онъ представляетъ шпиономъ. Вотъ еще отвѣтъ Пушкина:

прикрыть. На „Литературную Газету“ надежды мало: Дельвигъ лѣнивъ и ничего не пишетъ, а выѣзжаетъ только sur sa bête de somme ou de Somoff *). Въ Маѣ приѣду на нѣсколько времени въ Москву: тогда переговоримъ. Когда твоя свадьба? Скажи, я постараюсь къ ней приѣхать. Прости, обнимаю тебя отъ всего сердца. Прошу рекомендовать меня невѣстѣ, какъ бывшаго поклонника ея на балахъ, а нынѣ преданнаго ей дружескою преданностью моею къ тебѣ. Я помню, что, говоря съ старшею сестрою, сравнивалъ я Алябьеву avec une beauté classique, а невѣсту твою avec une beauté romantique**). Тебѣ, первому нашему романтическому поэту, и слѣдовало жениться на первой романтической красавицѣ нынѣшняго повлѣнія. Признаюсь, хотѣлъ бы хотъ въ щелочку посмотрѣть на тебя въ качествѣ жениха“.

И Пушкинъ въ посланіи къ князю Юсупову ставитъ ему въ заслугу, что онъ высоко цѣнитъ:

„Блескъ Алябьевой и прелесть Гончаровой“.

Елисавета Михайловна Хитрова по объявленіи женитьбы Пушкина пишетъ ему

9-го (Мая) вечеромъ. Я нахожу совершенно необходимымъ, чтобы вы увѣдомили меня о полученіи этого письма. На будущее время вы не можете оправдываться—я для васъ болѣе никакого значенія не имѣю. Говорите мнѣ о вашей женитьбѣ и о вашихъ будущихъ намѣреніяхъ. Всѣ исчезаютъ, а хорошая погода не появляется. И Долли, и Катерина просятъ васъ рассчитывать на нихъ, чтобы быть путеводительницами вашей Натали. Г* дастъ уроки послу и его женѣ, а я перевожу на Русскій языкъ: Marriage in the high Life; я буду продавать его въ пользу бѣдныхъ.

Она же пишетъ Пушкину вскорѣ послѣ предъидущаго письма:

Я опасаясь для васъ прозаической стороны супружества. Я всегда думала, что гений можетъ устоять только среди совершенной независимости и развиваться только среди повторяющихся бѣдствій; что совершенное благополучіе—положительное, непрерывное и со временемъ довольно однообразное—убиваетъ способности, располагаетъ къ разжиренію, скорѣе способно создать добряка, чѣмъ великаго поэта... И можетъ быть, послѣ личнаго горя, въ первую минуту это меня болѣе всего укололо. Благодаря Бога, я вовсе въ сердцѣ не имѣю себялюбія. Я обдумала, я боролась, страдала, и наконецъ я достигла того, что я желаю, чтобы вы поскорѣ женились. Устройтесь же съ вашей красивой и прелестной женой въ хорошенькомъ, маленькомъ, уют-

*) Непереводимая игра словъ: на своемъ вьючномъ животномъ или на Сомовѣ.

***) Съ красотой классическою. Съ красотой романтическою.

небольшомъ деревяномъ домѣ; по вечерамъ ходите къ тетушкамъ составлять имъ партію, и возвращайтесь счастливымъ и спокойнымъ домой, благодаря Провидѣнію за ввѣренное вамъ сокровище; забудьте прошедшее, и пусть ваше будущее принадлежитъ исключительно вашей женѣ и вашимъ дѣтямъ!

Я увѣрена, такъ какъ мнѣ извѣстны мысли Государи на вашъ счетъ, если вы только пожелаете какое-либо мѣсто при немъ, вамъ дадутъ его. Этими, можетъ-быть, и не слѣдовало бы пренебрегать, ибо оно кончится тѣмъ, что доставитъ вамъ независимость со стороны денежной и со стороны правительственной. Государь такъ хорошо расположенъ, что вамъ никого не нужно; но ваши друзья конечно ради васъ распылятся на 46000, и родственники вашей жены могутъ быть вамъ также полезны. Я полагаю, что вы уже получили мое очень коротенькое письмо. Въ сущности между нами ничего не измѣнилось—я буду видѣть васъ еще чаще... (если Богъ дастъ, я еще увижу васъ). Отнынѣ навсегда мое сердце, мои задушевные мысли останутся для васъ непроницаемой тайной, а мои письма будутъ вполне какъ должно быть. Океанъ будетъ между мною и вами. Но и прежде и послѣ вы всегда найдете во мнѣ и для васъ, и для жены вашей, и для дѣтей—друга непоколебимаго, какъ скала, о которую все разбивается. Расчитывайте на это по жизни и смерти. Располагайте мною на все и безъ разбора. Я создана природою, чтобы на все рѣшаться для другихъ. Я драгоценное созданіе для моихъ друзей. Мнѣ ничего не стоитъ; я хожу говорить съ важными лицами, и ничто не можетъ меня сбить: я снова возвращаюсь. Ни время, ни обстоятельства, ничто не можетъ лишить меня бодрости; на тѣло мое не дѣйствуетъ утомленіе сердца. Я ничего не боюсь, и я много постигаю, и моя дѣятельность чтобы услужить есть столько же дарованіе Неба, сколько и послѣдствіе положенія моего отца въ свѣтъ и горячаго воспитанія, гдѣ все было основано на необходимости быть полезной другимъ.

Когда я утолю мою любовь къ вамъ въ слезахъ моихъ, я все-таки останусь тѣмъ же существомъ, страстнымъ, смиреннымъ и безобиднымъ, которое за васъ готово идти и въ ледъ, потому что такъ я люблю, и тѣхъ которыхъ я люблю немного.

Холера задержала Пушкина въ деревнѣ до конца 1830 года. Немедленно по снятіи карантинныхъ, въ Декабрѣ или Январѣ 1831 года, онъ навѣстилъ насъ въ Остафьевѣ. Я живо помню, какъ онъ во время семейнаго вечерняго чая расхаживалъ по комнатамъ, не то плавая, не то какъ будто катаясь на конькахъ и, потирая руки, декламировалъ сильно, напирая на: «я мѣщанинъ, я мѣщанинъ», «я просто Русскій мѣщанинъ». Съ особеннымъ наслажденіемъ Пушкинъ прочелъ врѣзавшіяся въ мою память четыре стиха:

Не торговалъ мой дѣдъ блинами
Въ князя не прыгалъ изъ холмовъ,
Не пѣлъ на клавирахъ съ дѣтками,
Не вахалъ царскихъ сапоговъ.

Распространеніе этихъ стиховъ, несмотря на увѣщаніе моего отца, несомнѣнно вооружило противъ Пушкина много озлобленныхъ враговъ, и болѣе всего вооружило противъ него при его кончинѣ цѣлую массу вліятельныхъ семействъ въ Петербургѣ. Хуже всего для Пушкина было то, что онъ игралъ честью предковъ (хотя въ сущности эти выходки были вполне безобидны), будучи увлеченъ и подвигнутъ на то исключительно полемикой съ Булгаринымъ. Самолюбіе поэтовъ ставитъ ихъ въ нелогичное положеніе: они не уважаютъ ничтожностей и требуютъ отъ этихъ ничтожностей, чтобы онѣ уважали и цѣнили достоинство поэта.

Пушкинъ женился 18 Февраля 1831 года. Я принималъ участіе въ свадьбѣ и, по совершеніи брака въ церкви, отправился вмѣстѣ съ Павломъ Войновичемъ Нащокинымъ на квартиру поэта для встрѣчи новобрачныхъ съ образомъ. Въ щегольской, уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями подъ лиловый бархатъ съ рельефными набивными цвѣточками, я нашелъ на одной изъ полочекъ, устроенныхъ по обоямъ бокамъ дивана, никогда мною невиданное и неслыханное собраніе стихотвореній Кирши Данилова. Былины эти, напечатанныя въ важномъ форматѣ и переданныя на дивномъ языкѣ, приковали мое вниманіе на весь вечеръ. Мнѣ хорошо были известны глубочайшія копѣечныя изданія сказокъ, жадно мною скупаемыя. Тогда въ Москвѣ они также легко покупались какъ изюмъ, орѣхи и моченыя яблоки; насыщенъ я былъ изустно этими сказками отъ нянекъ и горничныхъ дѣвушекъ, между которыми встрѣчались большія мастерицы. Перечиталъ я уже тогда и собраніе сказокъ Чулкова и другія болѣе или менѣе литературныя передѣлки старинныхъ народныхъ сказокъ. Взглядъ мой на народную передачу сказокъ тогда уже вполне установился. Съ жадностію слушалъ я высказываемое Пушкинымъ своимъ друзьямъ мнѣніе о прелести и значеніи богатырскихъ сказокъ и звучности народнаго Русскаго стиха. Тутъ же я услышалъ, что Пушкинъ обратилъ свое вниманіе на народное сокровище, коего только часть сохранилась въ сборникѣ Кирши Данилова, что имѣется много чудныхъ, поэтическихъ пѣсенъ доселѣ неизданныхъ и что дѣло это находится въ надежныхъ рукахъ Кирѣевскаго. Среди послѣдователей Вольтера, Мармонтеля, Блэра и Лё-Батё, я, быть можетъ, былъ единственное лицо, подготовленное понимать и сочувствовать восторженной оцѣнкѣ Пушкинымъ нашей народной поэзіи. Мой отецъ, лю-

бывшій и понимавшій поэзію въ устахъ самого народа, всегда недобѣрчиво и враждебно относился къ письменной народной поэзіи, обрабатываемой и выпускаемой въ свѣтъ литературными людьми. Еще въ 1827 году, когда мнѣ было семь лѣтъ, я напугалъ мою бабушку, Прасковью Юрьевну Кологривову, проживавшую въ Саратовской губерніи, въ селѣ Мещерскомъ, моею начитанностью въ сказочной литературѣ. Въ зиму 1827—1828 бабушка моя каждый вечеръ брала меня къ себѣ и читала мнѣ житія изъ Пролога, чтобы противодѣйствовать миѳическому пресыщенію моего воображенія. Одинъ изъ моихъ наставниковъ, г. Робертъ, въ 1830 году, въ письмѣ къ отцу изъ Остафьева сѣтуетъ, что его предшественникъ видимо употреблялъ всѣ усилія, дабы развивать воображеніе въ ущербъ болѣе положительнымъ качествамъ.

Теперь мнѣ становится понятно, что Пушкинъ могъ наслаждаться своимъ дѣйствіемъ на впечатлительную, сочувствующую ему натуру и вызывать звуки чувствительнаго и на его ладъ настроеннаго инструмента. Объясненіе потраченнаго со мною времени Пушкинымъ во время моего дѣтства донинѣ составляло для меня загадку. Недавно мнѣ пришлось уяснить себѣ такое личное отношеніе сильной, самобытной натуры Пушкина къ дѣтямъ. Пушкинъ поздравлялъ меня съ тѣмъ, что я вошелъ въ дружескія отношенія съ однимъ моимъ ровесникомъ, предсказывая мнѣ, что свѣтлый умъ и энергическій характеръ моего товарища непременно выдвинутъ его въ грядущихъ событіяхъ. Недавно я обращался къ этому старому товарищу, дѣйствительно занимавшему важныя и высшія государственныя должности, съ просьбой сообщить мнѣ, какія у него были сношенія съ Пушкинымъ. На это онъ объяснилъ мнѣ, что, до встрѣчи въ нашемъ домѣ, онъ какъ-то разъ встрѣтился съ Пушкинымъ въ ново-открытомъ книжномъ магазинѣ Исакова въ 1834 году, гдѣ настаивалъ, чтобы ему дано было именно то изданіе «Бахчисарайскаго Фонтана», которое онъ требовалъ, а не то которое ему было доставлено. Пушкинъ подошелъ къ нему, распросилъ его о причинахъ предпочтенія одного изданія передъ другимъ и очень обласкалъ его.

Отъ 21-го Мая (1831) таже старая пріятельница Пушкина пишетъ князю П. А. Вяземскому:

Письмо ваше, чрезъ посредство Свистунова, мнѣ доказало, что вы умѣете любить вашихъ друзей, даже когда они виноваты. Но можно ли писать той, кто устала страдать? А крови сколько пролито, сколько интересовъ въ застоѣ! Съ разстроенными нервами можно разговаривать, двигаться; но пи-

сать—убійственно: это приводит слишкомъ въ движеніе сердце и душу. Да и что же говорить? Всякій день наканунѣ рѣшительныхъ событій, и мы болѣе чѣмъ когда-либо все болѣе отъ нихъ отдаляемы. Я была однако очень счастлива свидѣться съ нашимъ общимъ другомъ. Я нахожу, что онъ много выигралъ въ умственномъ отношеніи и относительно разговора. Жена очень хороша и кажется безобидной. Нѣтъ, я не могу восхищаться „Наложницей“, и я въ томъ покаялась Пушкину. Впрочемъ я прочла ее въ два часа утра и съ головой наполненной Эсмеральдой—мильйшей, прелестнѣйшей и очаровательнѣйшей изъ всѣхъ Цыганокъ, этимъ созданіемъ Виктора Гюго и украшеніемъ Notre-Dame de Paris. Я даже вовсе не нашла въ ней автора (Баратынскаго) „Бала“. Все это безцвѣтно, холодно, безъ энергій, и особенно безъ всякаго воображенія. Герой—дуракъ, никогда не покидавшій Москвы. Я не могу его себѣ иначе представить какъ въ дрянномъ экипажѣ или съ грязной передней. Впрочемъ, въ то время, въ которое намъ приходится жить, и среди той драмы, которая разыгрывается около насъ, можно выносить только одну порочную Французскую литературу.

Графиня Фикельмонъ *), жена Австрійскаго посла, внучка фельд-маршала Кутузова, въ письмѣ изъ Петербурга къ князю Виземскому въ Москву, отъ 25-го Мая 1831 года, высказываетъ весьма замѣчательное предвидѣніе судьбы Пушкина:

Пушкинъ къ намъ пріѣхалъ, къ нашей большой радости. Я нахожу, что онъ въ этотъ разъ еще любезнѣе. Мнѣ кажется, что я въ умѣ его отмѣчаю серьезный отгѣнокъ, который ему и подходящъ. Жена его прекрасное созданіе; но это меланхолическое и тихое выраженіе похоже на предчувствіе несчастія. Физіономіи мужа и жены не предсказываютъ ни спокойствія, ни тихой радости въ будущемъ: у Пушкина видны всѣ порывы страстей; у жены вся меланхолія отреченія отъ себя. Впрочемъ, я видѣла эту красивую женщину всего только одинъ разъ.

Помѣщаемое ниже письмо той же замѣчательной Петербургской красавицы (отъ 12-го Декабря 1831 года) во многомъ служитъ комментариемъ къ предыдущимъ и даетъ правильное мѣрило для опредѣ-

*) Здѣсь келати замѣтить, что Dolly и Dolly Fiquelmont (подписи на письмахъ графини Фикельмонъ) и Доли упоминаемая въ письмахъ князя Виземскаго и Пушкина— есть дочь Елисаветы Михайловны Хитровой, жена Австрійскаго посла, а не дочь ея Дарья Федоровна Опочинина, какъ сказано въ одномъ изъ примѣчаній „Русскаго Архива“ (1879, кн. VIII, стр. 486, примѣч. 33). Нелишне прибавить для исторической точности, что у Елисаветы Михайловны не было дочери за Опочининымъ, а была сестра Дарья Михайловна Опочинина.

ленія тѣхъ отношеній, которыя существовали въ ту эпоху между великосвѣтскими модными женщинами и княземъ Вяземскимъ и Пушкинымъ.

Тысячу разъ благодарю васъ, дорогой Вяземскій, за всѣ милыя и добрыя вещи мнѣ вами сказанныя. Хотя я и вполнѣ сознаю, что вы цѣните меня сквозь снисходительную призму дружбы, и что я далеко не то что вы думаете, тѣмъ не менѣе мнѣ весьма отраднo читать васъ. Не думайте же, что я инстинктивно направлена была къ сближенію съ вами и искала въ васъ друга. Это мой добрый геній: я всегда смотрѣла какъ на даръ Провидѣнія быть другомъ замѣчательнаго человѣка. Затѣмъ я разрѣшаю вамъ предпочитать мнѣ всѣхъ хорошенькихъ женщинъ, волочиться за всѣми, даже и не замѣчать меня въ гостиной; потому что я рассчитываю на хорошій уголокъ въ вашемъ сердцѣ, откуда я не хочу, чтобы меня выжили и гдѣ я останусь вопреки васъ самого.

Я пишу вамъ мое письмо съ тайной надеждой, что оно уже не застанетъ васъ въ Москвѣ. Вы увидите Петербургъ веселымъ, танцующимъ, не сохранившимъ даже воспоминанія объ истекшемъ роковомъ годѣ; несмотря на всѣ грустныя, мрачныя, черныя мысли, возбужденныя истекшимъ годомъ, вы услышите только звуки музыки и пустѣйшіе разговоры. Какъ я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное созданіе, которое называютъ обществомъ! Какъ Адольфъ (вашъ пріемышъ) правъ, когда онъ говоритъ, что обществу нечего насъ опасаться: оно такъ тяготеетъ надъ нами, его глухое вліяніе такъ могуче, что оно не медля перерабатываетъ насъ въ общую форму.

Знаете ли вы, что Викторъ Гюго написалъ премилые стихи, гармоничскіе, прочувствованные, религиозные? Это молитва обращенная къ его ребенку; въ немъ глубокая набожность какъ у Ламартина, но съ отѣнкомъ горести земной и свѣтской, почему они еще трогательнѣе. Я бы переслала ихъ вамъ, если бы не надѣялась скоро увидаться съ вами. Удивительно, что авторъ излюбленный юною Франціей говоритъ о Богѣ какъ слѣдуетъ говорить о Немъ.

Пушкинъ у васъ въ Москвѣ; жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выраженіе ея лба заставляетъ меня трепетать за ея будущность.

Чтобы дать вамъ понятіе о нашихъ балахъ, я скажу лишь, что мы пляшемъ мазурку на всѣ революціонныя аріи послѣдняго времени, и повѣрите ли вы мнѣ, что я не нашла ни единой особы, которая бы остановилась на этой мысли? Ожидаю васъ, чтобы сообщить мои размышленія по этому поводу. Прощайте, дорогой Вяземскій; съ нетерпѣніемъ жду времени поболтать съ вами. Я ожидаю этого какъ праздника: оно мнѣ право необходимо. Матушка хворала; она очень возбуждена, встревожена, но однако ей лучше. До свиданія, и привезите съ собою всю вашу добрую дружбу.

Пушкинъ и друзья его давно замыслили издавать ежедневный журналъ. Слѣды этой затѣи восходятъ къ 1818 году, когда М. Ѳ. Орловъ сдѣлалъ о томъ предложеніе въ Арзамаскомъ обществѣ. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Пушкинъ какъ будто серьезно задумалъ положить конецъ ненавистной монополіи Греча и Булгарина. Онъ хлопоталъ даже разрѣшеніе, и какъ будто успокоился побѣдой въ принципъ: ни въ бесѣдахъ Пушкина, ни въ его перепискѣ съ княземъ Вяземскимъ ни въ 1831-мъ, ни въ послѣдующихъ годахъ, намѣреніе это не отражается.

Семейство наше перѣхало на житье въ Петербургъ въ Октябрѣ 1832 года. Я живо помню прощальный, литературный вечеръ отца моего съ его холостой Петербургской жизнью на квартирѣ въ домѣ Мижуева у Симеоновскаго моста. Въ этотъ вечеръ происходилъ самый оживленный разговоръ о необходимости положить предѣлъ монополіи Греча и Булгарина и защитить честь Русской литературы, униженной подъ гнетомъ Булгарина, возбуждавшаго ненависть всего Пушкинскаго кружка болѣе, чѣмъ его пріятель: за Греча прорывались изрѣдка и сочувственные отзывы. И въ этотъ вечеръ рѣчь шла о серьезномъ литературномъ предпріятіи, а не о ежедневной политической газетѣ.

Въ зиму 1832—1833 года особенно замѣтенъ былъ разгаръ ненависти противъ Булгарина. На сомнѣнія мои относительно законности вражды противъ Булгарина, доврчиво высказанныя мною Пушкину, Александръ Сергѣевичъ разсказалъ мнѣ, что Булгаринъ, привлеченный къ слѣдствію по 14-му Декабря 1825 года, выпутался изъ возбужденныхъ противъ него обвиненій съ триумфомъ, настаивая на томъ, что онъ никогда и никакимъ довріемъ со стороны подсудимыхъ не пользовался. Въ доказательство же преданности своей онъ указалъ на сношенія племянника своего (имя коего въ памяти моей не сохранилось) съ нѣкоторыми изъ подсудимыхъ, и такъ опуталъ своего племянника, что несчастный пострадалъ и, по мнѣнію Пушкина, пострадалъ невинно.

Вообще всѣ нападки на Булгарина вертѣлись на его сношеніяхъ съ полиціей.

Я помню, какъ отецъ мой потѣшался, увидавъ въ «Новосельи» или въ сборникѣ «Сто Русскихъ литераторовъ» повѣсть Булгарина оканчивающуюся словами: «Я тогда служилъ въ полиціи», и затѣмъ подпись: «Ѳаддей Булгаринъ». И впоследствии, когда къ именамъ Греча и Булгарина присоединилось имя Сенковскаго, я доискивался настоящей причины негодования на этихъ трехъ публицистовъ, и единственное разъясненіе, котораго я могъ добиться это то, что Гречъ, Булгаринъ и въ особенности Сенковскій издѣваются и закидываютъ

грязью всё тѣ высшіе, политическіе и нравственные идеалы, которыми служили Пушкинъ и его друзья.

Не можетъ быть сомнѣнія, что источникъ негодованія на Булгарина и Сенковскаго заключается въ томъ, что эти публицисты заподозрѣны были въ намѣреніи нравственно и умственно развращать читающую публику. Негодованіе разжигалось убѣжденіемъ, что цензура и графъ Уваровъ во главѣ ея поощряютъ Греча, Булгарина и Сенковскаго. Объясненіе это подтверждается любопытнымъ документомъ, многими непонятымъ: это письмо князя Вяземскаго графу Уварову, содержащее обвиненіе, возводимое противъ профессора Русской исторіи Устрялова, напечатанное во второмъ томѣ полного собранія сочиненій князя Вяземскаго. Въ нашемъ архивѣ сохранилось это письмо вмѣстѣ съ письмомъ А. С. Пушкина, разъясняющимъ дѣйствительное значеніе этого обвиненія, какъ памфлета, направленного противъ стараго Арзамасца, графа Уварова.

Пушкинъ пишетъ:

„Письмо твое прекрасно. Форма „М. г.“ или „О“, и т. д., кажется, ничего не значить; главное—дать статьѣ какъ можно болѣе ходу и извѣстности. Но во всякомъ случаѣ цензура не осмѣлится ее пропустить, а Уваровъ самъ на себя розогъ не принесетъ. Бенкендорфа вѣшнать тутъ мудрено и неловко. Какъ же быть? Думаю оставить статью, какова она есть, а впослѣдствіи времени выбирать изъ нея все что будетъ можно выбрать, какъ нѣкогда и дѣлалъ ты въ „Лит. Газетѣ“ со статьями не пропущенными Щегловымъ. Жаль, что ты не разобралъ Устрялова по формулѣ изобрѣтенной Воейковымъ для Полеваго, а куда бы хорошо! Стихи для тебя переписываю“.

Изъ слѣдующаго письма можно догадываться, что одно время Пушкинъ замышлялъ дѣйствовать посредствомъ своего журнала на Русскихъ женщинъ, которыхъ онъ уважалъ несравненно болѣе чѣмъ мужчинъ, признавая нашихъ женщинъ несравненно просвѣщеннѣе.

Отъ 11 Сентября 1831 года князь Вяземскій пишетъ Пушкину:

„Какимъ же быть модамъ, когда ты помышляешь о четырехмѣсячномъ или третейскомъ журналѣ? Куда же поспѣютъ наши моды, развѣ—въ Камчатку? А о мѣсячномъ журналѣ намъ и думать нечего: мы не довольно правильной жизни“.

Слѣдующее письмо также заключаетъ данныя о замышлявшемся Пушкинымъ противодѣйствіи Булгарину. Здѣсь, кажется, имѣется въ виду ежедневный журналъ, на который Пушкинъ получилъ разрѣшеніе.

Князь Вяземскій пишетъ А. И. Тургеневу изъ С.-Петербурга отъ 24 Ноября 1832 года:

Пушкинъ единогласно избранъ членомъ Академіи, но чтобы не слишкомъ возгордился сею честью, вѣстѣ съ нимъ избранъ и Загоскинъ. Журналъ его рѣшительно не состоится, по крайней мѣрѣ на будущій годъ. Жаль! Литературная канальская шайка Грече-Булгаринская остается въ прежней силѣ.

Письмо оканчивается сообщеніемъ одной изъ тѣхъ многочисленныхъ эпиграммъ на Булгарина, которыя въ то время служили какъ будто для перевода духа... Эпиграмма напечатана въ полномъ собраніи сочиненій князя П. А. Вяземскаго.

Любопытное письмо князя Вяземскаго къ А. Я. Булгакову отъ 9 Февраля 1833, кажется, не напечатанное въ «Русскомъ Архивѣ», упоминаетъ мимоходомъ о Пушкинѣ. Для насъ дорога каждая, едва замѣтная, черта обрисовывающая въ данную минуту хотя бы только свѣтское положеніе гениальнаго поэта. Маскарадъ, о которомъ говорится въ письмѣ, былъ, сколько помнится, въ Австрійскомъ посольствѣ, на который Императоръ Николай Павловичъ явился въ Венгерскомъ гусарскомъ мундирѣ.

Вчерашній маскарадъ былъ великолѣпный, блестящій, разнообразный, жаркій, душный, восхитительный, томительный, продолжительный. Для маскарада нужна большая зала, а особенно для маскарада съ репрезентаціею. Кадрили Царицы были прѣкрасны, начиная съ нея и съ великой княгини. Много совершенныхъ красавицъ: Завадовская, Радзивилова-Урусова, Долгорукая-Апраксина, пріѣзжая изъ Москвы дѣвица Булгакова длинноухая (дочь А. Я.), Суворова-Ярцова, милая крошка—Дубенская, Бѣлосельская, Шереметева и много другихъ. Старофранцузскій кадрилъ графини Фикельмонъ былъ также очень хорошъ, совершенно въ духѣ того времени, и могъ дать понятіе, какъ дѣды влюблялись въ нашихъ бабушекъ съ пудрою, мушками, фижмами, и проч. Очень хороши были въ этомъ кадрилѣ сама графиня Долли и Толстая, фрейлина великой княгини. Балъ продолжался до шестаго часа. Впрочемъ, жена и дочь тебѣ все расскажутъ лучше моего. Женщины даромъ что заняты своимъ дѣломъ, а все услѣютъ высмотрѣть. Мы заглядимся на какія нибудь, то есть на чьи нибудь, плечи, на чью нибудь пожку, да вотъ-те и весь балъ, хоть тамъ звѣзды съ неба хватай. Хороша очень была Пушкина-поэтша, но сама по себѣ, не въ кадриляхъ, по причинѣ что Пушкинъ задалъ ей стишокъ свой, который съ помощію Божіей не пропадетъ также для потомства.—Что твои уши? Пошли тпруши (sic) то-есть здѣшнія ушки, а твои самородныя, то-есть что любовь твоя къ Карадори? Того и смотри что завербуете ее на великій постъ. Что писалъ Шаликовъ о концертахъ ея? Вотъ ужъ я думаю изгибался, извивался и завивался въ фразахъ своихъ. Пока

прошай. Воля твоя, нѣтъ мочи, ни времени писать. Департаментъ, блины, балы такъ и заѣдають. Дай заговѣться, и тогда будетъ коту масляница, если хочешь почитать письма мои грешными (или просто грѣшными) блинами. Что вашъ карнавалъ? Поклонись ему, старому другу, отъ меня. Право, пѣшкомъ побѣжалъ бы на субботній утренній маскарадъ. Я здѣсь никуда не го- жусь: тамъ такъ я и рассыпался какъ бѣсъ передъ заутренею, а здѣсь того и смотри что песокъ..... посыплется. Обнимаю.

*

Помѣщаемъ здѣсь во многихъ отношеніяхъ любопытный доку- ментъ, изданный и автографически къ открытію памятника Пушкина: это шуточное посланіе отца моего и Пушкина за границу Жюков- скому, отъ 26-го Марта 1833 года. Письмо и стихи писаны рукой князя Вяземскаго за исключеніемъ двадцати пяти стиховъ, начиная съ «Г. Шафонскаго» по стихъ: «Да Англичанина Варнта», писанныхъ рукой Пушкина.

Что, совершилъ свой Геракулесовскій подвигъ, очинилъ свою палицу, написалъ письмо, да и баста! Окаянный лѣнивонецъ, хоть бы ради великаго поэта сдѣлалъ богоугодное дѣло! Но не даромъ. Булгаринъ говоритъ, что ты безбожникъ и вольнодумецъ, все что хочешь, только не вольнописецъ. Слава Богу, Николинъ Карамзину гораздо лучше: сейчасъ получаю изъ Дерпта письмо, утверждающее или подтверждающее добрую вѣсть. Но вотъ открытое письмо, которое тебя обо всемъ увѣдомитъ. Прочти и отошли. А не погово- рить ли о словесности, то-есть о поэзіи, напримѣръ о нашей съ Пушкинымъ и Матлевымъ, который въ этомъ случаѣ былъ *potre chef d'école*?

Надо помянуть, непременно помянуть надо

Трехъ Матренъ,

Да Луку съ Петромъ.

Помянуть надо и тѣхъ, которые напримѣръ:

Бывшаго поэта Панцербитера *),

Нашего прихода честнаго пресвитера,

Купца Риттера,

Резанова, славнаго Русскаго кондитера,

Всѣхъ православныхъ христіанъ города Сантъ-Питера,

Да покойнаго Юпитера.

Надо помянуть, непременно надо:

Московскаго поэта Вельяшева,

Его превосходительство генерала Ивашева

И двоюроднаго брата Вашева и Нашева.

Нашего Вальтера-Скотта Масальскаго,

Дона Мигуэля короля Португальскаго

И господина городничаго города Мосальскаго.

Надо помянуть, помянуть надо, непременно надо:

Покойной Бесѣды члена Кикина,

Россійскаго дворянина Боборыкина

И известнаго въ Банкѣ члена Аникина.

*) Скромный стихотворецъ конца XVIII вѣка. П. Б.

Надобно помянуть и тѣхъ, которые напимѣрь между прочими:

Раба Божія Петрищева,
Извѣстнаго автора Радищева,
Русскаго лексикографа Татищева,
Сенатора съ жилою на лбу Ртищева,
Какого-то барина Станищева,
Пушкина—не Мусина, не Овѣгинскаго, а Бобрищева,
Ярославскаго актера Канищева,
Нашега славнаго поэта шурина Павлищева,
Сенатора Павла Ивановича Кутузова-Голенищева,
И ради Христа всякова добраго нищева.

Надо еще помянуть, непременно надо:

Бывшаго Французскаго короля Дизвитскаго ¹⁾,
Бывшаго Варшавскаго коменданта Левицкаго
И полковника Жвитскаго.
Американца Монрое,
Виконта Дарленкура и его Ицсибое
И всѣхъ спасшихся отъ потопа при Ное.
Музыкальнаго Бетговева
И таможеннаго Овена,
Александра Михайловича Гедеонова,
Всѣхъ членовъ старшаго и младшаго дома Бурбонова,
И супруга Беррійской, неизвѣстна онова ²⁾;
Камеръ-юнкера Загряжскаго,
Уѣзднаго засѣдателя города Рязскаго,
И отцовъ нашихъ, державшихся вина Фрижскаго:
Славнаго лирика Ломоносова,
Московскаго статистика Андросова
И Петра Андрееча князя Вяземскаго курносова;
Оленина стереотипа
И Вигеля, Филипова сына, Филипа,
Бывшаго камергера Приклонскаго
„Господина Шафонскаго,
Карманный грошъ князя Григорія Волконскаго
И ужъ Александра Македонскаго:
Этого не обойдешь, не объедешь. Надо
Помянуть... Покойника Винцеягероде,
Саксонскаго министра Люцероде,
Графиню вицекандлершу Нессельроде,
Покойнаго скрипача Роде,
Хвостова въ анакреонтическомъ родѣ

Ужъ какъ ты хочешь, надо помянуть
Графа нашего пріятеля Велегорскаго
(Что не любить вина горскаго),
А по нашему Велеурскаго,
Покойнаго пресвитера Самбурскаго,

¹⁾ Наши солдаты, стоя во Франціи, говорили про Людовика XVIII-го: „нашъ Дизвитовъ“; они слышали, какъ Франгузы называли его: dix-huit. П. Б.

²⁾ Именно въ Февралѣ 1833 г. вдова герцога Беррійскаго (къ приверженцамъ которой принадлежалъ и будущій убійца Пушкина, бѣжавшій изъ-за нее въ Испанію) объявила себя беременною отъ одного Итальянца. Это была новость тогдашняго политическаго дня. П. Б.

Дершау, полицмейстера С.-Петербургскаго,
Почтмейстера города Васильсурскаго.

Надо помянуть парикмахера Эмё,
Ресторатора Dime,
Ланского, чѣ губернаторомъ въ Костромѣ,
Доктора Шулера, умершаго въ чумѣ,
И полковника Бартоломе,
Повара али исторіографа Миллера,
Нѣмецкаго поэта Шиллера
И Пинети, славнаго ташеншпилера.

Надобно помянуть (особенно тебѣ) Арндта
Да Англичанина Wagnta⁴
Извѣстнаго механика Молдуано,
Москетти, Московскаго сопрано
И всѣхъ тѣхъ, которые напиваются рано;
Натуралиста Кювье
И суконныхъ фабрикантовъ города Лувье,
Французскаго языка учителя Жили,
Отставнаго Англійскаго министра Пили
И живописца-аматера Кили.

Надо помянуть
Господь: Чулкова,
Носкова,
Башмакова,
Сапожкова,
Да при нихъ и генерала Пяткина
И князя Ростовскаго-Басаткина.

Надобно помянуть
Жуковскаго балладника.
И Марса, Питерскаго помадника.

Довольно ли съ тебя, а у насъ уже набрано около тысячи. Это вольное подражаніе твоему Пѣвцу въ Русскомъ станѣ. Надѣюсь, что этотъ образецъ воспламенитъ твое вдохновеніе, и ты не оставишь по части Швейцарской составить значительное пополненіе. Теперь прости. Вотъ тебѣ Языкова. Всѣ мои тебѣ кланяются, и мы часто поминаемъ Василія Андреевича Жуковскаго и кума его Михаила Трофимовича Каченовскаго. Мердеръ далъ мнѣ копію съ портрета твоего стоячаго у окна. Ради Бога, напиши, чѣ здоровье твое. Христось воскресе, а пока верба хлестъ, бей до слезъ.

Единственный комментарий, который могу сообщить о происхожденіи этихъ стиховъ—это то, что авторство князя Вяземскаго и Мятлева не можетъ заключаться въ подборѣ фамилій: въ этомъ принималъ участіе и я, да и не я одинъ. Забава продолжалась недѣли двѣ.

За 1833—1834 годы встрѣчается довольно много шуточныхъ стихотвореній въ бумагахъ князя Вяземскаго, между ними и стихотворенія, которыя Мятлевъ называлъ „Poésies maternelles“. Этому шу-

точному направленію князь Вяземскій и Пушкинъ съ особенно выдающимся рвеніемъ предавались какъ будто съ горя, что имъ не удавалось устроить серьезный органъ для пропагандированія своихъ мыслей.

Въ припискѣ князя Вяземскаго Пушкину къ письму Мятлева отъ 28-го Мая 1834 года упоминаются еще разъ стихотворныя упражненія Мятлева:

Пріѣзжай непременно. Право, будетъ весело. Надобно быть тамъ въ четыре часа, то есть сегодня. Къ тому же Мятлевъ

Любезный родственникъ, поэтъ и камергеръ,
А ты ему родня, поэтъ и камеръ-юнкеръ:
Мы выпьемъ у него шампанскаго на клункеръ,
И будутъ намъ стихи на м...рный манеръ.

Друзья не щадили самолюбія Пушкина на счетъ его запоздалаго камеръ-юнкерства. Мнѣ помнитсѣ стихъ того времени, Соболевскаго:

Пушкинъ камеръ-юнкеръ
Раззолоченный какъ клункеръ.

Открытіе названія золотой монеты «клункеръ» также принадлежитъ Соболевскому, доказывавшему право на существованіе этой риѣмы на камеръ-юнкеръ.

Не смотря на задѣтое честолюбіе, Пушкинъ былъ постоянно веселъ и принималъ живое участіе по крайней мѣрѣ въ интимномъ кружкѣ. Что касается крайней раздражительности Пушкина въ сношеніяхъ съ пріятелями, то я въ теченіе десяти лѣтъ, видя его почти каждый день, былъ свидѣтелемъ одной только его непримичной выходки. Въ 1833 или 1834 году, послѣ обѣда у моего отца, много ораторствовалъ старый пріятель Пушкина, генералъ Раевскій, сколько помнитсѣ Николай, человекъ вовсе отцу моему не близкій, и рѣдкій гость въ Петербургѣ. Пушкинъ съ замѣтнымъ нетерпѣніемъ возражалъ Раевскому; выведенный какъ будто изъ терпѣнія, чтобы положить конецъ разговору, Пушкинъ сказалъ Раевскому:

На что Вяземскій снисходительный человекъ, а и онъ говорить, что ты невыносимо тяжелъ.

Отъ 2-го Января 1834 года князь Вяземскій пишетъ А. Я. Булгакову:

Александръ Пушкинъ, поэтъ Пушкинъ—теперь камеръ-юнкеръ Пушкинъ. Что скажешь о томъ Полевой?

Вѣрный взглядъ на ощущенія Пушкина при пожалованіи его въ камеръ-юнкеры сообщаетъ Софья Николаевна Карамзина въ письмѣ своемъ къ Ив. Ив. Дмитріеву:

Пушкинъ крѣпко боялся дурныхъ шутокъ надъ его неожиданнымъ камеръ-юнкерствомъ, но теперь успокоился, ѣздитъ по баламъ и наслаждается торжественною красотою жены, которая, не смотря на блестящіе успѣхи въ свѣтѣ, часто и пренскренно страдаетъ мученіемъ ревности, потому что посредственная красота и посредственный умъ другихъ женщинъ не перестаютъ кружить поэтическую голову ея мужа.

Пушкинъ оскорблялся, какъ видно и изъ его Записокъ и писемъ, тѣмъ, что камеръ-юнкерство ставило его на одинъ рядъ съ юношами весьма разнообразнаго достоинства.

Въ 1834 году отецъ мой уѣхалъ за границу со всѣмъ семействомъ, и Пушкинъ въ томъ же году осенью переехалъ въ домъ Баташева, по Дворцовой набережной, у Прачешнаго моста, въ ту квартиру, которую занимали мы. Въ матеріалахъ Анненкова ошибочно названъ домъ Балашева отдѣльно отъ дома Баташева. Въ домѣ Балашева Пушкинъ никогда не жилъ, а жилъ съ осени 1834 по осень 1836 года въ домѣ Баташева. Въ это время я поступилъ въ Петропавловскую школу, и за зиму 1834 и 1835 Пушкинъ ускользаетъ изъ моей памяти: новый міръ, въ который я поступилъ, отчудилъ меня отъ роднаго очага. Впослѣдствіи товарищи мои, Мыльниковъ и Лонгиновы, рассказывали, что они въ эти года встрѣчали меня на Невскомъ проспектѣ то со школьниками St.-Petri-Schule, то съ А. С. Пушкинымъ, то съ модной красавицей Н. Н. Пушкиной и ея сестрами, и прославляли меня за то, что я, прогуливаясь съ элегантными дамами, дружески раскланивался со встрѣчавшимися школьными товарищами, у которыхъ были связки книжекъ за спиной.

Прогулки мои съ Пушкинымъ и съ Пушкиною и ея сестрами относятся къ зимѣ 1835—1836 года, когда я еще посѣщалъ Петропавловское училище.

Въ перепискѣ моего отца за 1834—1835 годъ ничего о Пушкинѣ и о литературѣ не нахожу: въ то время отецъ мой былъ совершенно озабоченъ болѣзнію сестры моей, княжны Прасковьи Петровны; скончавшейся въ Римѣ въ 1835 году.

Въ 1836 году, по возвращеніи моемъ осенью съ морскихъ купаній на островъ Нордерней, я какъ-то разъ ѣхалъ съ каменнаго острова въ коляскѣ съ А. С. Пушкинымъ. На Троицкомъ мосту мы встрѣтились съ однимъ мнѣ незнакомымъ господиномъ, съ которымъ Пушкинъ дружески раскланился. Я спросилъ имя господина.

— «Барковъ, ex-diplomat, habitué *) Воронцовыхъ», отвѣчалъ Пушкинъ и, замѣтивъ, что имя это мнѣ вовсе неизвѣстно, съ видимымъ удивленіемъ сказалъ мнѣ: «Вы не знаете стиховъ однофамильца Бар-

*) Бывшій дипломатъ, частый посѣтитель.

кова, вы не знаете знаменитаго четверостишія... (обращеннаго къ Савоськѣ) и собираетесь вступить въ университетъ? Это курьозно. Барковъ—это одно изъ знаменитѣйшихъ лицъ въ Русской литературѣ; стихотворенія его въ ближайшемъ будущемъ получатъ огромное значеніе. Въ прошломъ году я говорилъ Государю на балѣ, что царствованіе его будетъ ознаменовано свободою печати, что я въ этомъ не сомнѣваюсь. Императоръ разсмѣялся и отвѣчалъ, что онъ моего убѣжденія не раздѣляетъ. Для меня сомнѣнія нѣтъ» продолжалъ Пушкинъ; «но также нѣтъ сомнѣнія, что первыя книги, которыя выйдутъ въ Россіи безъ цензуры будутъ полное собраніе стихотвореній Баркова».

Вообще въ это время Пушкинъ какъ будто систематически дѣйствовалъ на мое воображеніе, чтобы обратить мое вниманіе на прекрасный полъ и убѣдить меня въ важномъ значеніи для мужчины способности приковывать вниманіе женщинъ. Пушкинъ поучалъ меня, что вся задача жизни заключается въ этомъ: все на землѣ творится, чтобы обратить на себя вниманіе женщинъ. Не довольствуясь поэтической мыслию, онъ училъ меня, что въ этомъ дѣлѣ не слѣдуетъ останавливаться на первомъ шагѣ, а идти впередъ, нагло, безъ оглядки, чтобы заставить женщинъ уважать васъ. Той мизантропической проповѣди, которая выражена въ напечатанномъ наставленіи, данномъ имъ брату Льву Сергѣевичу— мнѣ никогда не приходилось слышать. Онъ постоянно давалъ мнѣ наставленія объ обращеніи съ женщинами, направляя свои нравоученія циническими цитатами изъ Шамфора. Было ли это слѣдъ прочтенія въ то время Шамфора или озлобленія противъ женщинъ; но дѣло въ томъ, что онъ возбуждалъ во мнѣ цѣлый рядъ размышленій о несправедливости и нелогичности людей въ отношеніи къ ихъ личности и къ постороннимъ. Въ тоже время Пушкинъ сильно отговаривалъ меня отъ поступленія въ университетъ, и утверждалъ, что я въ университетѣ ничему научиться не могу. Однажды, соглашаясь съ его враждебнымъ взглядомъ на высшее у насъ преподаваніе наукъ, я сказалъ Пушкину, что поступаю въ университетъ исключительно для изученія людей. Пушкинъ расхохотался и сказалъ: «Въ университетѣ людей не изучишь, да едва-ли ихъ можно изучить въ теченіи всей жизни. Все чтѣ вы можете пріобрѣсти въ университетѣ— это то, что вы свыкнетесь жить съ людьми, и это много. Если вы такъ смотрите на вещи, то поступайте въ университетъ; но едва ли вы въ томъ не раскаетесь!»

Съ другой стороны Пушкинъ постоянно и настойчиво указывалъ мнѣ на недостаточное мое знакомство съ текстами Священнаго Писанія и убѣдительно настаивалъ на чтеніи книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта.

Я позволяю себѣ откровенно передавать и сомнительныя нравоученія Пушкина, въ твердомъ убѣжденіи, что проповѣдь его не была слѣдствіемъ легкомыслія или разврата мысли, но коренилась въ его уваженіи природы, жизни и въ ненависти къ поддѣльной наукѣ и лицемерной нравственности. Я тѣмъ болѣе вѣрю въ чистоту стремленій Пушкина, что проповѣдь его пустила глубокіе корни въ моей юношеской головѣ, а Шамфора я и до сего дня не полюбопытствовалъ прочесть. Для нашего поколѣнія, воспитывавшагося въ царствованіе Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкинъ и его друзья, воспитанные во время Наполеоновскихъ войнъ, подъ вліяніемъ героическаго разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинскимъ удалствомъ и какимъ-то презрѣніемъ къ требованіямъ гражданскаго строя. Нынѣшнее поколѣніе можетъ понять подобныя фізіологическія явленія развѣ только съ помощію романа графа Толстаго: «Война и Миръ». Пушкинъ какъ будто дорожилъ послѣдними отголосками беззавѣтнаго удалства, видя въ нихъ послѣднія проявленія заживо схороняемой самобытной жизни. Этотъ воинственный, удалой духъ Пушкина еще сильно звучитъ въ посланіи къ Денису Давыдову при посылкѣ ему Исторіи Пугачевского бунта. Стихотвореніе помѣчено 18-мъ Января 1836 года.

Тебѣ, пѣвцу, тебѣ, герою!
Не удалось мнѣ за тобою,
При громѣ пушечномъ въ огнѣ,
Скакать на бѣшеномъ конѣ.
Назадникъ смирнаго Пегаса,
Носидь я стараго Парнаса
Изъ моды въшедшій мундиръ.
Но и на этой службѣ трудной,
И тутъ, о, мой назадникъ чудный,
Ты мой отецъ и командиръ.
Вотъ мой Пугачь! При первомъ взглядѣ
Онъ видѣнъ: плутъ, казакъ, прямой;
Въ передовомъ твоемъ отрядѣ
Урядникъ былъ бы онъ лихой.

Пушкинъ рассказывалъ, что въ молодости онъ старался подражать Денису Давыдову въ крученіи стиха, и усвоилъ себѣ его манеру навсегда.

Изъ сочиненій Пушкина за это время неизгладимое впечатлѣніе произвела прочитанная имъ самимъ «Капитанская Дочка», и ненапечатанный монологъ обезумѣвшаго чиновника передъ Мѣднымъ Всадникомъ. Монологъ этотъ, содержащій около тридцати стиховъ, произвелъ при чтеніи потрясающее впечатлѣніе, и не вѣрится, чтобы

онъ не сохранился въ цѣлости. Въ бумагахъ отца моего сохранились многія подлинныя стихотворенія Пушкина и копии, но монолога не сохранилось, весьма можетъ быть потому, что въ монологъ слишкомъ энергически звучала ненависть къ Европейской цивилизаціи. Мнѣ все кажется, что великолѣпный монологъ таится вслѣдствіе какихъ-либо тенденціозныхъ соображеній; ибо трудно допустить, чтобы изъ всѣхъ людей, слышавшихъ проклятыя, никто не попросилъ Пушкина дать списать эти тридцать-сорокъ стиховъ. Я думалъ объ этомъ, и не смѣлъ просить, вполне сознавая, что мое юношество не внушаетъ довѣрія. Я помню впечатлѣніе, произведенное на одного изъ слушателей, Аркадія Осиповича Россети, и мнѣ какъ будто помнится, онъ увѣрялъ меня, что сниметъ копію для будущаго времени.

*

Въ печатаемыхъ отрывкахъ я обращалъ вниманіе на два предмета: личность поэта и его приготовленіе къ журнальной дѣятельности.

Помѣщаю здѣсь любопытное письмо о зачатіи «Современника». Сердечная, умная и неизмѣнная пріятельница Пушкина, Жуковскаго и князя Вяземскаго, А. О. Смирнова пишетъ изъ Берлина отъ 29-го Февраля 1836 года:

Я подписываюсь на „Современникъ“ и прошу васъ высылать мнѣ его. Просите Пушкина начать постомъ или послѣ пасхи, чтобы не дѣлать, какъ наши литераторы, изготовляющіе подарки добрымъ дѣтямъ на праздники. Надѣюсь на его вкусъ: онъ не будетъ держаться формата „Библіотеки для чтенія“, имъ громко осуждаемой; внѣшній видъ Blackwood's Magazine очень приличенъ—совершенно Европейскій. Вы видите, я совершенно матерински забочусь объ этомъ дитяти хорошаго общества; потому и надѣюсь получить извѣстіе немедленно по его появленіи. Опасаюсь, чтобы названіе „Современникъ“ не щекотало цѣломудренныхъ ушей Греча, Булгарина и К°, и они отомстятъ, указывая на слишкомъ современную аллюру нашего изданія. Скажите Пушкину, что я могу ему сообщить все что происходитъ въ литературномъ мірѣ Берлина, хотя я не вижу рецензентовъ и альманашиковъ. А вѣдь и здѣсь жалуются, какъ и у насъ, на застои въ изящной литературѣ; изрѣдка нѣсколько стихотвореній Шамиссо, въ настоящую минуту стихотворенія графа Платена, изданныя въ Ганноверѣ—вотъ почти все сколько нибудь замѣчательное изъ литературныхъ явленій; за то много классическихъ сочиненій, въ чемъ у насъ существенный недостатокъ.

Въ письмѣ отъ 4-го Мая 1836 года встрѣчаемъ первое впечатлѣніе, произведенное появленіемъ «Современника»:

Благодарю за „Современникъ“: я его вкушаю съ чувствомъ и разстановкой, разомъ проглотивъ Чиновниковъ и Боляску Гоголя, смѣясь какъ

рѣдко смѣются, а я никогда. Вѣдь это однако Плетневъ открылъ это маленькое сокровище; у него чутье очень вѣрное, онъ его распозналъ съ первой встрѣчи. „Арзерумъ“—вылитый Пушкинъ, когда онъ расположенъ болтать и заинтересовать, такъ что всѣ эти исторіи мнѣ слишкомъ извѣстны, и потому зачѣмъ упоминать о тѣхъ Французахъ, которые о немъ говорили, худо ли хорошо ли? У насъ объ этомъ никто бы и не зналъ, не стоило и защищаться: о немъ говорили люди темные. Скажите ему, что ему надо путешествовать, чтобы познакомиться съ собой Европу: это единственное средство, да вдобавокъ едва ли стоитъ того. Я сейчасъ узнала Тургенева въ его Парижскомъ дневникѣ: онъ нанизываетъ громкія имена и рекомендуетъ книги, которыхъ самъ не читаетъ; еще пожалуй такъ себѣ ничего, что онъ ходилъ смотрѣть на *boeuf gras* и съ визитомъ къ г-жѣ Тьеръ, урожденной *Dosne*; но бѣгать чтобы поглазѣть на *Nina Lassave*, на кривую, наглую, грязную Нину—это изъ рукъ вонъ; нравственное чувство Нѣмцевъ оскорбляется этимъ, и здѣсь не продаютъ ни одного портрета, а въ Парижѣ она собрала массу денегъ.— Тѣмъ не менѣе я собираюсь писать „à l'homme de toutes sciences et de tout savoir“ *): онъ добрый малый, и умный добрый малый.

Въ томъ же письмѣ остроумная корреспондентка оговаривается:

...Я сожалѣю, что не хорошо отозвалась о Пушкинѣ; въ сущности „Арзерумъ“ очень интересенъ.

Помѣщаемъ здѣсь письмо князя Вяземскаго изъ Петербурга, отъ 8-го Апрѣля 1836 года, невольному соучастнику въ изданіи «Современника» А. И. Тургеневу, сильно негодовавшему за напечатаніе писемъ, компрометирующихъ его въ глазахъ Парижскихъ друзей.

У тебя нѣсколько моихъ писемъ, сколько именно—не упомяну, кажется два черезъ Берлинъ на имя Киселева, одно на имя Римской красавицы, одно черезъ Лондонъ на имя Бенкгаузена, и все это съ книгами, съ нотами и даже цѣлковиками тебѣ на водку. Ни на одно еще нѣтъ отвѣта. Последнее твое привезено Валладомъ. Пушкинъ проситъ тебя, Христа и публики ради, быть отцемъ-кормилицею его „Современника“ и давать ему сосать твои новыя и млекоточивыя груди, которыя будутъ для него слаще птичьяго молока. Выставляй ихъ съ небрежностью и съ бл. . . . откровенностью, какъ хочешь. Здѣсь будетъ наше дѣло сжимать ихъ въ корсетъ, завѣшивать платочкомъ, а ты только тѣшь молодцовъ и вываливай прелести свои, какъ вываливаетъ ихъ гр. Л...ль на народное позорище. Пушкинъ не пишетъ къ тебѣ теперь, потому что умерла мать его, что все это время былъ онъ въ печальныхъ заботахъ, а сегодня отправился въ Псковскую деревню, гдѣ будетъ погребена его мать. Жаль, что не успѣю отправить къ тебѣ первую книжку „Современника“: она выйдетъ въ Субботу, а курьеръ ѣдетъ завтра, въ Четвергъ.

*) Человѣку всѣхъ наукъ и всякаго знанія.

Твои титьки тутъ сидятъ нѣсколько сжатая цензурнымъ корсетомъ, но все еще задора довольно. Разумѣется, пуще всего нужно литературности и невинной уличной и салонной жизни. Политива, то-есть газетная политива— не годится, или умѣренно, потому что дозволенъ только журналъ литературный; по историческую политику милости просимъ. Впрочемъ что тутъ толковать: давай что есть, а тамъ что къ чтенію пригодится, то прочтется, что къ напечатанію, то отпечатается. Поблагодари князя Мещерскаго за гостинецъ. Что за книги о Россіи du comte de Viel-Castel, Touvenel, Paul de Julvescourt, о коихъ онъ упоминаетъ? Не вѣрится мнѣ, чтобы онѣ были хороши. Лучшіе умы сбиваются съ пахвей, говоря о Россіи. Послушайте, что толкуютъ на Французскихъ и Англійскихъ трибунахъ. Уши вянутъ, а у говоруновъ растутъ. Нѣтъ ни одного положительнаго свѣдѣнія, а все на угадъ, все хотять судить по аналогіи. Пріятеля еще хуже враговъ. Берутся говорить о томъ, о чемъ говорить не слѣдуетъ. Мало ли дѣлается такого, чего объяснять не должно, потому что не можно?—9-го. Вчера вечеромъ, думалъ я поболтать съ тобою. Жена и Машенька поѣхали въ Аничковъ, а я остался дома одинъ, но не тутъ-то было: пріѣхалъ ко мнѣ мой Варшавскій Нессельроде, тамъ съ бала въ первомъ часу явился Жуковскій, и мы за сигарами и за пріятными разговорами просидѣли до двухъ часовъ. А теперь нужно скоро отослать письмо. Да впрочемъ и сказать-то много нечего. Василій Бутузовъ женится на старшей Рибопьеръ, свадьба будетъ въ Берлинѣ. Кажется, онъ тамъ и останется; вѣдь онъ въ отставкѣ. Пушкинъ-Брюсъ умеръ. Ему отрѣзали ногу, и онъ умеръ отъ истощенія. И Гритти опасно боленъ. Странная игра Провидѣнія. Дрались за золото, которое, можетъ быть, никому изъ нихъ не достанется. Но по крайней мѣрѣ они дали доказательство, что у насъ есть правосудіе, не взирающее на лица. Этотъ процессъ очень замѣчательнъ въ семъ отношеніи. Андрей Карамзинъ ѣдетъ весною въ чужіе края года на полтора или на два. Я очень этому радъ. Путешествіе теперь въ самую пору, какъ мѣра въ запасъ и предохранительная.

Субботы Жуковскаго процвѣтають, но давно безъ писемъ твоихъ. Одинъ Гоголь, котораго Жуковскій называетъ Гоголекъ (никто не равняется съ Жуковскимъ въ перековерканіи именъ: помнишь ли, когда онъ звалъ Дашкова Дашенькою?) оживляетъ ихъ своими рассказами. Въ послѣднюю Субботу читалъ онъ намъ повѣсть объ „Носѣ“, который пропалъ съ лица неожиданно у какого-то коллежскаго ассессора и очутился послѣ въ Казанскомъ соборѣ въ мундирѣ Министерства Просвѣщенія. Уморительно смѣшно. Много настоящаго humor. Коллежскій ассессоръ, встрѣтись съ носомъ своимъ, говоритъ ему: „Удивляюсь, что нахожу васъ здѣсь; вамъ, кажется, должно бы знать свое мѣсто“. И чтобы и мое письмо не пропало, а попало къ своему мѣсту, то-есть тебѣ подъ носъ, а я не остался бы съ носомъ, кончаю и отправляю

письмо въ министерство иностранное. Обнимаю тебя. Нашимъ дамамъ мое сердечное колѣнопреклоненіе.

Таже умная, милая и искренняя пріятельница Жуковскаго, Пушкина, князя Вяземскаго и Гоголя, очи которой князь Вяземскій въ 1828 году привѣтствовалъ стихотвореніемъ:

Южныя звѣзды! Черныя очи!
Неба чужаго огни—

интересовавшаяся въ Берлинѣ въ 1836 году появленіемъ «Современника», пишетъ изъ Парижа въ 1837 году по поводу кончины Пушкина:

Вы меня забываете, хотя вы должны были бы сообщить мнѣ еще нѣсколько подробностей о горестномъ событіи; правда, для друзей Пушкина и для друзей Россіи все уже высказано. Въ сегодняшней „Revue de Paris“ есть статья „Légendes des Poètes“. Въ ней припоминаются всѣ великіе гении: всѣ они несчастные, преслѣдуемые или обществомъ или правительствомъ, непризнанные, оклеветанные, умирающіе въ тюрьмахъ или въ нищетѣ. Въ статьѣ не упоминается Пушкинъ, а однако ничего нѣтъ болѣе раздирающе-поэтическаго какъ его жизнь и его смерть. Я также была здѣсь оскорблена, и глубоко оскорблена, какъ и вы, несправедливостію общества. А потому я о немъ не говорю. Я молчу съ тѣми, которые меня не понимаютъ; воспоминаніе о немъ сохраняется во мнѣ недостижимымъ и чистымъ. Много вещей имѣла бы я вамъ сообщить о Пушкинѣ, о людяхъ и дѣлахъ; но на словахъ, потому что я побаиваюсь письменныхъ сообщеній.

А. О. Смирнова занимала такое значительное мѣсто въ поэтическомъ кружкѣ Пушкина и въ другихъ блестящихъ Петербургскихъ сферахъ, что мы считаемъ почти за грѣхъ не подѣлиться съ читателями прелестнымъ посланіемъ къ ней князя Вяземскаго, много годовъ послѣ погрома, разсѣявшаго поэтическую общину. Письмо сохранилось въ бумагахъ Жуковскаго и вѣроятно писано къ Карамзинымъ.

1 Января 1845 года.

...Но пока живешь, все таки надобно заниматься пустяками. Вотъ въ чемъ дѣло. Смирнушка ужасно кашляетъ, и я на дняхъ писалъ ей:

Что дѣлаетъ вашъ скучный кашель?
Его я на душѣ ношу,
И какъ у сердца ни спрошу:
О чемъ грустишь ты? Не о Сашѣ-ль?
Оно въ отвѣтъ мнѣ: точно такъ!
И зарыдешь какъ дуракъ.

Эти стихи ее ужасно растрогали, и она просила продолженія. Но я отказался за. неспособностью и обѣщалъ ей просить Омира Андреевича докончить начатое мною.

А. И. Тургеневъ, сопровождавшій тѣло Пушкина, пишетъ Жуковскому:

Псковъ, 5-й часъ утра, 7 Февраля, Воскресенье. Мы предали землѣ земное вчера на разсвѣтѣ. Я провелъ около сутокъ въ Тригорскомъ, у вдовы Осиповой, гдѣ искренно оплакиваютъ поэта и человѣка въ Пушкинѣ. Милая дочь хозяйки показала мнѣ домикъ и садъ поэта; я говорилъ съ его дворею. Прасковья Александровна Осипова дала мнѣ записку о дѣлахъ его, о деревнѣ, и я передамъ тебѣ на словахъ все что отъ нея слышалъ о его имѣніи. Она все хорошо знаетъ, ибо покойникъ любилъ ее и довѣрялъ ей всѣ свои экономическія тайны. Подождите меня. Я уже отслушалъ здѣсь въ соборѣ заутреню, въ Благовѣщенскомъ новомъ соборѣ, отслушаю тамъ и обѣдню съ архіерейскимъ служеніемъ, осмотрю древности и развалины, кои, какъ весьма немногія въ Россіи, могутъ сказать о себѣ, благодаря Псковской осады: fuimus!... Отобѣдаю у губернатора и ввечеру пушусь въ Петербургъ (ошибкою чуть не сказалъ во свояси). Въ Понедѣльникъ буду пить чай въ семействѣ историка Псковской осады. Обнимаю Вадугурскаго и Вяземскаго, и проч. Везу вамъ сырой земли, сухихъ вѣтвей и только; нѣтъ—и нѣскольکو неизвѣстныхъ вамъ стиховъ Пушкина.

О кончѣ Пушкина намъ остается повторить слова А. О. Смирновой въ письмѣ 1836 года:

...„Для друзей Пушкина и для друзей Россіи все уже высказано“.

Мы можемъ сообщить личное и общее впечатлѣніе, что дуэль не была вызвана какими либо обстоятельствами, которыя можно было бы опредѣлить или оправдать. Грязное анонимное письмо не могло дать повода; плохіе каламбуры свояка еще менѣе. Не ревность мутила Пушкина, а до глубины души пораженное самолюбіе. Пушкинъ зналъ, что сплетни о немъ расходятся по Россіи, и онъ палъ для Россіи. Вотъ его слова, сказанныя имъ князю П. А. Вяземскому и переданныя послѣднимъ въ письмѣ къ великому князю Михаилу Павловичу, и именно въ той части письма, которая въ «Русскомъ Архивѣ» не напечатана.

На увѣщанія друзей Пушкинъ сказалъ: „Я принадлежу странѣ и хочу, чтобы имя мое было чисто вездѣ, гдѣ оно извѣстно“ (qu'il appartenait au pays et qu'il voulait que son nom fût intact partout où il était connu).

Напечатанное въ «Русскомъ Архивѣ» письмо князя П. А. Вяземскаго къ А. Я. Булгакову и другое письмо, приложенное въ копіи, сообщаютъ все, что извѣстно о причинахъ поединка, о самомъ поединкѣ, о мѣстѣ поединка и о ранѣ, прекратившей жизнь поэта.

Князь П. А. Вяземскій и всѣ друзья Пушкина не поняли и не могли себѣ объяснить поведенія Пушкина въ этомъ дѣлѣ. Если между молодымъ Геккереномъ и женою Пушкина не прерывались въ гостинныхъ дружескія отношенія, то это было въ силу общечеловѣческаго, неизмѣннаго приличія, и сношенія эти не могли возбудить не только ревности, но даже и неудовольствія со стороны Пушкина. Самъ Пушкинъ говоритъ, что съ полученія безыменнаго письма онъ не имѣлъ ни минуты спокойствія. Оно такъ и должно было быть.

Въ зиму 1836—1837 года мнѣ какъ-то разъ случилось пройти нѣсколько шаговъ по Невскому проспекту съ Н. Н. Пушкиной, сестрой ея Е. Н. Гончаровой и молодымъ Геккереномъ; въ эту самую минуту Пушкинъ промчался мимо насъ какъ вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчезъ въ толпѣ гуляющихъ. Выраженіе лица его было страшно. Для меня это былъ первый признакъ разразившейся драмы. Отношенія Пушкина къ женѣ были постоянно дружескія, довѣрчивыя до конца его жизни. Въ реляціяхъ отца моего къ друзьямъ видно, что это невозмутимое спокойствіе по отношенію къ женѣ и вселяло въ нее ту безопасность и беззаботность, съ которой она относилась къ молодому Геккерену послѣ его женитьбы.

25-го Ноября Пушкинъ и молодой Геккеренъ съ Натальей Николаевной и ея сестрою Екатериною (будущею женою Геккерена) провели у насъ вечеръ. И Геккеренъ и обѣ сестры были спокойны, веселы, принимая участіе въ общемъ разговорѣ. Въ этотъ самый день уже было отправлено Пушкинымъ барону Геккерену оскорбительное письмо. Смотри на жену, онъ сказалъ въ тотъ вечеръ: «Меня забавляетъ то, что этотъ господинъ забавляетъ мою жену, не зная, что его ожидаетъ дома. Впрочемъ, съ этимъ молодымъ человѣкомъ мои счеты сведены».

Несмотря на приготовленія къ поступленію въ университетъ и увѣщанія отца уходить спать, я проводилъ ночи, прислушиваясь къ неумолкаемымъ толкамъ и сообщеніямъ, возбужденнымъ кончиною Пушкина; и, несмотря на страстное желаніе уяснить себѣ причины и поводы къ дуэли, я рѣшительно ничего понять не могъ.

Много говорили, что въ дуэли Онѣгина и Ленскаго Пушкинъ пророчески описалъ свою собственную кончину. Пушкинъ художнически обрисовалъ это дѣло, какъ онъ понималъ его, сообразуясь съ своею собственною натурой. Для него минутное ощущеніе, пока оно не удо-

влетворено, становилось жизненною потребностью. Даже въ вымыслѣ Пушкинъ нашель излишнимъ обставить дѣло логически: Ленскій не могъ слышать нѣжностей, напечатанныхъ Онѣгинымъ его невѣстѣ, и вызвалъ друга безъ объясненій съ невѣстой. Здѣсь высказывается скептическій взглядъ Пушкина на женскую искренность. Чистосердечно сообщаемый женою разговоръ не заслуживалъ довѣрія въ его глазахъ и могъ только раздражить его самолюбіе. Въ послѣдніе два мѣсяца жизни Пушкинъ много говорилъ о своемъ дѣлѣ съ Геккереномъ, а отзывы его друзей и ихъ молчаніе — все должно было перевертывать въ немъ душу и убѣждать въ необходимости кровавой развязки.

Отецъ мой въ письмахъ своихъ употребляетъ неточное выраженіе, говоря, что Геккеренъ аффишировалъ страсть: Геккеренъ постоянно балагурилъ, и изъ этой роли не выходилъ до послѣдняго вечера въ жизни, проведеннаго съ Н. Н. Пушкиной. Единственное объясненіе раздраженію Пушкина слѣдуетъ видѣть не въ волокитствѣ молодого Геккерена, а въ уговариваніи старикомъ бросить мужа. Этотъ шагъ старика и былъ тѣмъ убійственнымъ оскорбленіемъ для самолюбія Пушкина, которое должно было быть смыто кровью. Дружескія отношенія жены поэта къ свояку и къ сестрѣ вѣроятно питали раздраженную мнительность Пушкина. *

Условія жизни не давали ему возможности и простора жить героемъ; за то, по свидѣтельству всѣхъ близкихъ Пушкина, онъ умеръ геройски, и своею смертію вселилъ въ друзей своихъ благоговѣніе къ его памяти.

Какъ трудно было друзьямъ Пушкина распознать тайныя пружины этого дѣла, видно изъ письма князя Вяземскаго къ А. Я. Булгакову отъ 10-го Февраля 1837. Дѣло не разъясняется и письмомъ отъ 8-го Апрѣля того же года, помѣщаемымъ нами въ концѣ статьи. «Адскія сѣти, адскія козни были устроены противъ Пушкина и жены его».

Впечатлѣнія этого нельзя не раздѣлять, видя происходившую драму; улики до сихъ поръ неизвѣстны, и даже нельзя опредѣлить перваго основанія для изобличенія «адскихъ козней».

Старикъ Геккеренъ былъ человекъ хитрый, расчетливый еще болѣе, чѣмъ развратный; молодой же Геккеренъ былъ человекъ практическій, дюжинный, добрый малый, балагуръ, вовсе не Ловеласъ, ни Донъ-Жуанъ, а пріѣхавшій въ Россію сдѣлать карьеру. Волокитство его не нарушало никакихъ великосвѣтскихъ Петербургскихъ приличій. Изъ писемъ Пушкина къ женѣ, напечатанныхъ въ «Вѣстникѣ Европы», можно даже заключить, что Пушкину претило волокитство слишкомъ ничтожнаго человека.

Дантесъ прїѣхалъ въ Петербургъ въ 1833 году и обратилъ на себя презрительное вниманіе Пушкина. Принятый въ кавалергардскій полкъ, онъ до появленія приказа разъѣжалъ на вечера въ черномъ фракѣ и сѣрыхъ рейтузахъ съ красной выпушкой, не желая на короткое время замѣнять изношенные штаны новыми.

Въ Запискахъ Пушкина, напечатанныхъ въ «Русскомъ Архивѣ», упоминается одновременно съ Дантесомъ маркизь Пина. Послѣдній въ гвардіи не служилъ, а поступилъ офицеромъ въ армейскій пѣхотный полкъ, сколько помнится въ гренадерскій полкъ короля Прусскаго, и сколько помнится тотъ полкъ, въ который поступилъ Пина былъ въ это время расположенъ въ Нарвѣ. Пина недолго оставался въ полку: онъ обвиненъ былъ въ кражѣ серебряныхъ ложекъ и долженъ былъ выйти въ отставку.

Послѣ смерти Пушкина я находился при гробѣ его почти постоянно, до выноса тѣла въ церковь, что въ зданіи конюшеннаго вѣдомства.

Выносъ тѣла былъ совершенъ ночью, въ присутствіи родныхъ Н. Н. Пушкиной, графа Г. А. Строганова и его жены, Жуковскаго, Тургенева, графа Вельегорскаго, Аркадія О. Россети, офицера генеральнаго штаба Скалона и семействъ Карамзиной и князя Вяземскаго. Не запомню, присутствовали ли старая фрейлина Загряжская и секунданта Пушкина, Данзасъ, лица мнѣ тогда незнакомыя. Въ этого списка пробрался по льду въ квартиру Пушкина отставной офицеръ путей сообщенія Веревкинъ, имѣвшій, по объясненію А. О. Россети, какія-то отношенія къ покойному. Никто изъ постороннихъ не допускался. На просьбы А. Н. Муравьева и старой пріятельницы покойника, графини Бобринской (жены графа Павла Бобринскаго), переданная мною графу Строганову, мнѣ поручено было сообщить имъ, что никакихъ исключеній не допускается. Начальникъ штаба корпуса жандармовъ Дубельтъ, въ сопровожденіи около двадцати штабъ и оберъ-офицеровъ, присутствовалъ при выносѣ. По сосѣднимъ дворамъ были разставлены пикеты: все выражало предвидѣнье, что въ мирной средѣ друзей покойнаго можетъ произойти смута.

Слабая сторона предупредительныхъ мѣръ заключается въ томъ, что въ случаѣ полного успѣха онѣ не оправдываются событіями. Развернутыя вооруженныя силы вовсе не соответствовали малочисленнымъ и крайне смирнымъ друзьямъ Пушкина, собравшимся на выносъ тѣла. Но дѣло въ томъ, что назначенный день и мѣсто выноса были измѣнены; списокъ лицъ, допущенныхъ къ присутствованію въ печальной процессіи, былъ крайне ограниченъ, и самыя энергическія

и вполне осозательныя мѣры были приняты для недопущенія лицъ неприглашенныхъ.

Затѣмъ остается загадочнымъ: имѣлись ли положительныя свѣдѣнія о задуманныхъ учяныхъ демонстраціяхъ противъ члена дипломатическаго корпуса? Съ нашей стороны, вполне понимая, что савонные друзья Пушкина были поражегы и оскорблены полицейскою демонстраціей, мы не можемъ поручаться и по соображенію тогдашнихъ обстоятельствъ, что болѣе равнодушное отношеніе полиціи къ числу лицъ, могущихъ явиться на выносъ тѣла, не повлекло бы за собою дикой Персидской демонстраціи. Впослѣдствіи мы не рѣдко встрѣчали людей скорбѣвшихъ и тосковавшихъ, что не дали, для чести Русскаго имени, разыгратъя ненависти къ надменнымъ иноземцамъ.

Въ университетѣ положительно не обнаружилось тогда ни малѣйшаго волненія, и если бы графъ Уваровъ не далъ накакунѣ знать, что онъ посѣтитъ аудиторіи въ самый день похоронъ, то едва ли пошло бы много студентовъ на Конюшенную площадь *). Графъ Уваровъ нашелъ въ университетѣ однихъ казенныхъ студентовъ. Вообще же впечатлѣніе кончялы Пушкина на студентовъ было незначительное. Однако тогда сдѣлана была погѣтка для распуценія слуха о произведенной студентами оскорбительной демонстраціи въ квартирѣ вдовы. Поводъ къ этой выдумкѣ былъ слѣдующій. Графъ П. П. Ш., весьма почтенный человекъ, со студенческой скамьи, пріѣхалъ поклониться праху покойнаго поэта, и спросилъ меня, не можетъ ли онъ видѣть портретъ Пушкина, писанный знаменитымъ Кипренскимъ. Я отворилъ дверь въ сосѣдную комнату и спросилъ почтенную даму, вошедшую въ сосѣдную гостинную: можно ли показать такому-то портретъ Пушкина? Пожилая дама выпорхнула въ другую дверь и съ ужасомъ объявила, что шайка студентовъ ворвалась въ квартиру для оскорбленія вдовы. Матушка моя, находившаяся у вдовы, вышла посмотреть въ чемъ дѣло, и ввела насъ обоихъ въ гостинную.

Несмотря на разъясненіе дѣла, престарѣлая дама, ожидавшая бунта, въ тотъ же вечеръ отправилась къ матери студента для предупрежденія относительно нахождения ея сына въ шайкѣ, произведшей утромъ демонстрацію.

*) И. И. Панаевъ и И. С. Тургеневъ говорятъ въ своихъ воспоминаніяхъ о впечатлѣніи, произведенномъ на студентовъ смертью Пушкина; вѣроятно они имѣли въ виду близкихъ товарищей, а не массу студентовъ.

Этот эпилогъ былъ разсказанъ въ 1837 году въ студенческой средѣ, какъ дополненіе и подтвержденіе воспоминаніямъ о кончинѣ Пушкина, передававшихся мною товарищамъ.

Извѣщенный передъ смертію, что Государь беретъ на себя заботы о семействѣ, Пушкинъ умеръ и долженъ былъ умереть въ спокойномъ состояніи духа. Великодушный, рыцарскій и крайне заботливый характеръ императора Николая Павловича былъ для поэта вѣрной порукой, что существованіе его семейства обезпечено. Болѣе долготѣнная жизнь и въ глазахъ самаго Пушкина несомнѣнно не представляла той же гарантіи. Литературная и журнальная дѣятельность Пушкина оплачивалась читающей публикой далеко не въ томъ размѣрѣ, который могъ бы обезпечить существованіе его семейства. Чувство зависимости отъ правительственныхъ субсидій при его характерѣ не могло не возбуждать въ немъ предвидѣнія, что и этотъ источникъ можетъ изсякнуть. Безотрадный итогъ былъ несомнѣнно ясно выведенъ въ его свѣтлой головѣ. Безвыходность его положенія въ 1836 году, именно въ осуществленіи его мысли о журнальномъ предпріятіи, должна была вызвать то тяжкое, тревожное состояніе духа, которое дало свободный просторъ жаждѣ мести, возбужденной анонимными письмами и, внѣ ихъ, сплетнями пріятельницъ, заботившихся о чести и семейномъ счастіи поэта.

*

Сообщаю съ полной откровенностью мои воспоминанія и впечатлѣнія, можетъ быть, иногда и ошибочныя; въ твердомъ убѣжденіи, что откровенность не можетъ вредить Пушкину и что приторныя и притворныя похвалы и умалчиванія недостойны памяти великаго человѣка. Заслуга Пушкина передъ Россією такъ велика, что никакія темныя стороны его жизни не могутъ омрачить его великаго и добраго имени. Пушкинъ самъ указалъ, за что мы должны ему ставить памятникъ:

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ
И милость къ падшимъ призывалъ...

Государственная, народная заслуга Пушкина несомнѣнна. «Прелестью живой стиховъ» онъ даровалъ живой Русской рѣчи права гражданскія не только во всемірномъ образованномъ обществѣ, но что еще важнѣе—онъ заставилъ офранцузившіеся и онѣмечившіеся культурные слои Русскаго общества уважать и любить живую Русскую рѣчь, живые Русскіе типы, обычаи и самую нашу природу.

Борьба противъ иноплеменнаго ига вызвала противъ почестей, оказываемыхъ его праху и памяти, взрывъ негодованія между тѣми Русскими людьми, которые съ невозмутимымъ, величавымъ спокойствіемъ отвергали достоинство Русскаго слова, возможность Русскаго искуства и даже право на Русскую самобытность.

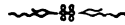
Чувство это и тогдашняя обстановка самаго вопроса о правѣ нашемъ на самобытность проглядываютъ въ письмѣ князя Вяземскаго къ А. Я. Булгакову отъ 8-го Апрѣля 1837 года:

Геккеренъ, т.-е. министръ, отправился отсюда, не получивъ прощальной аудіенціи, но получивъ табакерку, что значитъ на дипломатическомъ языкѣ: вотъ образъ, вотъ и двери! т.-е. не возвращайся. По крайней мѣрѣ такъ толкуютъ это дипломаты; ибо подарки дѣлаются обыкновенно, когда министръ дворомъ своимъ рѣшительно отозванъ, а Геккеренъ объявилъ, что ѣдетъ только въ отпускъ. Спасибо Русскому Царю, который не принялъ человѣка, какъ бы то ни было, но посягнувшаго на Русскую славу. Подъ конецъ одна гр. Н. осталась при немъ, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста, и грудиста, и брюшиста.

Женщина, упоминаемая въ письмѣ, одаренная характеромъ независимымъ, непреклонная въ своихъ убѣжденіяхъ, вѣрный и горячій другъ своихъ друзей, руководимая личными убѣжденіями и порывами сердца, самовластно предсѣдательствовала въ высшемъ словѣ Петербургскаго общества и была послѣдней, гордой, могущественной представительницей того интернаціональнаго ареопага, который свои засѣданія имѣлъ въ Сенжерменскомъ предмѣстьи Парижа, въ салонѣ княгини Меттернихъ въ Вѣнѣ и въ салонѣ графини Нессельродѣ въ домѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ въ Петербургѣ. Ненависть Пушкина къ этой послѣдней представительницѣ космополитнаго олигархическаго ареопага едва ли не превышала ненависть его къ Булгарину. Пушкинъ не пропускалъ случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умѣвшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ея, графа Гурьева, бывшаго министромъ финансовъ въ царствованіе императора Александра I-го.



А. С. ПУШКИНЪ И С. С. ХЛЮСТИНЪ.



За годъ до роковаго поединка съ Дантесомъ-Геккереномъ, Пушкинъ имѣлъ столкновеніе, которое едва не привело его тоже къ поединку. Этотъ разъ поводъ былъ литературный. Исторія относится къ началу 1836 года. Въ это время Пушкинъ уже получилъ высочайшее разрѣшеніе издать четыре книги *литературнаго журнала* подъ заглавіемъ «Современникъ», которымъ рассчитывалъ онъ поправить разстроенныя вполнѣ денежныя дѣла свои. Онъ занятъ былъ составленіемъ первой книги (она дозволена къ печати 31 Марта 1836). Лучшія силы тогдашней словесности, Жуковский, Гоголь, князь Вяземскій, князь Козловскій, А. И. Тургеневъ доставили ему свои произведенія; но не дремали и враги, которыхъ нажилъ онъ себѣ не въ высшемъ только обществѣ, но также и въ вѣдомствѣ цензурномъ, находившемся подъ управленіемъ графа Уварова, передъ тѣмъ жестоко оскорбленнаго извѣстною эпиграмою «Въ Академіи Наукъ» и помѣщеніемъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» великолѣпныхъ стиховъ «На выздоровленіе Лукулла». «Московскій Наблюдатель» былъ немедленно запрещенъ, и стѣсненія грозили только что нарождавшемуся «Современнику».

Сулить мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.

Въ это тревожное для Пушкина время явился къ нему неизвѣстный намъ писатель съ своимъ стихотворнымъ переводомъ Виландовой поэмы «Вастола». Пушкинъ былъ необыкновенно участливъ и сердоболень. Помогъ ли онъ переводчику «Вастолы» своими поправками или только имѣлъ слабость дать свое имя, мы не знаемъ; только въ самомъ началѣ 1836 года *) на заглавномъ листѣ плохой книженки усмотрѣны магическія слова: «издалъ А. Пушкинъ». Заправитель

*) Цензурное дозволеніе П. Гаевского 12 Марта 1835.

единственнаго тогда большаго журнала «Библіотеки для чтенія» Сенковскій, естественно опасавшійся отъ «Современника» убыли въ числѣ своихъ подписчиковъ, немедленно воспользовался неосторожностью поэта и въ первой же книгѣ «Библіотеки для Чтенія» на 1836 годъ помѣстилъ сначала такую замѣтку:

„Важное событіе! А. С. Пушкинъ издалъ новую поэму подъ заглавіемъ „Вастола или желанія сердца, Виланда“. Мы еще ея не читали и не могли достать; но, говорятъ, что стихъ ея удивителенъ. Кто не порадуется новой поэмѣ Пушкина? Истекшій годъ заключился общимъ восклицаніемъ: Пушкинъ воскресъ“.

Вслѣдъ за этими строками, въ „Литературной Лѣтописи“ журнала появил- ся разборъ „Вастола“, который мы приводимъ вполнѣ, какъ образецъ злостнаго умѣнья дразнить противника.

*«Вастола или Желанія». Повесть въ стихахъ, сочиненіе Виланда.
Изданъ А. Пушкинъ. СП.-бургъ, въ тип. Д. Витшиной Торговли.
1836 въ 8., стр. 96.*

Пѣвецъ Кавказскаго плѣнника сдѣлалъ въ новый годъ непостижимый подарокъ лучшей своей пріятельницѣ, доброй, честной Русской публикѣ. Та, которая любила его какъ своего первенца, любила такъ искренно, такъ благородно, такъ безкорыстно; та, для чьего сердца имя его было нераздѣльно съ драгоцѣннѣйшею вещію въ мірѣ, — славою своего отечества, та самая, въ возвратъ за всѣ свои нѣжныя чувства, заслуживающія всякаго уваженія, получила отъ него, при визитномъ билетѣ, „Вастолу“, съ двусмысленнымъ заглавіемъ. Первымъ ея движеніемъ было посмотрѣть въ календарь, не пришлось ли въ нынѣшнемъ году въ новый годъ первое Апрѣля. Нѣтъ, первое Апрѣля будетъ перваго Апрѣля, а теперь начало Января, время изданія дружескихъ чувствованій, время поклоновъ съ почтеніемъ и всякихъ маскарардовъ. Бѣдная Русская публика не знала что дѣлать, — гнѣваться ли за эту мистификацію, или приказать „кланяться и благодарить и въ другой разъ къ себѣ просить“.... Посланецъ отпущенъ былъ безъ отвѣта.

Для многихъ еще не рѣшенъ вопросъ о „Вастолѣ“. Каждый толкуетъ по своему слово „издалъ“, которое, какъ извѣстно, принимается въ Русскомъ языкѣ также въ значеніи — написалъ и напечаталъ. Одни утверждаютъ, что это дѣйствительно стихи А. С. Пушкина; другіе, что они не его, а онъ только ихъ издатель. Трудно повѣрить, чтобы Пушкинъ, вельможа Русской словесности, сдѣлался книгопродавцемъ и „издавалъ“ книжки для спекуляцій. Мы сами сначала позволили себя увѣрить, что Александръ Сергѣевичъ играетъ здѣсь только скромную роль издателя; но одинъ почтенный „читатель“ убѣдилъ насъ въ противномъ. Зашедши, въ первыхъ числахъ Января, въ книжный магазинъ С***, чтобъ купить себѣ „Вастолу“, мы застали тамъ одного депутата отъ публики, одного читателя, который пришелъ туда съ той же

цѣлю. Онъ держалъ въ одной рукѣ „Востолу“ и пробѣгалъ ее глазами по неразрѣзаннымъ листамъ, а въ другой, протянутой къ прикащику магазина, красную ассигнацію. Совѣстливый книгопродавецъ, прежде чѣмъ взять деньги, спрашивалъ читателя, знаетъ ли онъ, что такое покупаетъ. „Если вы хотите купить поэму Пушкина“, говорилъ благородный прикащикъ, котораго за это, въ нынѣшнемъ же году, надобно представить къ Монтіоновымъ преміямъ за добродѣтель, „то я долженъ предостеречь васъ, что вы ошибаетесь: это не Пушкина сочиненіе-съ!“ Читатель посмотрѣлъ на него съ изумленіемъ и вскричалъ:

— Какъ не Пушкина? Ба!.... будто-бы я Пушкина стиховъ не знаю!....

— Увѣряю васъ, что не Пушкина-съ.

— Подите, сударь! Да кто, кромѣ Пушкина, въ состояніи написать у насъ такіе стихи?

И читатель сталъ тутъ же читать намъ въ слухъ слѣдующіе стихи изъ „Востолы“, постепенно одушевляясь ихъ красотами.

„Мѣщанка мать его, вдова весьма честная,
Ужъ нѣсколько годовъ придевьемъ промышляя,
Кормила тѣмъ себя и милаго сына.
Ея рабочая, проворная рука
Не знала никогда покоя, и въ присядку
Трескучую свою вертѣла самопрядку;
Вертѣла у окна при солнечномъ лучѣ,
Вертѣла при свѣчѣ,
Вертѣла при лучинѣ,
Не мысля о кручинѣ;
Но слезно и за то всегда благодаря
Небеснаго Царя,
Когда на очажкѣ для варева какого
Горѣло у нея обѣденной порой
Немного хворосту сухаго,
Отъ коего потомъ всѣ угли кочергой
Скорѣй вгребала въ печь, чтобъ въ бѣдности за дѣломъ
Хоть было ей тепло въ пріютѣ устарѣломъ.
При тихой жизни, толь святой,
Какъ нынѣ рѣдкія на свѣтѣ
Живуть, оставшиися вдовой,
Имѣя легкій трудъ въ предметъ....
Одна гнала ее тоска,
Одна заботила кручина,
Что отъ Первончѣюшки, любезнаго сына,
Хоть онъ и дюжій былъ дѣтина,
Ни шерсти нѣтъ, ни молока.

— Кто у насъ въ состояніи, торжественно сказалъ читатель, произнесши послѣдніе стихи съ непритворнымъ энтузіазмомъ: кто у насъ въ состояніи такъ написать, кромѣ Пушкина?

Книгопродавецъ улыбался.

Читатель бросилъ съ гнѣвомъ ассигнацію на прилавокъ и, не дожидаясь сдачи, побѣжалъ изъ магазина. Я слышалъ еще, какъ онъ говорилъ у дверей: „Да я знаю навѣрное, что это Пушкина книга! Вотъ нашли, кого дурачить!“

Послѣ этого я не смѣлъ и сомнѣваться, чтобы „Востола“ не была дѣйствительно произведеніемъ А. С. Пушкина. Не вдаваясь въ объясненія съ книгопродавцами, я важно потребовалъ для себя одного экземпляра, заплатилъ деньги и ушелъ.

Я читалъ „Востолу“. Читалъ и вовсе не сомнѣваюсь, что это стихи Пушкина. Пушкинъ даритъ насъ всегда такими стихами, которымъ надобно удивляться, не въ томъ, такъ въ другомъ отношеніи.

Нѣкоторые однако намекають, будто А. С. Пушкинъ никогда не писалъ этихъ стиховъ, что „Востола“ переведена какимъ-то бѣднымъ литераторомъ, что Александръ Сергѣевичъ только далъ ему на прокатъ свое имя, для того чтобы лучше покупали книгу, и что онъ желалъ сдѣлать этимъ благотворительный поступокъ. Этого быть не можетъ! Мы безпредѣльно уважаемъ всякое благотворительное намѣреніе, но такой поступокъ противился бы всѣмъ нашимъ понятіямъ о благотворительности, и мы съ негодованіемъ отвергаемъ всѣ подобные намеки, какъ клевету завистниковъ великаго поэта. Пушкинъ не станетъ обманывать публики двусмысленностями, чтобы дѣлать кому добро. Онъ знаетъ, что долженъ публикѣ и себѣ. Если бъ въ словѣ „издалъ“ и не было двусмысленности, если бы оно и припято было здѣсь въ самомъ тѣсномъ его значеніи, онъ знаетъ, что человекъ, пользующійся литературною славою, отвѣчаетъ передъ публикою за примѣчательное достоинство книги, которую издаетъ подъ покровительствомъ своего имени, и что, въ подобномъ случаѣ, выставленное имя напечатлѣвается всею святостью торжественно даннаго въ томъ слова. Онъ охотно вынетъ изъ своего кармана тысячу рублей для бѣднаго, но обманывать не станетъ,—ни васъ, ни меня. Дать свое имя книгѣ, какъ вы говорите, „плохой“, изъ благотворительности?... Невозможно, невозможно! Не говорите мнѣ даже этого! Не повѣрю! Благотворительность предполагаетъ пожертвованіе труда или денегъ, чего бы ни было,—иначе она не благотворительность. Согласитесь, что позволить напечатать свое имя не стоитъ никакихъ хлопотъ. Александръ Сергѣевичъ, еслибъ пожелалъ быть благотворителемъ, написалъ бы самъ двѣ-три страницы стиховъ, и онѣ принесли бы болѣе выгоды бѣдному, которому бы онъ подарилъ ихъ, чѣмъ вся эта „Востола“. Люди добраго сердца оказываютъ благотворительность приношеніемъ ничетъ какого-нибудь дѣйствительнаго труда, а не бросая въ лице бѣдному одно свое имя для продажи, что равнялось бы презрѣнію къ бѣдному и презрѣнію къ публикѣ, къ вамъ, ко мнѣ, ко всякому. Нѣтъ, нѣтъ, клянусь вамъ, это подлинныя стихи Пушкина. И если бы они даже были не его, ему теперь не оставалось бы ничего болѣе какъ признать ихъ своими

и внести въ собраніе своихъ сочиненій. Между возможностью упрека въ томъ, что вы употребили уловку (рука дрожить, чертя эти слова) и чистосердечнымъ принятіемъ на свой счетъ стиховъ, которымъ дали свое имя для успѣшнѣйшей ихъ продажи, выборъ не можетъ быть сомнителенъ для благороднаго человѣка. Но этотъ выборъ не предстанетъ никогда Пушкину. „Востола“, мы увѣрены, дѣйствительно — его твореніе. Это его стихи. Удивительные стихи!

*

Эта ядовитая выходка достигла своей цѣли: она раздражила Пушкина и сдѣлалась предметомъ толковъ и пересудовъ. Въ числѣ свѣтскихъ пріятелей Пушкина жилъ тогда въ Петербургѣ богатый молодой человѣкъ Семенъ Семеновичъ Хлюстина (род. 1811 † 28 Марта 1844), родной племянникъ извѣстнаго Американца, Ѳ. И. Толстаго, получившій за границею отличное образованіе, ученикъ извѣстнаго педагога Эванса, участникъ Турецкой войны 1828—1829 гг., потомъ подобно И. И. Пущину служившій въ Москвѣ надворнымъ судьей *) и пользовавшійся виднымъ положеніемъ въ обществѣ. Съ Гончаровыми онъ былъ давно знакомъ по Калужской деревенской жизни. Изъ одного письма Пушкина къ его женѣ (№ 55) видно, что сія послѣдняя прочла Хлюстина въ супруги сестрѣ своей.

Раздосадованный Сенковскимъ Пушкинъ неосторожно поговорилъ съ Хлюстинымъ и 4 Февраля 1836 г. получилъ отъ него слѣдующее письмо:

Первое письмо С. С. Хлюстина къ А. С. Пушкину.

Monsieur.

J'ai répété, en forme de citation, des remarques de m-r Сеньковской dont le sens indiquait que vous aviez trompé le public. Au lieu de voir en cela, pour ce qui me regardait, une simple citation, vous avez trouvé lieu à me considérer comme l'écho de m-r Сеньковской; vous nous avez en quelque sorte confondus et vous avez cimenté notre alliance par les paroles suivantes: «Мнѣ всего досаднѣе, что эти люди повторяютъ нечѣпости свиней и мерзавцевъ каковы Сеньковской». J'étais personnifié dans «эти люди»: l'inflexion et la véhémence de votre ton n'admettaient aucun doute sur l'intention de vos paroles, quand même la logique en eût laissé la signification indécise. Mais la répétition des нечѣпости ne pouvait raisonnablement vous causer aucune impatience; c'est donc leur écho, que vous avez cru entendre

*) Поступленіе человѣка высоко-образованнаго и независимаго на такую должность считалось почти что гражданскимъ подвигомъ. Московскій генералъ-губернаторъ князь Д. В. Голицынъ говаривалъ: „Настоящими судьями у меня были только Пущинъ да Хлюстинъ“.

et trouver en moi. L'injure était assez prononcée: vous me faisiez prendre part aux нечѣности свиной и мерзавцевъ. Cependant, à ma honte ou à mon honneur, je n'ai point reconnu ou accepté l'injure et je me suis borné de vous répondre que, si vous vouliez absolument me faire prendre part aux expressions de «tromper le public», je les prenais entièrement sur mon compte, mais que je me refusais à l'association avec les свиной и мерзавцы. En consentant ainsi et malgré moi à vous dire que «vous trompiez le public» (littérairement, car c'était toujours de littérature dont il s'agissait), je vous faisais tout au plus une injure littéraire, par laquelle je répondais et je me donnais satisfaction sur une injure personnelle. J'espère que je me ménageais un rôle assez bénin et assez paisible; car, même à parité d'insultes, la riposte n'équivaut jamais à l'initiative: cette dernière seule constitue le délit de l'offense.

C'est pourtant vous encore, qui, après une semblable conduite de ma part, m'avez fait entendre des paroles qui annonçaient une rencontre fashionable: «c'est trop fort», «cela ne peut pas se passer ainsi», «nous verrons» etc etc. J'ai attendu jusqu'à ce moment le résultat de ces menaces. Mais ne recevant aucune nouvelle de vous, c'est maintenant à moi à vous demander raison:

- 1) De m'avoir fait prendre part aux нечѣности свиной и мерзавцевъ.
- 2) De m'avoir adressé, sans leur donner suite, des menaces équivalentes à des provocations en duel.
- 3) De n'avoir pas rempli à mon égard les devoirs commandés par la politesse en ne me saluant pas, lorsque je me suis retiré de chez vous.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très-humble et obéissant serviteur

S. Khlustine.

S. P. B.
Wladimirskaiä № 75.
4 février 1886.

Monsieur, monsieur Alexandre Pouchkine.

Переводъ. М. г. Я только приводилъ въ разговорѣ замѣчания г. Сеньковского, смыслъ которыхъ состоялъ въ томъ, что вы „обманули публику“. Въмѣсто того, чтобы видѣть въ этомъ съ моей стороны простое повтореніе или ссылку, вы нашли возможнымъ почестъ меня за отголосокъ г. Сеньковского; вы въ некоторомъ родѣ сдѣлали изъ насъ соединеніе, которое закрѣпили слѣдующими словами: „Мнѣ всего досаднѣе, что эти люди по-

вторяють нелѣпости свиней и мерзавцевъ, каковъ Сеньковскій“. Въ выраженіи: эти люди—разумѣлся я. Тонъ и горячность вашего голоса не допускали никакого сомнѣнія въ вашемъ намѣреніи, даже еслибы логика допускала неопредѣленность значенія. Но то что повторялись нелѣпости не могло, разумно говоря, васъ беспокоить; слѣдовательно вамъ показалось, что вы нашли во мнѣ и слышали ихъ отголосокъ. Оскорбленіе было довольно ясное: вы дѣлали меня участникомъ „нелѣпостей свиней и мерзавцевъ“. Впрочемъ, къ стыду моему или къ моей чести, я не призналъ или не принялъ оскорбленія и ограничился отвѣтомъ, что если вы непремѣнно хотите дать мнѣ участіе въ выраженіи: „обманывать публику“, то его я вполне принимаю на свой счетъ, но что я отказываюсь отъ приобщенія меня къ „свиньямъ и мерзавцамъ“. Соглашаясь такимъ образомъ, и противъ моей воли, сказать вамъ, что вы „обманываете публику“ (литературно, потому что все время шельзъ вопросъ о литературѣ), наибольшее, что я дѣлалъ—это только обиду литературную. Ею я отвѣчалъ и давалъ себѣ удовлетвореніе за обиду личную. Надѣюсь, что я предоставилъ себѣ роль достаточно добродушную и довольно миролюбивую, такъ какъ, даже при взаимности оскорбленій, отвѣтное никогда не равняется начальному, въ которомъ именно заключается сущность обиды. А между тѣмъ и послѣ этого вы все-таки обратились ко мнѣ съ словами, возвѣщавшими фешенабельную встрѣчу: „Это черезъ чуръ“, „это не можетъ такъ окончиться“, „мы увидимъ“ и т. д. Я ждалъ доселѣ исхода этихъ угрозъ. Но такъ какъ я не получалъ отъ васъ никакихъ извѣстій, то теперь мнѣ слѣдуетъ просить отъ васъ удовлетворенія:

1) въ томъ, что вы сдѣлали меня участникомъ въ нелѣпостяхъ свиней и мерзавцевъ.

2) въ томъ, что вы обратились ко мнѣ съ угрозами (равнозначущими вызову на дуэль), не давая имъ далѣе ходу.

3) въ неисполненіи относительно меня правилъ требуемыхъ вѣжливостью: вы не поклонились мнѣ, когда я уходилъ отъ васъ.

Имѣю честь быть, милостивый государь, вашимъ покорнѣйшимъ и послушнымъ слугою

С. Хлюстинъ.

С. П. Б. Владимирская, № 75,
4 Февраля 1836.

Отвѣтъ А. С. Пушкина С. С. Хлюстину.

Monsieur.

Permettez-moi de redresser quelques points où vous me paraissez dans l'erreur. Je ne me souviens pas de vous avoir entendu citer quelque chose de l'article en question. Ce qui m'a porté à m'expliquer, peut-être, avec trop de chaleur, c'est la remarque que vous m'avez faite de ce que j'avais eu tort la veille de prendre au coeur les paroles de Senkovsky.

Je vous ai répondu: „Я не сержусь на Сенковскаго; но мнѣ нельзя не досадовать, когда порядочные люди повторяютъ нелѣпости свиней и мерзавцевъ». Vous assimiler à des свиньи и мерзавцы est certes une absurdité, qui n'a pu ni m'entrer dans la tête, ni même m'échapper dans toute la pétulence d'une dispute.

A ma grande surprise, vous m'avez répliqué, que vous preniez entièrement pour votre compte l'article injurieux de S. et notamment l'expressson «обманывать публику».

J'étais d'autant moins préparé à une pareille assertion venant de votre part, *que ni la veille, ni à notre dernière entrevue, vous ne m'aviez absolument rien dit qui eût rapport à l'article du journal*. Je crus ne vous avoir pas compris et vous priais de vouloir bien vous expliquer, ce que vous fîtes dans les mêmes termes.

J'eus l'honneur alors de vous faire observer, que ce que vous veniez d'avancer devenait une toute autre question et je me tus. En vous quittant, je vous dis que je ne pouvais laisser cela ainsi. Cela peut être regardé comme une provocation, mais non comme une menace. Car enfin, je suis obligé de le répéter: je puis ne pas donner suite à des paroles d'un Senkovsky, mais je ne puis les mépriser dès qu'un homme comme vous les prende sur soi. En conséquence je chargeais m-r Sobolévsky de vous prier de ma part de vouloir bien vous rétracter purement et simplement, ou bien de m'accorder la réparation d'usage. La preuve combien ce dernier parti me répugnait, c'est que j'ai dit nommément à Sobolévsky, que je n'exigeai pas d'excuses. Je suis fâché que m-r Sobolévsky a mis dans tout cela sa négligence ordinaire.

Quant à l'impolitesse que j'ai eu de ne pas vous saluer, lorsque vous m'avez quitté, je vous prie de croire que c'était une distraction tout-à-fait involontaire et dont je vous demande excuse de tout mon coeur.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur

A. Pouchkine.

4 février.

Переводъ. М. г. Позвольте мнѣ возстановить нѣкоторые пункты, по которымъ, мнѣ кажется, вы ошибаетесь. Я не помню, чтобы вы приводили какую-либо ссылку изъ той статьи. Заставило же меня объясняться, можетъ-быть, съ излишнею горячностью, ваше замѣчаніе, что я напрасно наканунѣ принялъ къ сердцу слова Сеньковского. Я вамъ отвѣчалъ: „Я не сержусь на Сеньковского; но мнѣ нельзя не досадовать, когда порядочные люди повторяютъ нелѣпости свиней и мерзавцевъ“. Васъ отождествлять съ свиньями и мерзавцами—несомнѣнно нелѣпость, которая не могла ни придти мнѣ въ голову, ни даже сорваться съ языка моего при всемъ жару спора. Къ моему великому удивленію вы мнѣ возразили, что вы вполне принимаете за вашъ счетъ обидную статью С. и именно выраженіе „обманывать публику“. Я тѣмъ менѣе былъ подготовленъ къ такому заявленію, исходящему отъ васъ, что ни наканунѣ, ни при послѣднемъ нашемъ свиданіи вы ничего ровно не сказали мнѣ такого, что могло бы относиться къ статьѣ журнала. Мнѣ показалось, что я васъ не понялъ и просилъ васъ объяснить, что вы и сдѣлали въ тѣхъ же выраженіяхъ. Тогда я имѣлъ честь замѣтить вамъ, что то что вы высказали совершенно измѣняетъ вопросъ, и я замолчалъ. Разставаясь съ вами, я вамъ сказалъ, что я не могу оставить это безъ послѣдствій. Это можетъ быть сочтено вызовомъ, но не угрозою. Ибо наконецъ, я вынужденъ повторить: я могу пренебречь словами какого-нибудь Сеньковского, но я не могу презирать ихъ, какъ только человекъ подобный вамъ принимаетъ ихъ на себя. Вслѣдствіе сего я поручилъ г. Соболевскому просить васъ отъ моего имени просто на просто взять ваши слова назадъ, или же дать мнѣ обычное удовлетвореніе. Доказательствомъ тому, насколько мнѣ послѣднее рѣшеніе было противно, то, что я сказалъ именно Соболевскому, что я не требовалъ извиненій. Мнѣ прискорбно, что г. Соболевскій во всемъ этомъ поступилъ со свойственною ему небрежностью.

Что касается до того, что я невѣжливо не поклонился вамъ, когда вы отъ меня уходили, прошу васъ вѣрить, что то была разсѣянность совершенно невольная и въ которой я отъ всего сердца прошу васъ меня извинить. Имѣю честь быть вашимъ покорнѣйшимъ и послушнымъ слугою

А. Пушкинъ.

4 Февраля.

Второе письмо С. С. Хлюстина къ А. С. Пушкину.

Monsieur.

En réponse au message dont vous avez chargé m-r Sobolevsky et qui m'est parvenu presque en même temps que votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire part, qu'il m'est impossible de rétracter rien de ce que j'ai dit, croyant avoir suffisamment établi dans ma première lettre la raison qui m'a fait agir comme je l'ai fait. Pour la satisfaction d'usage dont vous me parlez, je suis à vos ordres.

Pour ce qui me regarde personnellement, en vous priant de vouloir bien vous rappeler des trois points insertionnés dans ma lettre, par lesquels je me considérais comme offensé par vous, j'ai l'honneur de vous répondre, que pour ce qui est du troisième, je me trouve entièrement satisfait.

Quant au premier, l'assurance que vous me donnez pour ce qu'il n'était point dans votre pensée de m'assimiler aux et... etc. ne me suffit pas. Tous mes souvenirs et tous mes raisonnements me font persister à trouver que vos paroles expriment une offense, quand même votre pensée y était étrangère. Sans cela, je ne saurais justifier à mes propres yeux la solidarité acceptée par moi de l'article injurieux: mouvement, qui de ma part n'a point été irréfléchi ou emporté, mais parfaitement calme. J'aurais donc à demander des excuses explicites sur des manières, qui m'ont justement fait soupçonner une injure dont, à mon grand plaisir, vous faites le désaveu quant au fond.

Je reconnais avec vous, monsieur, qu'il y a eu dans le second point erreur de ma part et que j'ai vu des menaces dans des expressions qui ne pouvaient être regardées que comme une provocation (texte de votre lettre): C'est ainsi que je les accepte; mais si ce n'était point le sens que vous vouliez leur donner, j'aurais aussi à attendre des excuses pour ce fâcheux mésentendu; car je crois qu'une provocation énoncée, si ce n'est intentionnée et laissée sans suites, équivaut à une injure.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

S. Khlustine.

4 février.

*

Переводъ. М. г., въ отвѣтъ на порученіе, данное вами г. Соболевскому и дошедшее до меня почти одновременно съ вашимъ письмомъ, я имѣю честь сообщить вамъ, что мнѣ невозможно взять назадъ что либо изъ того что я сказалъ, полагая, что я достаточно въ моемъ первомъ письмѣ объяснилъ причину, по которой я такъ дѣйствовалъ. По отношенію къ обычному удовлетворенію, о которомъ вы мнѣ говорите, я нахожусь въ вашемъ распоряженіи.

Что касается меня лично, прося васъ принять на себя трудъ припомнить включенные въ мое письмо три пункта, которыми я счелъ себя вами оскорбленнымъ, я имѣю честь отвѣчать вамъ, что по третьему я считаю себя вполне удовлетвореннымъ.

Относительно же перваго, увѣреній, вами даваемыхъ, что у васъ не было въ мысли приобщать меня къ св.... и проч., мнѣ недостаточно. Всѣ мои воспоминанія и всѣ мои разсужденія заставляютъ меня продолжать думать, что ваши слова выражаютъ обиду даже въ томъ случаѣ, если въ вашей мысли ея не было. Въ противномъ случаѣ я не могъ бы оправдать въ собственныхъ глазахъ взятую на себя солидарность съ оскорбительною статьею, побужденіе, которое съ моей стороны не было ни невольнымъ, ни пылкимъ, но совершенно спокойнымъ. Мнѣ предстоитъ, слѣдовательно, просить ясно выраженныхъ извиненій въ приемахъ, которые справедливо я долженъ былъ счесть за оскорбленіе, вами (къ великому моему удовольствію) въ сущности отрицаемое.

Я признаю, какъ и вы, милостивый государь, что во второмъ пунктѣ была съ моей стороны ошибка и что я счелъ за угрозы выраженія, которыя могли быть приняты только за „вызовъ“ (текстъ вашего письма). За таковой я ихъ принимаю. Но если смыслъ ихъ былъ не таковъ какой вамъ угодно придавать, то мнѣ также надо ожидать отъ васъ извиненій по поводу этого досаднаго недоразумѣнія, потому что я думаю, что вызовъ, хотя бы ненамѣренно заявленный и оставленный безъ послѣдствій, равнозначущъ оскорбленію. Имѣю честь быть, милостивый государь, вашимъ покорнѣйшимъ и послушнѣйшимъ слугою

С. Хлюстинъ.

4 Февраля.

Письма эти, прибавляющія новую черту къ біографіи Пушкина и къ разнообразной и поучительной исторіи его житейскихъ столкновеній, сохранились у дочери С. С. Хлюстиной, Вары Семеновны Анненковой и ею доставлены въ Русскій Архивъ.

*

•

Дѣло кончилось миромъ. Но Пушкинъ не забылъ „Вастолы“, и въ первой книжкѣ своего „Современника“ помѣстилъ слѣдующую замѣтку (стр. 303):

„Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ дано было почувствовать, что издатель Вастолы хотѣлъ присвоить себѣ чужое произведеніе, выставя свое имя на книгѣ, имъ изданной. Обвиненіе несправедливое: печатать чужія произведенія, съ согласія или по просьбѣ автора, до сихъ поръ никому не воспрещалось. Это называется *издавать*. Слово ясно. По крайней мѣрѣ до сихъ поръ другаго не придумано. Въ томъ же журналѣ сказано было, что „Вастола переведена какимъ-то бѣднымъ литераторомъ, что А. С. П. только далъ ему на прокатъ свое имя и что лучше бы сдѣлалъ, давъ ему изъ своего кармана тысячу рублей“. Переводчикъ Виландовой поэмы, гражданинъ и литераторъ заслуженный, почтенный отецъ семейства, не могъ ожидать нападенія столь жестокаго. Онъ человѣкъ небогатый, но честный и благородный. Онъ могъ поручить другому пріятный трудъ издать свою поэму, но конечно бы не принялъ милостыни, отъ кого бы то ни было. Послѣ таковаго объясненія, не можемъ рѣшиться здѣсь наименовать настоящаго переводчика. Жалѣемъ, что искреннее желаніе ему услужить могло подать поводъ къ намекамъ столь оскорбительнымъ“.

*

Подъ этою замѣткою не означено имени; но въ послѣдней книжкѣ „Современника“, вышедшей въ исходѣ Ноября, въ числѣ поправокъ сказано, что это произошло отъ того, что первая книжка печаталась въ отсутствіе издателя, и что замѣтка писана именно Пушкинымъ. Вѣроятно, переводчикъ „Вастолы“ пожелалъ такого заявленія. Кто онъ, намъ неизвѣстно. Вѣроятно Петербургскіе старожилы знаютъ. Просимъ о сообщеніи въ Русскій Архивъ. П. Б.



ПИСЬМО А. С. ПУШКИНА КЪ П. Я. ЧАДАЕВУ.

По поводу его „Философическихъ писемъ“.

Найдено въ бумагахъ В. А. Жуковскаго и сообщено сыномъ его, Павломъ Васильевичемъ. Письмо подлинное, своеручное. Изъ того, что оно нашлось въ бумагахъ Жуковскаго возникаетъ сомнѣніе, было ли оно послано по назначенію. Развѣ самъ Чадаевъ отдалъ его впоследствии Жуковскому? Но поводовъ къ тому трудно сыскать. Можетъ быть, письмо это было черновое и осталось въ Пушкинскихъ бумагахъ. Эти бумаги, какъ извѣстно, разбиралъ Жуковскій на спѣхъ (передъ самымъ отъѣздомъ въ большое путешествіе по Россіи съ Наслѣдникомъ-Цесаревичемъ); вѣроятно это письмо къ Чадаеву, по важности его содержанія, онъ отложилъ особо и не успѣлъ приобщить его къ Пушкинскимъ бумагамъ, впоследствии возвращеннымъ его вдовѣ. Остается еще предположеніе. Письмо писано 19 Октября 1836 г. На другой же день Пушкинъ могъ узнать о начавшемся противъ Чадаева дѣлѣ и о строгости, съ котораго оно поведено. Можетъ быть, Пушкину стало жаль своего стараго друга и, не желая, такъ сказать, добывать его доводами ума, знаній и твердаго убѣжденія, онъ не послалъ къ нему своего опроверженія. То, что на послѣдней страницѣ записана Пушкинымъ Шотландская пословица, видимо къ дѣлу не относящаяся, отчасти подтверждаетъ это предположеніе.

Вотъ еще преданіе, за достовѣрность котораго вполне не ручается сообщившій его намъ младшій современникъ Пушкина и Чадаева, жившій тогда въ Москвѣ и уже начинавшій принимать дѣятельное участіе въ умственной Русской жизни, Николай Николаевичъ Бобарыкинъ. По его словамъ, въ то время ходилъ слухъ, что Государь Николай Павловичъ, встрѣтивъ Пушкина, сказалъ ему: „А каковъ пріятель-то твой Чадаевъ? Чтѣ онъ надѣлалъ! Вѣдь просто съ ума спятилъ!“ Пушкинъ полусмѣясь отвѣчалъ, что дѣйствительно Чадаевъ зачитался иностранными книгами и въ головѣ у него что-то неладно. Въ Москвѣ говорили, что этотъ разговоръ съ Пушкинымъ подалъ Государю мысль подвергнуть сочинителя „Философическихъ писемъ“ медицинскому осмотру и надзору.

Читатели сами оцѣнятъ важное значеніе нижеслѣдующей новой страницы великаго писателя, которая надолго останется убѣдительною апологіей древней Руси и основныхъ началъ нашей жизни отъ навѣта недоброхотовъ. П. Б.

19 octobre (1836).

Je vous remercie de la brochure que vous m'avez envoyée. J'ai été charmé de la relire, quoique très-étonné de la voir traduite et imprimée. Je suis content de la traduction: elle a conservé de l'énergie et du laisser-aller de l'original. Quant aux idées, vous savez que je suis loin d'être tout-à-fait de votre avis. Il n'y a pas de doute que le schisme nous a séparé du reste de l'Europe et que nous n'avons pas participé à aucun des grands évènements qui l'ont remuée; mais nous avons eu notre mission à nous. C'est la Russie, c'est son immense étendue qui a absorbé la conquête des Mogoles. Les Tartares n'ont pas osé franchir nos frontières occidentales et nous laisser à dos. Ils se sont retirés vers leurs déserts, et la civilisation chrétienne a été sauvée. Pour cette fin, nous avons dû avoir une existence tout-à-fait à part, qui, en nous laissant chrétiens, nous laissait cependant tout-à-fait étrangers au monde chrétien, en sorte que notre martyre ne donnait aucune distraction à l'énergie développement de l'Europe catholique.

Vous dites que la source où nous sommes allés puiser le christianisme était impure, que Byzance était méprisable et méprisée etc. Hé, mon ami! Jésus Christ lui-même n'était-il pas né Juif et Jérusalem n'était-elle pas la fable des nations? L'Évangile en est-il moins admirable? Nous avons pris de Grecs l'Évangile et les traditions, et non l'esprit de puérilité et de controverse. Les moeurs de Byzance n'ont jamais été celles de Kiov. Le clergé Russe, jusqu'à Théophane, a été respectable; il ne s'est jamais souillé des infamies du papisme et certes n'aurait jamais provoqué la réformation au moment où l'humanité avait le plus besoin d'unité. Je conviens que notre clergé actuel est en retard. En voulez-vous savoir la raison? C'est qu'il est barbu, voilà tout. Il n'est pas de bonne compagnie.

Quant à notre nullité historique, décidément je ne puis être de votre avis. Les guerres d'Oleg et de Sviatoslav, et même les guerres d'apanage n'est-ce pas cette vie d'effervescence aventureuse et d'activité âpre et sans but qui caractérise la jeunesse de tous les peuples?

L'invasion des Tartars est un triste et grand tableau. Le réveil de la Russie, le développement de sa puissance, sa marche vers l'unité (unité russe, bien entendu), les deux Ivan, le drame sublime commencé à Ouglitch et terminé au monastère d'Ipatief—quoi? Tout cela ne serait pas de l'histoire, mais un rêve pâle et à demi-oublié? Et Pierre-le-Grand, qui à lui seul est une histoire universelle? Et Catherine II, qui a placé la Russie sur le seuil de l'Europe? Et Alexandre, qui vous a mené à Paris? Et (la main sur le cœur), ne trouvez-vous pas quelque chose d'imposant dans la situation actuelle de la Russie, quelque chose qui frappera le futur historien? Croyez vous qu'il nous mettra hors de l'Europe?

Quoique personnellement attaché de cœur à l'E., je suis loin d'admirer tout ce que je vois autour de moi. Comme homme de lettres, je suis aigri; comme homme à préjugés, je suis froissé. Mais je vous jure sur mon honneur que pour rien au monde je n'aurais voulu changer de patrie, ni avoir d'autre histoire que celle de nos ancêtres, telle que Dieu nous l'a donnée.

Voici une bien longue lettre. Après vous avoir contredit, il faut bien que je vous dise que beaucoup de choses dans votre épître sont profondément vraies. Il faut bien avouer que notre existence sociale est une triste chose, que cette absence d'opinion publique, cette indifférence pour tout ce qui est devoir, justice et vérité, ce mépris cynique pour la pensée et la dignité de l'homme, sont une chose vraiment désolante. Vous avez bien fait de le dire tout haut; mais je crains que vos opinions historiques ne vous fassent du tort... Enfin, je suis fâché de ne pas m'être trouvé près de vous lorsque vous avez livré votre manuscrit aux journalistes. Je ne vais nulle part et ne puis vous dire si l'article fait effet. J'espère qu'on ne le fera pas mousser.

Avez-vous lu le 3-me № du Современникъ? L'article Voltaire et John Tenner sont de moi. Козловскій serait ma providence, s'il voulait une bonne fois devenir homme de lettre. Adieu, mon ami. Si vous voyez. . . . *), dites leur bien des choses. Que disent-ils de vos lettres, eux qui sont si médiocrement chrétiens?

На послѣдней, четвертой страницѣ рукою Пушкина написано:

„Воронъ ворону глаза не выклюеть—Шотландская пословица, приведенная В. Ск. въ Woodstock“.

*) Два собственныхъ имени густо зачерянуты, такъ что нельзя ихъ прочесть. Зачерянулъ, вѣроятно, Жуковскій. П. Б.

Переводъ. Благодарю васъ за брошюру, которую вы мнѣ прислали. Мнѣ было пріятно перечитать ее, хотя я удивился, что она переведена и напечатана. Я доволенъ переводомъ: въ немъ сохранилась и энергія, и непринужденность подлинника *). Что касается мыслей, вы знаете, что я далеко отъ полнаго согласія съ вашимъ мнѣніемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что «схизма» насъ отдѣлила отъ остальной Европы и что мы не участвовали ни въ одномъ изъ великихъ событій, которыя ее волновали. Но у насъ было наше собственное призваніе. Россія, ея громадныя пространства поглотили Монгольское завоеваніе. Татары не посмѣли перейти наши западныя границы и оставить насъ въ тылу. Они удалились въ свои пустыни, и христіанское просвѣщеніе было спасено. Для этого намъ пришлось жить совершенно особою жизнью, которая оставила насъ христіанами, и между тѣмъ совершенно отчудила насъ отъ христіанскаго міра, такъ что, благодаря нашему мученичеству, католическая Европа безъ помѣхи могла энергически развиваться.

Вы говорите, что мы черпали христіанство изъ нечистаго источника, что Византія была достойна презрѣнія и презираема, и т. п. Но, другъ мой, развѣ самъ Христосъ не родился Евреемъ, и Іерусалимъ развѣ не былъ притчею во языцѣхъ? Развѣ Евангеліе отъ этого менѣе дивно? Мы приняли отъ Грековъ Евангеліе и преданія, но не приняли отъ нихъ духа ребяческой мелочности и преній. Нравы Византіи никакъ не были нравами Кіева. Русское духовенство до Теофана было достойно уваженія: оно никогда не оскверняло себя мерзостями папства, и конечно не вызвало бы реформаціи въ минуту, когда человѣчество нуждалось больше всего въ единствѣ. Я соглашаюсь, что наше нынѣшнее духовенство отстало. Но хотите знать причину? Оно носитъ бороду, вотъ и все. Оно не принадлежитъ къ хорошему обществу.

*) Пушкинъ, когда писалъ это, не имѣлъ въ рукахъ Французскаго подлинника „Философическихъ писемъ;“ иначе онъ не похвалилъ бы перевода, который очень произволенъ. Кромѣ пропусковъ, смягченій и искаженій ради цензуры, есть опущенія безъ причинныя и неточности, обнаруживающія плохое пониманіе подлинника. Слова *trouble dans les idées* переведены „возмущеніемъ въ мысляхъ“; слова *chez nous* опускаются тамъ, гдѣ въ нихъ вся суть дѣла; *causer la peine* „возбудить страданія“. Слогъ перевода тяжелый, семинарскій. Слово *zèle* передается „ревнительностью“, *dissiper en rosée*—„преобратиться въ росу“. Выраженіе *à la face du monde* непонято и переведено словами „на землѣ“ и пр. пр.

Въ „Телескопѣ“ напечатано только одно первое письмо и, по преданію, заготовлено къ печати второе. Всѣхъ писемъ четыре (четвертое объ архитектурѣ); но къ намъ относятся только первыя два. Обращены они къ пріятельницѣ Чадаева, Екатерины Дмитріевны Пановой, урожденной Улыбышевой (братъ которой извѣстенъ своими Французскими сочиненіями объ исторіи музыки). Чадаевъ охотно давалъ съ нихъ копии. Напечатаны они уже по его кончинѣ Іезуитомъ Гагаринымъ въ 1862 году, въ брошюрѣ: *Œuvres choisies de Pierre Tchadaieff*. П. В.

Что же касается нашего историческаго ничтожества, я положительно не могу съ вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удѣльные войны, вѣдь это таже жизнь кипучей отваги и безцѣльной и недозрѣлой дѣятельности, которая характеризуетъ молодость всѣхъ народовъ. Вторженіе Татаръ есть печальное и великое зрѣлище. Пробужденіе Россіи, развитіе ея могущества, ходъ къ единству (къ Русскому, конечно, единству), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся въ Угличѣ и окончившаяся въ Ипатіевскомъ монастырѣ, какъ, неужели это не исторія, а только блѣдный и полузабытый сонъ? А Петръ Великій, который одинъ—цѣлая всемірная исторія? А Екатерина II, помѣстившая Россію на порогъ Европы? А Александръ, который привелъ васъ въ Парижъ, и (положа руку на сердце) развѣ вы не находите чего-то величественнаго въ настоящемъ положеніи Россіи, чего-то такого, что должно поразить будущаго историка? Думаете ли, что онъ поставитъ насъ внѣ Европы?

Хотя я лично сердечно привязанъ къ Императору, но я далеко не всѣмъ восторгаюсь что вижу вокругъ себя; какъ писатель я раздраженъ, какъ человѣкъ съ предрасудками я оскорбленъ. Но клянусь вамъ честью, что ни за что на свѣтѣ я не захотѣлъ бы перемѣнить отечество, ни имѣть другой исторіи, какъ исторію нашихъ предковъ, такую какъ намъ Богъ ее послалъ.

Вотъ предлинное письмо. Послѣ столькихъ возраженій я долженъ вамъ сказать, что въ вашемъ посланіи есть много вещей глубокой правды. Нужно признаться, что наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствіе общественнаго мнѣнія, это равнодушіе ко всякому долгу, къ справедливости и правдѣ, это циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому достоинству дѣйствительно приводятъ въ отчаяніе. Вы хорошо сдѣлали, что громко это высказали. Но я боюсь, что мнѣнія ваши объ исторіи вамъ повредятъ. Наконецъ, я сожалѣю, что не былъ при васъ, когда вы отдавали вашу рукопись журналистамъ. Я нигдѣ не бываю и не могу сказать вамъ, производятъ ли ваша статья впечатлѣніе. Надѣюсь, что изъ-за нея не выйдетъ шуму.

Читали ли вы 3-й номеръ Современника? Статья о Вольтерѣ и Джонъ-Теннеръ мои. Козловскій былъ бы для меня провидѣніемъ, если бъ онъ захотѣлъ сдѣлаться разъ навсегда писателемъ. Прощайте, другъ мой. Если вы увидите N N, поклонитесь имъ отъ меня. Что говорятъ они, столь плохіе христіане, о вашемъ письмѣ?

Опасенія Пушьяна оправдались. Ф. Ф. Вигель (тогда директоръ департаментъ иностранныхъ исповѣданій), прочитавъ статью Чадаева, немедленно написалъ о ней митрополиту Серафиму, тотъ оберъ-прокурору Св. Синода Протасову, зтотъ графу Бенкендорфу, и сокрушительная машина тотчасъ пошла въ ходъ.

Сообщаемъ вышески изъ возникшаго по этому поводу дѣла. Указаніемъ на нихъ мы обязаны директору Архива Министерства Народнаго Просвѣщенія Н. П. Барсукову, а дозволеніемъ ими воспользоваться—Э. Е. Фонъ-Врадле. П. Б.

Всеподданнѣйшая докладная записка министра народнаго просвѣщенія Уварова, отъ 20 Октября 1836 года, о статьѣ „Философическія письма“, въ журналѣ „Телескопъ“.

Усмотрѣвъ въ 15 № журнала «Телескопъ» статью *Философическія письма*, которая дышетъ нелѣпою ненавистію къ Отечеству и наполнена ложными и оскорбительными понятіями какъ на счетъ прошедшаго, такъ и на счетъ настоящаго и будущаго существованія государства, я предложилъ сіе обстоятельство на разсужденіе главнаго управленія цензуры.

Управленіе признало, что вся статья равно предосудительна въ религіозномъ, какъ и въ политическомъ отношеніи, что издатель журнала нарушилъ данную подписку объ общей съ цензурою обязанности пещись о духѣ и направленіи періодическихъ изданій; также, что, не взирая на смыслъ цензурнаго устава и непрестанное взыскательное наблюденіе правительства, цензоръ поступилъ въ семъ случаѣ если не злоумышленно, то по крайней мѣрѣ съ непростительнымъ небреженіемъ къ должности и легкомысліемъ.

Вслѣдствіе сего главное управленіе цензуры предоставило мнѣ довести о семъ до свѣдѣнія Вашего Императорскаго Величества и испросить Высочайшаго разрѣшенія на прекращеніе изданія журнала «Телескопъ» съ 1-го Января наступающаго года и на немедленное удаленіе отъ должности цензора Болдырева, пропустившаго оную статью.

Имѣя счастье испрашивать повелѣнія Вашего Величества по сему предмету, всеподданнѣйше представляю № 15 «Телескопа».

Сергій Уваровъ.

№ 151.

20 Октября 1836.

На этомъ докладѣ рукою Государя написано, что, прочитавъ статью, онъ находитъ содержаніе оной смѣсю дерзостной безсмыслицы достойной умалишеннаго; что по его мнѣнію не извинительны ни редакторъ журнала, ни цензоръ. Журналъ запретить, обоихъ виновныхъ отрѣшнить отъ должности и вытребовать сюда къ отвѣту.

Изъ письма графа Бенкендорфа къ Уварову, отъ 4 Декабря 1836 года.

Государь Императоръ, разсмотрѣвъ представленный мною Его Величеству всеподданнѣйшій докладъ комиссіи, учрежденной для разсмотрѣнія дѣла по статьѣ, помѣщенной въ № 15 журнала «Телескопъ», высочайше повелѣть соизволилъ за сочинителемъ сей статьи Чадаевымъ имѣть медико-полицейскій надзоръ; Надеждина выслать на жительство въ Усть-Сысольскъ подъ присмотръ полиціи, а Болдырева отставить за нерадѣніе отъ службы. Графу же Строганову велѣть на его строгой отвѣтственности избрать надежнаго цензора. Въмѣстѣ съ симъ Его Величество высочайше соизволилъ утвердить заключеніе комиссіи, чтобы Московскому военному генералъ-губернатору потребовать отъ содержателя типографіи Селивановскаго объясненіе, почему онъ выпустилъ въ свѣтъ и разослалъ 15 № «Телескопа» до получения билета изъ цензурнаго комитета; и буде не представить достаточнаго оправданія, предоставить генералъ-губернатору поступить съ содержателемъ типографіи на основаніи Свода Законовъ Устава Благочинія.

*

Въ другомъ письмѣ, отъ 30 Декабря 1836 года, графъ Бенкендорфъ сообщаетъ Уварову, что онъ «получилъ отзывъ отъ князя Дмитрія Владимировича, въ коемъ онъ не считаетъ Селивановскаго виновнымъ въ отпускъ № 15 «Телескопа» по одной дозволильной запискѣ цензора, такъ какъ сіе обыкновенно принято для выигрыпіа времени содержателями типографій; Селивановскій же, по отзыву Московскаго оберъ-полицеймейстера, «извѣстенъ до сихъ поръ въ Москвѣ за человека весьма хорошей нравственности».

*

Извлечено изъ дѣлъ Архива Министерства Народнаго Просвѣщенія, отд. цензурный, № 147,934 (91) 1836 года.

*

Запрещеніе „Телескопа“ было важнымъ событіемъ. Съ тѣхъ поръ усилились и двадцать почти лѣтъ сряду продолжались всевозможныя стѣснительныя мѣры противъ печати, ознаменованныя гибельными послѣдствіями: къ концу царствованія Николая Павловича печатное слово наше изогалось и развратилось до чрезвычайности. Какъ въ нашей исторіи самозванство и смутное время являются прямымъ слѣдствіемъ Іоанна Грознаго, такъ точно броженіе Русской печати, до сихъ поръ не прекратившееся, произошло отъ страшныхъ насилій, которымъ она подвергалась при Николаѣ. Правые и виноватые были преслѣдуемы безъ разбору, и первые еще жесточе, по неумѣлости прибѣгать къ изворотамъ и уверткамъ. Первоначальнымъ виновникомъ выходитъ Чадаевъ, имѣвшій несомнѣнное значеніе будильника и шевелителя нашей умственной лѣности, но въ собственной производительности крайне скудный и односторонній.

Я зналъ Чадаева лично въ послѣдніе три года его жизни. Онъ былъ человекъ многоначитанный, мягкосердечный, откровенно общительный, и въ тоже время необычайно суетный. *Ungeux à force de vanité* (самодоволенъ въ суетности), говаривалъ про него тотъ же Пушкинъ, любившій его до конца, но въ зрѣлыхъ лѣтахъ гораздо менѣе уважавшій, нежели по выходѣ своемъ изъ Лицея. Можно навѣрное сказать, что по возвращеніи Пушкина изъ ссылки Чадаевъ просто надоѣдалъ ему своими писаніями, въ которыхъ такъ много непереваренного чужаго добра, и что ни слово, то театральная поза. Смѣшно было слышать, какъ этотъ старикъ неустанно твердилъ о своей исторіи съ „Философическими письмами“. Еще за нѣсколько дней до кончины, поглаживая свой почти совершенно голый черепъ, сказалъ онъ мнѣ чуть ли не въ сотый разъ, что по изслѣдованію докторовъ и френологовъ голова у него устроена такъ, что поврежденіе ума невозможно. Давыдовъ изобразилъ его въ своей „Современной пѣснѣ“; но только выраженіе *маленькій аббатикъ* не вѣрно: скорѣе бы сказать *худенькій*. Чадаевъ былъ сухощавъ и довольно высокаго роста. Всегда щегольски одѣтый, вѣчно охорашивался онъ и былъ рабомъ всевозможныхъ свѣтскихъ приличій. Это былъ настоящій представитель Александровскаго времени, когда преобладали съ одной стороны сантиментальныя Маниловы, а съ другой люди изысканной рѣчи и напускной ходульности. Къ послѣднимъ вполнѣ принадлежалъ Чадаевъ.

Въ сущности Чадаевъ могъ быть доволенъ громкою исторіею „Телескопа“. Произведеніе его появилось въ журналѣ съ предисловіемъ издателя, усладительно щекотавшимъ его самолюбіе:

„Письма эти писаны однимъ изъ нашихъ соотечественниковъ. Рядъ ихъ составляетъ цѣлое, проникнутое однимъ духомъ, развивающее одну главную мысль. Возвышенность предмета, глубина и обширность взглядовъ, строгая послѣдовательность выводовъ и энергическая искренность выраженія даютъ

имъ особенное право на вниманіе мыслящихъ читателей. Въ подлинникѣ они писаны на Французскомъ языкѣ. Предлагаемый переводъ не имѣетъ всѣхъ достоинствъ оригинала относительно наружной отдѣлки. Мы съ удовольствіемъ извѣщаемъ читателей, что имѣемъ дозволеніе украсить нашъ журналъ и другими изъ этого ряда писемъ. *Изд.*“

Сердобольная Москва тотчасъ сдѣлала Чадаева своимъ героемъ. Такъ какъ Чадаевъ объявленъ сумасшедшимъ и былъ подъ нѣкотораго рода домашнимъ задержаніемъ, то посѣщать его считалось какъ бы обязанностью. Чуть ли не съ того же времени начались эти странствования по Понедѣльникамъ въ отдаленную Басманную, въ тогдашній домъ Е. Г. Левашовой (потомъ Шульца, нынѣ Прохорова), гдѣ въ небольшомъ флигелѣ проживалъ опальный философъ. Даже И. И. Дмитріевъ увлекся общимъ настроеніемъ и, при всей своей важности, навѣстилъ его. Позднѣ Чадаевъ заказалъ фотографію своего кабинета съ изображеніемъ самого себя, охотно раздавалъ ее и любилъ показывать на стѣнѣ надъ диваномъ пятно, оставшееся будто отъ головы Пушкина, тогда какъ намъ теперь извѣстно, что, въ немногіе пріѣзды свои въ Москву, Пушкинъ навѣщалъ его весьма не часто. Любопытно было бы сыскать донесенія извѣстнаго доктора Гульковского, который въ теченіе нѣкотораго времени обязанъ былъ свидѣтельствовать умственное здравіе отшельника на Басманной.

Въ Петербургъ, какъ приказано было Государемъ, Чадаева, кажется, не возилъ, и съ Пушкинымъ, вскорѣ погибшимъ, онъ не видался послѣ своей исторіи.

*

Теперь, по прошествіи почти полувѣка, должно къ прискорбію сказать, что Николай Павловичъ имѣлъ нравственное право опалиться гнѣвомъ на Чадаева, который потомъ и самъ сознавалъ, что съ нимъ поступили снисходительно (*Oeuvres choisies de P. Tchadaieff*, стр. 126, въ статьѣ *Apologie d'un fou*). Видимъ тутъ заступничество стариннаго его пріятеля и товарища по гвардейской службѣ, графа Бенкендорфа. „Философическія письма“ содержатъ въ себѣ все что папство и слѣпое Каинское братоненавидѣніе, подмѣченное еще Екатериною Великою, могли придумать противъ Россіи и Русской жизни. Ни одинъ сынъ Русской земли не превзошелъ его въ гласномъ самооплеваніи и отступничествѣ. Чадаевъ идетъ много дальше Радищева: у того все-таки слышится неподдѣльная любовь къ простонародью, и злится онъ только на правительство и власть имущихъ. Чадаевъ же обнаруживаетъ полное „своей землѣ несвоеземство“. Ему противно не только наше вѣроученіе, но и самыя внѣшнія лицевыя очертанія Русскихъ людей. Нынѣ дознано, что все это онъ позаимствовалъ отъ великаго ненавистника Россіи, ея облагодѣтельство-

важнаго, Сардинскаго графа Жозефа де Местра. Любопытные могут прочесть въ известной книгѣ его „О Папѣ“ (Du Pape, Лионское изданіе 1836 г., стр. 205, 208 и др. втораго тома) тѣ самыя мѣста, которыя надѣлали столько тревоги и бѣдъ въ несчастной нашей словесности.

Грустно подумать, какъ много тутъ было напускнаго, чопорно-ходульнаго, и какое съ обѣихъ сторонъ господствовало донъ-кишотство. А еще Чадаевъ несомнѣнно былъ однимъ изъ лучшихъ и благороднѣйшихъ Русскихъ людей!

Издатель „Телескопа“ и цензоръ потерпѣли несравненно больше элегантнаго отставнаго гвардейца. Типографщикъ Селивановскій спасенъ былъ заступничествомъ тогдашняго великодушнаго начальника Москвы. Невредимъ остался только переводчикъ, незадолго передъ тѣмъ принимавшій, также невредимо для себя, участіе въ исторіи, за которую Герценъ заплатилъ Вятскою ссылкой. Жизнь въ глухомъ городѣ Вологодской губерніи разрушительно подѣйствовала на здоровье Надеждина, а бѣдный семейный старикъ Болдыревъ совсѣмъ разоренъ и обездоленъ.

Профессоръ Ѳ. И. Буслаевъ, бывшій въ то время студентомъ словеснаго факультета и входившій въ домъ къ Болдыреву, уполномочилъ насъ передать въ печать слѣдующее обстоятельство. Болдыревъ въ званіи ректора жилъ на казенной квартирѣ въ Университетѣ въ одномъ домѣ съ Надеждинымъ (у котораго помѣщался и Бѣлинскій). Будучи человѣкомъ уже довольно преклонныхъ лѣтъ, Болдыревъ могъ работать только по утрамъ, и вечера свои обыкновенно проводилъ за копѣчной игрою въ карты. Надеждинъ приступалъ къ нему подписать разрѣшеніе корректурныхъ листовъ XV книги „Телескопа“. Болдыреву все было недосужно и нездоровилось. Торопя старика, Надеждинъ уговорилъ его не самому читать „Философическія письма“, а прослушать ихъ. Цензурное чтеніе происходило между роберами и во время самой игры, и Болдыревъ подписалъ свое дозволеніе, не проникнувъ сути дѣла и положившись на то, что товарищъ и ежедневный собесѣдникъ не подведетъ его. По свидѣтельству Ѳ. И. Буслаева, друзья Болдырева не могли простить Надеждину вѣроломнаго поступка. П. Б.



ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПРОФЕССОРА РИШИЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ
ЗЕЛЕНЕЦКАГО.

(1840).



Весной этого года, поздно, часу въ первомъ ночи, возвращался я изъ клуба домой на скверныхъ дрожкахъ, которыя при каждомъ толчкѣ готовы были распасться и въ которыя впряженъ былъ плохой конишка, не подъ силу бѣжавшій легонькой рысцой. Дорогою я вспомнилъ, что со мною не было мелкихъ денегъ, а заставлять бѣднаго старика ждать ихъ у воротъ мнѣ не хотѣлось, потому что время разъѣзда въ клубъ есть для него драгоценность. Вотъ почему я просилъ его заѣхать за должнымъ рублемъ на другой день и спросить у моего Федора. Извозчикъ наивно сказалъ мнѣ: «Ничего, господинъ Зеленецкій *)! На васъ грѣхъ пожаловаться: когда поѣдете въ другой разъ, такъ отдадите». Тутъ старый хохолъ помолчалъ немного и вдругъ, какъ бы вспомнивъ что-то, продолжалъ: «А то вотъ давно, лѣтъ за восемь, когда еще таможеннымъ управляющимъ былъ князь Трубецкой»...—«То есть за пятнадцать», прервалъ я его: «вотъ ужъ болѣе десяти лѣтъ, какъ была вторая чума, а князь Трубецкой жилъ здѣсь до нея».—«Можетъ статья... былъ тутъ въ графской канцеляріи Пушкинъ.—«Какъ, Пушкинъ?»—«Да, чиновникъ, что ли...» Я догадался. «Ну рассказывай!»—«Такъ бывало больно задолжаетъ, да всегда отдастъ съ процентами. Возилъ я его разъ на хуторъ Рено **). Слѣдовало пять рублей;

*) Онъ часто отвозилъ меня изъ клуба и зналъ мою фамилію; впрочемъ, вообще простой народъ здѣсь не церемонится.

**) Дача известная своимъ живописнымъ положеніемъ на берегу моря.

говорить: въ другой разъ отдамъ. Прошло съ недѣлю... выходить: вези на хуторъ Рено!.. Повезъ опять. Слѣдовало ужъ десять рублей, а онъ и въ этотъ разъ не отдалъ. Возилъ я его и въ третій, и опять въ долгъ: нечего было дѣлать; и радъ бы не ѣхать, да нельзя...»—«Отъ чего?» спросилъ я.—«Свирѣпъ былъ, да и ходилъ съ желѣзной дубиной; а вотъ слушайте. Прошла недѣля, другая... Деньги были мнѣ нужны, пятнадцать рублей для нашего брата не бездѣлица... Прихожу я къ нему на квартиру... Жилъ онъ въ клубномъ домѣ, во второмъ этажѣ, вотъ сверху надъ магазиномъ Марибо. Вхожу въ комнату: онъ брился. Я къ нему. Ваше благородіе, денегъ пожалуйте, и началъ просить. Какъ ругнетъ онъ меня, да какъ бросится на меня съ бритвой! Я бѣжать, давай Богъ ноги, чуть не зарѣзалъ.» (Видно, старикъ-то приступилъ безъ церемоній). «Съ той поры я такъ и бросилъ. Думаю себѣ: пропали деньги, и искать нечего, а уже больше не везу. Только разъ утромъ гляжу—тутъ же и наша биржа—Пушкинъ растворилъ окно, зоветъ всѣхъ, кому долженъ... Прихожу и я: на, вотъ тебѣ по шести рублей за каждый разъ, да смотри впередъ не совайся...»—«За чѣмъ же ѣздилъ онъ на хуторъ Рено?»—«А Богъ его знаетъ! Посидить, походить по берегу часъ, полтора, потомъ назадъ.»—«Чтожъ Пушкинъ?» продолжалъ я. «Да что, грѣхъ худо слово молвить... былъ честный, добрый господинъ... Чтожъ, когда денегъ не случилось?...»—«А знаешь ли ты, что онъ былъ великій человѣкъ?»—«Такъ!»—«Умеръ недавно.»—«Царство ему небесное: былъ хорошій господинъ».



ИЗЪ ЧЕРНОВЫХЪ РУКОПИСЕЙ

хранящихся въ Московскомъ Публичномъ Музеѣ.

I.

Письмо передъ ссылкой въ Псковскую деревню.

Письмо это писано въ Одесѣ, лѣтомъ 1824 года, вѣроятно къ Александру Ивановичу Казначееву, человѣку отиѣнной доброты и благожелательства, находившемуся въ близкихъ отношеніяхъ къ князю Воронцову (при которомъ онъ состоялъ еще во Франціи адъютантомъ), въ тоже время умѣвшему цѣнить высокую душу и Пушкина.—Кажется, что, послѣ знаменитаго донесенія о саранчѣ, Пушкинъ сначала получилъ увольненіе только отъ службы, и уже потомъ пришла бумага изъ Петербурга объ его ссылкѣ на жительство въ Псковскую губернію. Наказаніе поразило всѣхъ своею строгостью и для самаго Пушкина было неожиданностью. Князя Воронцова въ то время не было въ Одесѣ (онъ объѣзжалъ свой край). Пушкинъ сдѣлался самъ не свой. Онъ пропадалъ цѣлыми днями. Жившая въ то время въ Одесѣ добрая его знакомая спрашиваетъ его: „Что васъ не видно? Гдѣ вы были?“—„На корабляхъ: трое сутокъ сряду пили и кутили“. Тѣмъ не менѣе, хоть и рѣже прежняго, онъ появлялся на дачѣ Рено, у княгини Воронцовой. Послѣ извѣстной его эпиграммы на ея мужа (въ которой потомъ самъ онъ раскаивался), конечно обращались съ нимъ очень сухо. Передъ каждымъ обѣдомъ, къ которому собиралось по нѣскольку человѣкъ, княгиня-хозяйка обходила гостей и говорила каждому что нибудь любезное. Однажды она прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тутъ же обратилась къ кому-то съ вопросомъ: Что нынче дадутъ въ театрѣ? Не успѣлъ спрошенный раскрыть ротъ для отвѣта, какъ подскочилъ Пушкинъ и, положа руку на сердце (что онъ дѣлывалъ, особливо когда отпускалъ свои остроты), съ улыбкою сказалъ: „La sposa fidele, comtessa“ (Вѣрная супруга, графиня). Та отвернулась и воскликнула: *Quelle impertinence!* (Какая наглость!).—Прошли года. Россія оплакала своего поэта. Въ годъ его кончины князь Воронцовъ пріѣзжалъ въ Петербургъ и посѣтилъ его вдову. А княгиня

Е. К. Воронцова († 1880) до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкинѣ теплое воспоминаніе и ежедневно читала его сочиненія. Когда зрѣніе совсѣмъ ей измѣнилось, она приказывала читать ихъ себѣ въ слухъ, и при томъ сподрядъ, такъ что когда кончались всѣ томы, чтеніе возобновлялось съ перваго тома. Она сама была одарена тонкимъ художественнымъ чувствомъ и не могла забыть очарованій Пушкинской бесѣды. Съ нимъ соединялись для нея воспоминанія молодости.

Въ дверяхъ эдема ангелъ нѣжный
Главой поникшею сіялъ;
А демоны, страшный и мителный...

Je suis bien fâché que mon congé vous ait fait tant de peine, et l'affection que vous m'en temoignez me touche sincèrement. Quant aux craintes, que vous avez relativement aux suites que ce congé peut avoir, je ne les vois pas fondées. Que regrettrai-je? Est-ce ma carrière manquée? C'est une idée à laquelle j'ai eu le temps de me résigner. Sont-ce mes appointements? Je n'ignore pas qu'avec mon manque de fortune et mon peu de moyens, je ne puis pas les dédaigner; mais puisque mes occupations littéraires peuvent me procurer plus d'argent que le service, il est tout naturel de leur sacrifier les occupations de mon service. Vous mes parlez de protection et d'amitié—deux choses à mon sens incompatibles. Je ne puis ni ne veux prétendre à l'amitié du c-te Woronzow, encore moins à sa protection: j'estime trop cet homme pour vouloir m'abaisser devant lui, et rien que je sache ne dégrade plus que le patronage... J'ai des préjugés démocratiques, qui vaillent bien... les préjugés d'aristocratie.

Je n'aspire qu'à l'indépendance. (Pardonnez moi le mot en faveur de la chose). A force de courage et de persévérance, je finirai par en jouir. J'ai déjà vaincu ma répugnance d'écrire et de vendre mes vers pour vivre; le plus grand pas est fait. Si je n'écris encore que sous l'influence capricieuse de l'inspiration, les vers une fois écrits, je ne les regarde plus que comme une marchandise à tant la pièce. Je ne conçois pas la consternation de mes amis. Je ne sais pas trop ce que c'est que mes amis. Je suis fatigué de dépendre de la digestion bonne ou mauvaise de tel ou tel chef; je suis ennuyé d'être traité dans ma patrie avec moins d'égard que le premier galopin anglais, qui vient promener parmi nous sa platitude, sa nonchalance et son bagoin. Il n'y a pas de doute, que le c-te Woronzow, qui est un homme d'esprit, saura me donner le tort dans l'opinion du public—triomphe très-flatteur et dont je le laisserai jouir tout à son gré, vu que je me soucie tout autant de l'opinion de ce public, que de l'admiration de nos journaux.

Переводъ. Мнѣ очень досадно, что отставка моя такъ васъ огорчаетъ. И благорасположеніе, которое вы мнѣ выражаете, трогаетъ меня искренно. Я не вижу основанія вашимъ опасеніямъ относительно тѣхъ послѣдствій, которыя отставка эта можетъ имѣть. Чего жалѣть мнѣ? Моего неудавшагося служебнаго поприща? Это имѣлъ я время обсудить и на это обречь себя. Моего жалованья? Знаю, что имѣ пренебрегать мнѣ нельзя, такъ какъ я не богатъ, и средствъ у меня мало; но занятія словесностью могутъ мнѣ дать больше денегъ, нежели служба *), и повтому весьма естественно пожертвовать для нихъ служебными занятіями. Вы говорите мнѣ о покровительствѣ и о дружбѣ: двѣ вещи, по моему несомнѣстимыя. Не могу и не хочу рассчитывать на дружбу графа Воронцова, еще менѣе на его покровительство: я слишкомъ уважаю этого человѣка, чтобы унижаться передъ нимъ, а ничто, по моему, такъ не унижаетъ какъ покровительство... У меня предрасудки демократическіе, которые имѣютъ свой вѣсъ, какъ и аристократическіе. Я стремлюсь только къ независимости (простите мнѣ это слово ради сущности дѣла). Рѣшительностью и настойчивостью добьюсь я, наконецъ, что буду ею пользоваться. Я уже преодолѣлъ въ себѣ отвращеніе писать и продавать стихи изъ за средствъ къ жизни. Главный шагъ сдѣланъ, и если все еще пишу я не иначе, какъ подъ прихотливымъ вліяніемъ вдохновенія, то какъ скоро стихи написаны, я уже смотрю на нихъ какъ на товаръ, по стольку-то за штуку. Я не понимаю отчаянія моихъ друзей: да и не знаю, что такое мои друзья. Я усталъ подчиняться хорошему или дурному пицеваренію того или другаго начальника; мнѣ надоѣло видѣть, что на моей родинѣ обращаются со мною менѣе уважительно, нежели съ любимымъ Англійскимъ балбесомъ, пріѣзжающимъ предъявлять намъ свою пошлость, неразборчивость и свое бормотанье. Нѣтъ сомнѣнія, что графъ Воронцовъ, будучи умнымъ человѣкомъ, сдумаетъ уронить меня во мнѣніи общества—лестное торжество, которое я вполне ему предоставляю, забываясь о мнѣніи этого общества столь же мало, какъ и о похвалахъ нашихъ журналовъ.

*

А я отъ милыхъ южныхъ дамъ,
Отъ жирныхъ устрицъ Черноморскихъ,
Отъ оперы, отъ темныхъ ложъ
И, слава Богу, отъ вельможъ,
Уѣхалъ въ сѣнь лѣсовъ Тригорскихъ,
Въ далекій сѣверный уѣздъ,
И былъ печаленъ мой пріѣздъ.

*) Передъ тѣмъ Пушкинъ получилъ изъ Москвы за свой „Бахчисарайскій Фонтанъ“ три тысячи рублей.

II.

Черное письмо изъ Михайловскаго въ Одессу, къ доброй знакомой, вскорѣ по
пріѣздѣ въ ссылку.

Belle et bonne princesse Véra, aussi charmante et généreuse. Je dois vous remercier pour votre lettre; les paroles seront trop froides et trop faibles pour vous exposer mon attendrissement et ma reconnaissance. Votre douce amitié suffirait à toute âme moins égoïste que la mienna. Tel que je suis, elle seule me console de bien des chagrins et seule a pu. . . . la rage de l'ennuie qui consume ma sottie existence. Vous devez la connaître, cette sottie existence. Ce que j'avais prévu s'est trouvé vrai. Ma présence au milieu de ma famille n'a fait que redoubler des chagrins assez réels. Le gouvernement a eu l'infamie de proposer à mon père d'être son agent de persécution. On m'y reproche mon exil, on se croit d'être entraîné dans mon malheur, on prétend que je prêche l'athéisme à ma soeur, qui est une créature céleste, et à mon frère qui est très-drole et très-jeune, qui admirait mes vers et que j'ennuie très-certainement. Mon père a eu la faiblesse d'accepter un emploi qui le met dans tous les cas dans une fausse position à mon égard. Cela fait que je passe à cheval et dans les champs tout le temps que je ne suis pas au lit. Tout ce que me rappelle la mer m'attriste, le bruit d'une fontaine me fait mal à la lettre; je crois qu'un bon ciel me ferait pleurer de rage. Но слава à Dieu, небо у насъ сивое, а луна точно рѣпа.

A l'égard de mes voisins, je n'ai eu que la peine de les rebuter d'abord. Ils ne m'excèdent pas; je jouis parmi eux une réputation d'Onéguine, et voilà je suis prophète en mon pays..

Pour toute ressource je vois souvent une bonne vieille voisine, j'écoute ses conversations patriarcales. Ses filles assez mauvaises... sous tous les rapports, me jouent de Rossini, que j'ai fais venir. Je suis dans la meilleure position possible pour achever mon roman poétique, mais l'ennuie est une froide Muse, et le poème n'avance guère; voilà pourtant une strophe, que je vous dois; montrez la au pr. Pierre; dites lui de ne pas juger du tout par cet échantillon.

Adieu, ma respectable princesse, je suis à vos pieds bien tristement. Ne montrez cette lettre qu'à ceux que j'aime et qui prennent à moi l'intérêt de l'amitié et non de la curiosité. Au nom du ciel un mot d'Odessa, de vos enfants! Avez vous consulté le docteur de . . . ?

Переводъ. Прекрасная и добрая княгиня Вѣра, пламенная и великодушная. Я долженъ поблагодарить васъ за ваше письмо. Слова будутъ слишкомъ холодны и слабы, чтобъ выразить вамъ, какъ я умиленъ и признателенъ. Ваша нѣжная дружба удовлетворила бы всякую душу менѣе моей себялюбивую. Каковъ я теперь, эта дружба одна только утѣшаетъ меня въ тяжкомъ горѣ, и она одна могла (одолѣть) бѣшенство скуки, снѣдающей мое глупое существованіе. Вы должны знать про это глупое существованіе. То что я предвидѣлъ, вышло на самомъ дѣлѣ. Моимъ присутствіемъ среди моего семейства удвоено горе, и безъ того существенное. Власти имѣли безстыдство предложить отцу моему содѣйствовать имъ въ моемъ гоненіи. Мнѣ попрекаютъ мою ссылку; считаютъ себя вовлеченными въ мое неучастіе; увѣряютъ, будто я преподаю безбожіе сестрѣ моей, которое есть небесное созданіе, и моему брату, которой очень забавенъ и очень молодъ, который восхищался моими стихами и которому конечно я очень надоѣдаю. Отецъ мой, по слабости своей, принялъ на себя обязанность, которая во всякомъ случаѣ ставитъ его въ ложное положеніе относительно меня. Отъ этого, я провожу на конѣ и остаюсь въ полѣ все время, когда я не въ постелѣ. Все напоминающее море печалитъ меня; отъ шума падающей воды мнѣ буквально становится дурно. Думаю, что при видѣ яснаго неба, я заплачу съ бѣшенства. Но, слава Богу, небо у насъ сивое, а луна точно рѣпа. Что касается моихъ сосѣдей, на первыхъ порахъ я постарался ихъ оттолкнуть отъ себя. Они оставили меня въ покоѣ. Я у нихъ словно Онгинъ¹⁾, и такимъ образомъ я пророкъ въ странѣ своей... Довольствуюсь тѣмъ, что видаю часто одну добрую старуху-сосѣдку и слушаю ея патріархальныя рѣчи. Ея дочери, довольно дурныя... во всѣхъ отношеніяхъ, играютъ мнѣ Россини, котораго я выписалъ²⁾. Я нахожусь въ отличнѣйшемъ положеніи для того, чтобы кончать мой стихотворный романъ; но скука—холодная Муза, и поэма не подвигается. Вотъ однако строфа, которую я вамъ долженъ. Покажите ее князю Петру; но пусть не судитъ о цѣломъ по этому обрацику. Прощайте, уважаемая княгиня. Я очень печально у ногъ вашихъ. Не показывайте этого письма кромѣ тѣхъ, кого я люблю и кто принимаетъ во мнѣ участіе не изъ любопытства, а по дружбѣ. Ради Бога слово объ Одессѣ, о вашихъ дѣтяхъ! Совѣтовались ли вы съ докторомъ?...

¹⁾ Онгинъ тогда еще не выходилъ въ свѣтъ; но особа, которой писалъ Пушкинъ, слышала его начало еще въ Одессѣ, принадлежа къ числу немногихъ лицъ, которымъ онъ повѣрялъ свои труды, до окончанія ихъ.

²⁾ Кто была эта сосѣдка, мы не знаемъ; но конечно не П. А. Осипова, которая тогда и по лѣтамъ своимъ не была еще старухой. С. А. Соболевскій увѣрялъ, что нѣкоторое время эта достойнѣйшая женщина до того увлеклась Пушкининымъ, что даже во-силась съ мыслию въ третій разъ выдти за него за мужъ.

III.

Черное письмо изъ ссылки къ императору Александру Павловичу.

Писано въ срединѣ 1825 года и конечно не достигло назначенія, да вѣроятно и не было послано. Жуковскій, А. И. Тургеневъ и князь А. Н. Голицынъ: вотъ ступени, по которымъ это письмо могло дойти до Государя; но эти лица, спасая поэта, должны были задержать письмо.

J'avais 20 ans en 1820. Des propos inconsidérés, des vers satiriques... Le bruit répandit, que j'avais été traduit et f. à la ch. s. *).

Je fus le dernier à apprendre ce bruit qui était devenu général; je me vus flétri dans l'opinion. Je fus découragé, je me battais, j'avais 20 ans. Je délibérais si je ne ferais pas bien de me suicider ou d'assassiner... Dans le premier cas je ne faisais qu'à confirmer un bruit, qui me déshonorait; dans le second je ne me vengeais pas, parce qu'il n'y avait pas d'outrage: je commettais un crime, je sacrifiais à l'opinion d'un public, que je méprisais, un homme..... dont j'avais l'admiration involontaire. Ces réflexions me déterminèrent.

Tels furent mes réflexions. Je les communiquais à un ami qui fut parfaitement de mon avis. Il me conseilla des démarches de justification envers l'autorité. J'en sentis l'inutilité. Je résolus de mettre tant d'indignation et de jactance dans mes discours et mes écrits, qu'enfin l'autorité soit obligé de me traiter en criminel: j'aspirais la Sibérie ou la forteresse comme réhabilitation.

La conduite magnanime et libérale de l'autorité me toucha, en déracinant une ridicule calomnie.... Depuis, s'il m'est quelques fois échappé des plaintes contre un ordre des choses reçu, si quelques fois je m'abandonnais à jeunes déclamations, je suis pourtant bien sûr d'avoir toujours respecté soit dans l'écrit, soit dans mes discours, la personne de V. M.

Sire, on m'accuse d'avoir compté sur la générosité de votre caractère; je vous ai dit la vérité avec une franchise dont il serait impossible d'être coupable envers tout autre souverain du monde.

Aujourd'hui je recourre à cette générosité. Ma santé a été fortement altérée dans ma jeunesse; un aneurisme de coeur exige une prompte opération, un traitement prolongé; la ville qui m'en était assignée ne peut me procurer aucun secours. Je supplie V. M. de me permettre le séjour d'une de nos capitales ou bien de m'ordonner un endroit de l'Europe ou je puis prendre soin de prolonger mon existence...

*) Такъ въ подлинникѣ. Слѣдуетъ читать: fouetté à la chancellerie secrète.

Переводъ. Мнѣ было 20 лѣтъ въ 1820 году. Необдуманнѣе отзывы, сатирическіе стихи. Разнесся слухъ, будто я былъ отвезенъ въ секретную канцелярію и высѣченъ ¹⁾. Слухъ былъ общимъ и до меня дошелъ до послѣдняго. Я увидалъ себя опозореннымъ передъ свѣтомъ. На меня нашло отчаяніе: я метался въ стороны, мнѣ было 20 лѣтъ. Я соображалъ, не слѣдуетъ ли мнѣ прибѣгнуть къ самоубійству или умертвить... Въ первомъ случаѣ я только бы подтвердилъ разнесшуюся молву, которая меня безчестила; во второмъ я бы не мстил за себя, потому что прямой обиды не было, а совершилъ бы только преступленіе и пожертвовалъ бы обществу мнѣнію, которое презиралъ, человѣкомъ, внушавшимъ мнѣ уваженіе противъ моей воли. На этихъ размышленіяхъ я остановился. Таковы были мои размышленія. Я сообщилъ ихъ другу, который былъ совершенно моего мнѣнія ²⁾. Онъ мнѣ совѣтовалъ попытаться оправдать себя передъ властью; я чувствовалъ бесполезность этого. Я рѣшился высказывать столько негодованія и наглости въ своихъ рѣчахъ и своихъ писаніяхъ, чтобы, наконецъ, власть вынуждена была обращаться со мною какъ съ преступникомъ. Я жаждалъ Сибири или крѣпости, какъ возстановленія чести ³⁾. Великодушный и мягкій образъ дѣйствій власти меня тронулъ, уничтоживъ окончательно клевету ⁴⁾. Съ тѣхъ поръ, если иной разъ вырывались у меня жалобы на установившійся ходъ дѣлъ; если иногда предавался я молодымъ разглагольствіямъ, то все-таки я смѣло утверждаю, что всегда, на словахъ и съ перомъ въ рукахъ, я уважалъ особу Вашего Величества. Государь! Меня винять, что я рассчитывалъ на великодушіе вашего характера. Я вамъ сказалъ истину съ откровенностью, которая была бы предосудительна въ глазахъ всякаго иного властителя на свѣтѣ. Нынѣ прибѣгаю къ этому великодушію. Здоровье мое съ раннихъ лѣтъ сильно потрясено. Аневризмъ въ сердцѣ требуетъ скорой операціи и продолжительнаго леченія. Городъ, который мнѣ для того назначенъ ⁵⁾, не можетъ мнѣ доставить никакихъ средствъ. Умоляю Ваше Величество, позвольте мнѣ жить въ одной изъ нашихъ столицъ, или назначьте мнѣ мѣсто въ Европѣ, гдѣ могъ бы я позаботиться о продленіи моего существованія.

¹⁾ Это должно относиться къ Генварю или Февралю мѣсяцу 1820 года.

²⁾ П. Я. Чадаевъ, до Семеновской исторіи, случившейся въ Октябрѣ того же года.

³⁾ Въ Февралѣ этого года убитъ Лувелемъ въ Парижскомъ театрѣ наследникъ Французскаго престола герцогъ Беррійскій. Покойный Д. Н. Свербеевъ передавалъ намъ, что Пушкинъ въ театрѣ, ходя по рядамъ креселъ, показывалъ знакомымъ портретъ Лувеля и позволялъ себѣ при этомъ возмутительные отзывы.—Къ этой же, самой тяжелой въ жизни Пушкина, эпохѣ можетъ относиться рассказъ И. В. Кирѣевского, слышанный имъ отъ Ѳ. Ѳ. Матюшкина, какъ поэтъ съ пистолетомъ въ рукахъ разговаривалъ съ отцемъ своимъ. Сюда же относятся беспощадные отзывы про Пушкина въ письмахъ Карамзина къ И. И. Дмитріеву.

⁴⁾ Пушкинъ не забылъ, что, переведа его къ Инзову въ Екатеринославъ, правительство снабдило его на дорогу тысячею рублей.—⁵⁾ Т.-е. Псковъ.

IV.

Воображаемый разговоръ съ Александромъ Павловичемъ.

(Въ серединѣ 1825 года).

Когда-бъ я былъ царь, то позвалъ бы Александра Пушкина и сказалъ бы ему: „Александръ Сергѣевичъ, вы сочиняете прекрасные стихи; я читаю съ большимъ удовольствіемъ“. А. П.—ъ поклонился бы мнѣ съ нѣкоторымъ скромнымъ замѣшательствомъ, а я бы продолжалъ: „Я читалъ вашу оду Свобода! Прекрасно, хоть она писана немного сбивчиво, мало обдуманно; вамъ вѣдь было 17 лѣтъ, когда вы написали эту оду“. *)—В. В. я писалъ ее въ 1817 году...—„Тутъ есть три строфы очень хорошія... Я замѣтилъ, вы старались очернить меня въ глазахъ народа распространеніемъ нелѣпой клеветы; вижу, что вы можете имѣть мнѣнія неосновательныя; но вижу, что вы уважали правду, личную честь даже въ царѣ“.—Ахъ, В. В., зачѣмъ упоминать объ этой дѣтской одѣ? Лучше-бы вы прочли хоть 3 и 6 пѣснь Руслана и Людмилы, ежели не всю поэму, или первую часть Кавказскаго Пѣлнника, или Бахчисарайскій Фонтанъ. Онѣгинъ печатается, буду имѣть честь отправить 2 экземпляра въ бібліотеку В. В., къ Ивану Андреевичу Крылову, и если В. В. найдете время... „Помилуйте, Александръ Сергѣевичъ, вы доставите намъ пріятное занятіе. Наше царское правило: дѣла не дѣлай, а отъ дѣла не бѣгай. Скажите, неужто вы все не перестаете писать на меня пасквили? Это нехорошо! Вы не должны на меня жаловаться; кажется, если я васъ не отличалъ еще, дожидая случая, то вамъ и жаловаться не на что. Признайтесь: любезнѣйшій нашъ товарищъ король Галліи или императоръ Австрійскій съ вами не такъ бы поступил! За всѣ ваши проказы вы жили въ тепломъ климатѣ. Чтб вы дѣлали у Инзова и у Воронцова?“—В. В., Инзовъ меня очень любилъ, за всякую ссору съ Молдаванами объявлялъ мнѣ комнатный арестъ и присылалъ мнѣ скуки ради Французскіе журналы **). А е. с. графъ Воронцовъ не сажалъ меня подъ

*) По складу своего образованія Александръ Павловичъ гораздо менѣе своего преемника понималъ красоту поэзіи; въ одѣ, о которой здѣсь идетъ рѣчь, не могъ онъ однако остаться равнодушенъ къ нѣкоторымъ строкамъ, касавшимся центрального событія въ его жизни. Слава и благодарность ему отъ потомства за то, что, побѣдивъ личныя ощущенія, великодушно внялъ онъ заступничеству Карамзина и графа Каподистрии. (Преемникъ сего послѣдняго никогда бы не замолвилъ слова за Русскаго поэта).

**) Объ Инзовѣ и о той порѣ своей жизни Пушкинъ вспоминаетъ еще въ слѣдующемъ новонайденномъ отрывкѣ:

Мой другъ, уже три дни
Сяду я подъ арестомъ,
И не видался я
Давно съ моимъ Орестомъ.
Спаситель Молдаванъ,
Бахметьева намѣстникъ,

арестъ, не присылалъ мнѣ газетъ, но знаи Русскую литературу, какъ герцога Веллингтона, былъ ко мнѣ чрезвычайно.... „Какъ это вы могли ужиться съ Инзовымъ, а не ужились съ графомъ Воронцовымъ?“—В. В., генералъ Инзовъ добрый и почтенный старикъ, онъ Русскій въ душѣ, онъ не предпочитаетъ перваго Англійскаго шалопая всѣмъ извѣстнымъ и неизвѣстнымъ своимъ соотечественникамъ; онъ уже не волочится, ему не 18 лѣтъ...; страсти если и были и въ немъ, то ужъ давно исчезли. Онъ довѣряетъ благородству чувствъ, потому что самъ имѣетъ чувства благородныя, не боится насмѣшекъ, потому что выше ихъ и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что со всѣми вѣжливъ. Онъ не опрометчивъ, не вѣрять.... пасквилямъ.... В. В., вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочиненіе возмутительное приписываются мнѣ, такъ какъ всякіе остроумные вымыслы к. Ц. *). Я не оправдывался никогда, изъ пустого вольнодумія; отъ дурныхъ стиховъ не отказывался, надѣясь на свою добрую славу, а отъ хорошихъ, признаюсь, и силы нѣтъ отказать.—„Слабость непростительная. Но вы же и Аеи? Вотъ что ужъ шкуда не годится.“—Я Аеи? В. В., какъ можно судить человека по письму, писанному къ товарищу? Можно-ли школьническую шутку взвѣшивать какъ преступленіе, а двѣ пустыя фразы судить, какъ бы всенародную проповѣдь? Я всегда почиталъ васъ, какъ лучшаго изъ Европейскихъ нынѣшнихъ властителей (увидимъ однако, что будетъ изъ Карла X), но вашъ послѣдній поступокъ со мною.... ссылаюсь на собственное ваше сердце, противорѣчитъ вашимъ правиламъ и просвѣщенному образу мыслей...—„Признайтесь, вы всегда надѣялись на мое великодушіе?“—Это не было-бы оскорбительно В. В. Вы видите, что я бы ошибся въ моихъ расчетахъ.... Тутъ бы онъ разгорячился и наговорилъ-бы мнѣ много лишняго (хоть отчасти правды); я-бы разсердился и сослалъ его въ Сибирь, гдѣ-бы онъ написалъ эпическую поэму Ермакъ, или Кучумъ.... размѣромъ и съ риемой...

Законовъ провозвѣстимъ,
Смирный Іоаннъ,
За то что Яскій панъ,
Извѣстный намъ болванъ
Мазуркою, чалмою,
Несносной бородою,
И трусъ, и грубіанъ,
Побить невозможно мною,
И что бояръ пугнулъ
Я новою тревогой,
Къ моей каморѣ строгой
Приставилъ караулъ.

*) Т. е. князя Дмитрія Евсеевича Циціанова, дядю А. О. Смирновой. Нѣкоторые забавные его рассказы записаны Пушкинымъ и напечатаны въ его сочиненіяхъ. Князь Циціановъ, между прочимъ, увѣрялъ Московскихъ суконныхъ фабрикантовъ, что на его родинѣ въ Грузіи получаютъ большіе барыши отъ ихъ дѣла: овцы рождаются разноцвѣтными. Къ этому онъ прибавлялъ, что на закатѣ солнца стада такихъ овецъ представляютъ восхитительное зрѣлище.

V.

Черное письмо къ Н. В. Всеволожскому.

(1826 или 1827).

Не могу повѣрить, чтобы ты забылъ меня, милый Всеволожскій. Ты помнишь Пушкина, проведеннаго съ тобою столько веселыхъ часовъ, Пушкина, котораго ты видалъ и пьянаго, и влюбленнаго, не всегда вѣрнаго твоимъ Субботамъ, но неизмѣннаго твоего товарища въ театрѣ, наперсника твоихъ шалостей, того Пушкина, который отрезвилъ тебя въ страстную Пятницу и привелъ тебя подъ руку въ церковь... да помолись Господу Богу и насмотришься на Вышняго Господа. Сей самый Пушкинъ честь имѣетъ напомнить тебѣ о своемъ существованіи и приступаетъ къ нѣкоторому дѣлу, близко до него касающемуся. Помнишь ли ты, что я тебѣ полупродалъ, полупроигралъ рукопись своихъ стихотвореній; ибо знаешь... родитъ задоръ..... Я раскаялся, но поздно. Нынѣ рѣшился я исправить свои погрѣшности, начиная съ моихъ стиховъ. Большая часть оныхъ ниже посредственности, годится только на... Нѣкоторые хочется мнѣ спасти... Царь не боится свободы! Продай мнѣ назадъ мою рукопись, за ту же цѣну—1,000 р. Я знаю, что ты со мной торговаться не станешь, даромъ же взять не захочу. Деньги тебѣ доставлю съ благодарностью, какъ скоро выручу... Надѣюсь, что мои стихи у Смирдина не залежатся. Передумай и дай отвѣтъ. Обнимаю тебя.

VI.

Наброски въ стихахъ. ~

Презрѣвъ и шопоть укоризны,
И зовъ обманутыхъ надеждъ,
Иду въ чужбину, прахъ отчизны
Съ дорожныхъ отряхнувъ одеждъ.

*

Умолкни сердца шопоть сонный
Привычки и довольства гласъ.
Прости, предѣлъ неблагоклонный
Гдѣ свѣтъ уарѣлъ я въ первый разъ!
Простите, сумрачныя сѣни,
Гдѣ дни мои прошли въ тиши,
Исполнены страстей и лѣни
И сновъ задумчивой души ¹⁾...

*

¹⁾ Этотъ отрывокъ относится къ жизни въ Пековской деревнѣ (1824 — 1826), откуда одно время Пушкинъ замыслилъ бѣжать за границу.

Къ брату, въ Петербургъ изъ деревни.

Что-же, будетъ-ли вино,
Лайонъ? ¹⁾ Жду его давно.
Знаешь-ли какого рода?
Милый мой, мнѣ все равно.
У меня законъ одинъ:
Жажды полная свобода
И терпимость всякихъ винъ.
Погребъ мой гостепріимный
Радъ мадерѣ золотой
И подъ пробкой смоляной
Сень-Пере бутылкѣ длинной.
Въ лѣта юности безумной
Поэтически Ан
Нравился мнѣ пѣной шумной
Симъ подобіемъ любви.
Но бургонское . . .
Мнѣ понравилось потомъ.
Нынѣ нѣтъ во мнѣ пристрастья,
Безъ разбора
Вина обхожу кругомъ....

*

Шумить кустарникъ... На утесъ
Олень веселый выбѣгаетъ;
Недвижимъ, онъ подножный лѣсъ
Съ вершины острой озираетъ
И чуткимъ ухомъ шевелить.
Но вздрогнулъ онъ,—недальній звукъ
Его коснулся. . .

*

На тихихъ берегахъ Москвы
Церквей вѣчанныя крестами
Сіяютъ ветхія главы
Надъ монастырскими стѣнами;
Кругомъ простерлись по холмамъ
Во вѣкъ нерубленные рощи.
Издавно почиваютъ тамъ
Угодниковъ святыя мощи...

*

¹⁾ Такъ звали въ семьѣ Льва Сергѣевича Пушкина.

Въ изгнаныи, въ горести, въ разлукѣ,
Москва, какъ жаждалъ я тебя,
Святая родина моя!

*

Петра не стало, государство
Шатнулось будто подъ грозой,
И усмиренное боярство,
Его могучею рукой,
Мятежной предалось надеждѣ:
Пусть будетъ вновь, что было прежде,
Долой каѳтанъ кургузый; нѣтъ,
Примѣромъ намъ не будетъ Шведъ!

—

Не тутъ-то было. Тѣнь Петрова
Стояла грозно средь вельможъ;
Что было, не возстало снова.
Россія двинулась впередъ:
Встрѣла тѣжъ средь тѣхъ же водъ.

*

Въ полѣ чистомъ серебрится
Снѣгъ волнистый и рябой;
Свѣтитъ мѣсяцъ, тройка мчится
По дорогѣ столбовой.

—

Пой въ часы дорожной скуки
По дорогѣ столбовой;
Сладки мнѣ родные звуки
Звонкой пѣсни удалой.

—

Пой, ямщикъ! Я молча, жадно
Буду слушать голосъ твой.
Мѣсяцъ блѣдный свѣтитъ хладно,
Грустенъ вѣтра дальній вой.

—

Знаешь пѣсню ты — лучина...

*

Къ ней важный Вяземскій подсѣлъ
И ею точно завладѣлъ;
На вечеръ идъ за обѣдомъ
Онъ ищетъ быть ея сосѣдомъ.

Критическіе отрывки.

Д'Аламберъ сказалъ однажды Лагарпу: не выхваляйте мнѣ Бюфона. Этотъ человѣкъ пишетъ—благороднѣйшее изъ всѣхъ приобрѣтеній человѣка было сіе животное, гордое, пылкое и проч. Зачѣмъ просто не сказать лошадь? Лагарпъ удивляется сухому разсужденію философа; но д'Аламберъ очень умный человѣкъ, и, признаюсь, я почти согласенъ съ его мнѣніемъ. Замѣчу мимоходомъ, что дѣло шло о Бюфонѣ, великомъ живописцѣ природы. Слогъ его цвѣтущій, полный, всегда будетъ образцомъ описательной прозы. Но что сказать объ нашихъ писателяхъ, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самыя обыкновенныя, думаютъ оживить дѣтскую прозу дополненіями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажутъ *дружба*, не прибавивъ: сіе священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать *рано поутру*, а они пишутъ: едва первые лучи восходящаго солнца озарили восточные края лазурнаго неба. Какъ это все ново и свѣжо! Развѣ оно лучше потому только, что длиннѣе?

Читаю отчетъ новаго любителя театра: сія юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполономъ. Боже мой! А поставь: это молодая, хорошая актриса, и продолжай такъ-же; будь увѣренъ, что никто не замѣтитъ твоихъ выраженій, никто спасибо не скажетъ. И развѣ завистливый Зоиль, коего неусыпная зависть изливаетъ усыпительный свой ядъ на лавры Русскаго Парнаса, коего утомительная тупость или глупость можетъ только сравниться съ неутомимой злостію...

... Вольтеръ можетъ похвастаться прекраснымъ образцомъ благороднѣйшаго слога; онъ осмѣялъ въ своемъ... изысканность выраженій Фонте-неля, который никогда не могъ ему того простить. Точность, опрятность, вотъ первыя достоинства прозы. Она требуетъ мыслей и мыслей; безъ нихъ блестящія выраженія ни къ чему не служатъ. Стихи дѣло другое. Впрочемъ и въ нихъ не мѣшало-бы нашимъ поэтамъ имѣть сумму идей гораздо позначительнѣе, чѣмъ у нихъ обыкновенно видно; съ воспоминаніями о протекшей юности литература наша далеко не подвинется.

Вопросъ, чья проза лучшая въ нашей литературѣ? Отвѣтъ: *Карамзина*. Это еще похвала небольшая..

*

Къ этому же разряду мыслей относятся слѣдующіе стихи:

Постойте! Напередъ узнайте, чѣмъ душа
У васъ исполнена: прямымъ ли вдохновеньемъ,
Иль необузданнымъ однимъ поползновеньемъ,
И чешется у васъ рука по пустякамъ;
Иль вамъ не вѣрять въ долгъ, и деньги нужны вамъ?

*

Д. ¹⁾ говаривалъ, что самая лучшая сатира на нѣкоторыя литературныя общества былъ бы списокъ членовъ съ означеніемъ того, что кѣмъ писано.

*

Если бы всѣ писатели, заслуживающіе уваженія, довѣренность публики, взяли на себя трудъ управлять общимъ мнѣніемъ, то вскорѣ критика сдѣлалась бы не тѣмъ чѣмъ она есть. Не любопытно ли было бы, напримѣръ, читать мнѣнія Гибдича или К. ²⁾ объ нынѣшней элегической поэзіи? Не пріятно ли было бы видѣть Пушкина, разбирающаго трагедію Хомякова? Эти господа въ связи между собою и, вѣроятно, другъ другу передаютъ взаимныя замѣчанія о новыхъ произведеніяхъ? За чѣмъ не сдѣлать и насъ участниками въ ихъ критическихъ бесѣдахъ?

— Публика довольно равнодушна къ успѣхамъ словесности. Истинная критика для нея незанимательна, она изрѣдка смотритъ на драку двухъ журналистовъ, мимоходомъ слушаетъ монологъ раздраженнаго автора или пожимаетъ плечами.

— Воля ваша, я останавливаюсь, смотрю и слушаю до конца, аплодирую тому, кто сбилъ своего противника. Еслибъ я былъ авторъ, то почелъ бы за малодушіе не отвѣчать на нападеніе, какого бы оно роду ни было. Чтò за аристократическая гордость позволять всякому уличному шалуну метать въ тебя грязью! Посмотрите на Англійскаго лорда: онъ готовъ отвѣчать на учтивый вызовъ *gentleman* и стрѣляться на Кухенрейтерскихъ пистолетахъ, или снять съ себя фракъ и боксовать на перекресткѣ съ извозчикомъ. Это настоящая смѣлость. Но мы и въ литературѣ, и въ общественномъ быту слишкомъ чопорны, слишкомъ дамоподобны.

— Критика не имѣетъ у насъ никакой самостоятельности; вѣроятно, и писатели вашего круга не читаютъ Русскихъ журналовъ и не знаютъ, хвалятъ ли ихъ или бранятъ.

— Извините: Пушкинъ читаетъ всѣ номера Вѣстника, гдѣ его ругаютъ, чтò значитъ, по его энергическому выраженію, *подслушивать у дверей, чтò говорится объ немъ въ прихожей*.

— Куда какъ любопытно!

— Любопытство по крайней мѣрѣ очень понятное. Пушкинъ и отвѣчаетъ эпиграммами.

— Но сатира не критика, эпиграмма не опроверженіе. Я хлопчу о пользѣ словесности, не только о вашемъ удовольствіи.

*

Ермакъ А. С. Хомякова есть болѣе произведеніе лирическое, чѣмъ драма. Успѣхомъ своимъ оно обязано прекраснымъ стихамъ, коими оно писано.

¹⁾ И. И. Дмитріевъ?

²⁾ Катенна?

ПИСЬМА КЪ А. С. ПУШКИНУ.

~*~*~*~

1.

А. Князя В. Ѳ. Одоевскаго.

Не угодно ли вамъ будетъ, Александръ Сергѣевичъ, выслушать Шекспирова Венеціанскаго купца, переведеннаго г. Якимовымъ, который собирается перевести всего Шекспира ¹⁾? Завтра между 8 и 9 часами послѣ обѣда Якимовъ будетъ читать свой переводъ у меня, и вы много и его и меня порадуете, если захотите быть въ числѣ слушателей. Я пригласилъ и князя Петра Андреевича ²⁾. Васъ душевно уважающій

Кн. Влад. Одоевскій.

Понедѣльникъ, 27 Марта.

2.

Скажите, любезнѣйшій Александръ Сергѣевичъ, что дѣлаетъ нашъ почтенный г. Бѣлкинъ? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панекъ ³⁾, по странному стеченію обстоятельствъ, описали: перый *истинную*, второй *чердакъ*; нельзя ли г. Бѣлкину взять на свою отвѣтственность *погребокъ*? Тогда бы вышелъ весь домъ въ три этажа, и можно было бы къ тройчаткѣ сдѣлать картинку, представляющую разрѣзъ дома

¹⁾ Венеціанскій купецъ, драма въ 5 д., соч. Шекспира, пер. съ Англ. *Василій Якимовъ*, Спб. въ т. Гинце. 1833. 8°. Онъ же перевелъ *Лира*, Спб. 1833 тамъ же.

²⁾ Вяземскаго.

³⁾ Псевдонимы Пушкина, кн. Одоевскаго и Гоголя.

въ 3 этажа съ различными въ каждомъ сценами. Рудый Панекъ даже предлагалъ самый альманахъ назвать такимъ образомъ: *Тройчатка или альманахъ въ три этажа*, соч. и проч. Что на это все скажетъ г. Бѣлинъ? Его рѣшеніе нужно бы знать немедленно; ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не посѣетъ, и Тройчатка не выйдетъ къ Новому году, что кажется необходимымъ. А что *самъ* Александръ Сергѣевичъ?

Одоевской.

С.-Петербургъ, 28 Сентября 1833 г.

Мой адресъ: На Дворцовой набережной, въ Машковомъ переулкѣ, въ домѣ Ланской, кн. Владимиръ Ѳеодоровичъ или на имя кн. Вяземскаго.

Я видѣлъ Жуковского: онъ помолодѣлъ и поздоровѣлъ; нѣтъ и тѣни прежняго больнаго лица. Мысль трехъэтажнаго альманаха ему очень нравится ¹⁾.

Притиска А. С. Соболевскаго.

2 Октября.

Вотъ тебѣ цидула Одоевскаго. Я здѣсь съ пятого числа едва прошлаго мѣсяца, и чортъ меня знаетъ сколько еще пробуду. Хлопочу (будто бы) объ дѣлахъ, стряпаю пѣсенникъ и другія славныя вещи, въ томъ числѣ Вяземскаго въ одномъ томѣ, à deux colonnes ²⁾.

Такъ какъ объ вашихъ Сѣверныхъ Цвѣтахъ ни слуху, ни духу, то издамъ я таковой, да издамъ на славу, съ рисунками à l'eau forte, genre de Rembrandt, Г—на. Онъ малый съ истиннымъ талантомъ, а не такъ какъ я думалъ, только съ навыкомъ и набитою рукой. У него прелестныя рисунки къ Contes nocturnes de Hoffmann, и мнѣ очень жаль, что мало былъ онъ въ Москвѣ, и слѣдовательно не могъ взглядѣться въ наше старинное рисованіе, то-есть въ нашу архитектуру, въ нашу древнюю утварь, въ наше готическое, которое удивительно способно къ разнообразію и прикрасѣ; однако и тутъ попытки у него славныя ³⁾.

¹⁾ В. А. Жуковский незадолго передъ тѣмъ возвратился изъ заграничнаго путешествія, которое онъ совершилъ для возобновленія своего здоровья, ослабленнаго педагогическими трудами.

²⁾ Изданія не состоявшіяся, но для которыхъ собраны были матеріалы. т.-е. выписки всего напечатаннаго въ журналахъ.

³⁾ Альманаховъ тогда выходило очень много. Пушкинъ, увѣжая изъ Петербурга, оставилъ Плетневу формальную, совершенную въ Гражд. Палатѣ довѣренность—входитъ за него въ сношенія съ альманашиками обѣихъ столицъ.

Христа ради, Александръ Сергѣевичъ, стиховъ и прозы, прозы и стиховъ, на обѣдъ, на вино, на лошадей, и Богъ знаетъ на что еще. Прошу помогать.

Напиши мнѣ словечко на имя Ивана Васильевича Кирѣевского, у Красныхъ воротъ, въ домъ Елагиной, въ Москвѣ. Желалъ бы стихотворную піесу, повѣствовательную, способную къ рисунку; ибо на нее то напустилъ бы Г—на.

Остаюсь здѣсь еще нѣсколько дней; потомъ въ Москву, потомъ опять сюда, потомъ опять въ Москву и опять сюда къ Генварю.

Жену твою видѣлъ раза два въ театрѣ. Вяземская воротилась изъ Дерпта. Привези-ка сушеныхъ стерлядей; это очень хорошо; да и балыковъ не мѣшало бы. Все это завязать въ рогожу и подвязать подъ коляску ¹⁾; нѣтъ никакой помѣхи. Твой С.

2.

Чтобы начать съ какого-нибудь опредѣленнаго времени, я думаю, Александръ Сергѣевичъ, начать обзоръ полит. наукъ и литературы съ 3-го десятилѣтія 19-го вѣка, т.-е. съ 1830 г., и потому помѣстить въ Лѣтописецъ: 1) Хронологическое обзоръ, сухое, по годамъ, политическихъ происшествій съ 1830 г.; впоследствии мы можемъ издать его отдѣльною книжкою, которая бы могла быть приплетена къ 1-й части хронологическаго обзоръ происшествій съ начала міра. Я его составляю, а Погодину пошлемъ на ценсировку. 2) Общій взглядъ на состояніе наукъ и литературы въ послѣдніе 4 года въ Европѣ. 1-е и 2-е науки, я могу сдѣлать, 2-е—ваше дѣло; 3-е общее, но подробное обзоръ Русскихъ произведеній въ послѣдніе 4 года: это общими силами; хорошо приложить имъ и краткій каталогъ. 4) Особенныя статьи о нѣкоторыхъ болѣе достопамятныхъ произведеніяхъ, каковы напр. Черная Женщина ²⁾. Далѣе стихотворенія, повѣсти и все что не войдетъ въ вышеупомянутые разряды. Заглавіе Лѣтописца можетъ быть такое: «Современный Лѣтописецъ политики, наукъ и литературы, содержащій въ себѣ обзоръ достопримѣчательнѣйшихъ происшествій въ Россіи и другихъ государствахъ Европы, по

¹⁾ Пушкинъ тогда ѣздилъ въ Заволжье собирать преданія и свѣдѣнія о Пугачевѣ. Князь Одоевскій поручалъ ему въ Сибирскѣ навѣдаться объ его матери, вышедшей вторично замужъ и терпѣвшей отъ мужа невѣрность.

²⁾ Черная Женщина, соч. Николая Греча, 4 ч. Сиб. въ т. Греча 1834 8°. Этотъ романъ нравилъ многимъ читателямъ.

всѣмъ отраслямъ политической, ученой и эстетической дѣятельности съ начала 3-го (последняго) десятилѣтія 19-го вѣка». Часть I.

Надобно бы прискаты и эпиграфъ; я безъ этого жить не могу.

Одоевской.

*

Письмо это относится къ періодическому изданію, которое предполагалось Пушкинымъ еще за долго до Современника, и нѣсколько разъ.

3.

Я хотѣлъ было послать къ вамъ статью Виг.; но у меня перехватила ее редакція Л. П. ¹⁾, которая взялась завтра вамъ ее доставить; между тѣмъ ее переписутъ и пустятъ въ ходъ. Статья прекрасна, но навѣрное уничтожатъ въ ней лучшую половину. Капитанскую Дочь ²⁾ я читалъ два раза сряду и буду писать о ней особо въ Л. Пр. Complimentовъ вамъ въ лице дѣлать не буду—вы знаете все что я объ васъ думаю и къ вамъ чувствую; но вотъ критика не въ художественномъ, но въ читательномъ отношеніи. Пугачевъ *слишкомъ скоро*, послѣ того какъ о немъ въ первый разъ говорится, нападаетъ на крѣпость; увеличеніе слуховъ не довольно растянута: читатель не имѣетъ времени побояться за жителей Вѣлгородской крѣпости, когда она уже взята. Семейство Гринева хотѣлось бы видѣть еще разъ послѣ всей передрыги: хочется знать, что скажетъ Гринева, увидя Машу съ Савельичемъ. Савельичъ чудо! Это лице самое трагическое, т.-е. котораго больше всѣхъ жаль въ повѣсти. Пугачевъ чудесенъ, онъ нарисованъ мастерски. Швабринъ набросанъ прекрасно, но только набросанъ; для зубовъ читателя трудно переменить его переходъ изъ гвардіи офицера въ сообщники Пугачева. По выраженію Іосифа Прекраснаго ³⁾, Швабринъ *слишкомъ умно и тонко*, чтобы повѣрить возможности успѣха Пугачева и недовольно страстенъ, чтобы изъ любви къ Машѣ рѣшиться на такое дѣло. Маша такъ долго въ его власти, а онъ не пользуется этими минутами. Покажѣсть Шва-

¹⁾ Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду, изданіе А. Краевскаго (съ 1837), а до того Воейкова. О статьѣ Виг. (есть?) намъ ничего неизвѣстно.

²⁾ Капит. Дочка появилась въ послѣдней (4-й) кн. Современника 1836 г., проценир. 11 Ноября 1836, въ одинъ день съ 1-й кн. на 1837. Пушкинъ приготавливалъ самъ первую книжку своего журнала на 1837 г., но не кончилъ, и составъ ея, по причинѣ его смерти, былъ образованъ вновь.

³⁾ О. И. Сенковского. Намекъ на его частыя галлицизмы и другіе безчисленные грѣхи противъ Русскаго языка.

бравъ для меня имѣеть много нравственно-чудеснаго; можетъ быть, какъ прочту въ 3-й разъ, лучше пойму. О подробностяхъ не говорю, объ интересѣ тоже: я не могъ ни на минуту оставить книги, читая ее даже не какъ художникъ, но стараясь быть просто читателемъ, добравшимся до повѣсти. Одоевской.

4.

Согласитесь ли вы, Александръ Сергѣевичъ, напечатать у себя *предисловіе* къ книгѣ Сахарова *) вмѣсто объявленія объ оной? Если покажется длинно, то возвратите посылаемый при семъ экземпляръ, а я вамъ напишу простое объявленіе.

Да возвратите 2-ю часть (рукописную), ибо мы хотимъ представить ее въ цензуру, чтобы получить право объявить о подпискѣ; впоследствии я вамъ ее возвращу и велю выписать что вамъ нужно будетъ.

Я боленъ уже двѣ недѣли и никуда не выѣзжаю; еслибы вы заглянули сегодня вечеромъ ко мнѣ.

Одоевской.

Суббота.

Отвѣты А. С. Пушкина князю В. Ѳ. Одоевскому.

1.

Виновать, ваше сіятельство, кругомъ виновать! Приѣхалъ въ деревню, думалъ распишусь; не тутъ-то было. Головная боль, хозяйственные хлопоты, лѣнь барская, помѣщичья лѣнь, такъ одолѣли меня, что не приведи Боже. Не дожидаетесь Бѣлкина; не на шутку, видно, онъ покойникъ: не бывать ему на новосельѣ ни въ гостинной Гомозѣйки, ни на чердакѣ Панькѣ. Недостойнъ онъ, видно, быть въ ихъ компаніи... А куда бы не худо до погреба-то добраться! Теперь донесу вашему сіятельству, что, будучи въ Симбирскѣ видѣлъ я скромную отшельницу, о которой мы съ вами говорили передъ моимъ отъѣздомъ. Не дурна. Кажется, губернаторъ гораздо усерднѣе покровительствуетъ ей, нежели губернаторша. Вотъ все что я могъ замѣтить. Дѣло ея, кажется, кончено. Вы обрадовали меня извѣстіемъ о Жуковскомъ.

*) Вѣроятно говорится о „Сказаніяхъ Русскаго народа“, первое изданіе коихъ появилось въ 1836—1837 годахъ. Пушкинъ оказывалъ особенное вниманіе къ трудамъ И. П. Сахарова.

сять 3,000,000 на попытку. Дѣло о новой дорогѣ касается частныхъ людей: пускай они и хлопочуть. Все что можно имъ обѣщать—такъ это привилегію на 12 или 15 лѣтъ. Дорога (железная) изъ Москвы въ Нижній Новг. еще была бы нужнѣе дороги изъ Москвы въ П. Б. И мое мнѣніе было бы: съ нея и начать.... Я конечно не противъ железныхъ дорогъ; но я противъ того, чтобъ этимъ занялось правительство. Нѣкоторыя возраженія противу проэкта неоспоримы. На примѣръ: о заносѣ снѣга. Для сего должна быть *выдумана* новая машина, sine qua non; о высылкѣ народа, или о наймѣ работниковъ для сметанія снѣга, нечего и думать: это нелѣпость.

Статья Волкова писана живо, остро; О. ¹⁾ отдѣланъ очень смѣшно; но не должно забывать, что противу жел. дорогъ были многіе изъ Госуд. Совѣта, и *тоизъ* статьи вообще долженъ быть очень смягченъ. Я бы желалъ, чтобъ статья была напечатана особо, или въ другомъ журналѣ; тогда бы мы объ ней представили выгодный отчетъ съ обильными выписками.

Я согласенъ съ вами, что эпиграфъ, выбранный Волковымъ, неприличенъ. Слова Петра I были бы всего болѣе приличны.

*

Директоръ Троицкой железной дороги, Федоръ Васильевичъ *Чижовъ*, которому мы сообщали это письмо, присоединилъ къ нему слѣдующую замѣтку: «*Волковъ*, вѣроятно Матвѣй Степановичъ Волковъ, полковникъ инженеровъ путей сообщенія, бывший профессоромъ строительнаго искусства, который потомъ долго жилъ въ Парижѣ и писалъ о френологіи, также статьи по части политической экономіи, помѣщенные имъ въ Journal des Économistes. Кромѣ того онъ перевелъ на Русскій языкъ съ Нѣмецкаго извѣстное политико-экономическое сочиненіе Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und Nationalöconomie etc. etc. von *Thunen*, написалъ Principes philosophiques и другія сочиненія. Когда Пушкинъ писалъ это письмо, железныхъ дорогъ было еще весьма мало; именно они строились въ слѣдующемъ историческомъ порядкѣ:

	УТВЕРЖДЕНА ПОСТРОЙКА.		НАЧАЛОСЬ ДВИЖЕНІЕ.
Въ Англіи	—	1821	—
› Америкѣ	—	1827	—
› Франціи	—	1823	—
› Австріи	—	1826	—
› Бельгіи	—	1834	—
› Баваріи	—	1834	—
› Саксоніи	—	1635	—
› Пруссіи	—	1837	—
› Россіи (отъ Спб. до Царскаго Села	—	1837	—

¹⁾ Сочинитель нелѣпой статьи противъ железныхъ дорогъ, кажется Отрѣшковъ.

«Противъ желѣзныхъ дорогъ въ Россіи былъ человѣкъ высокаго ума, огромныхъ знаній и самыхъ ясныхъ практическихъ соображеній—министръ финансовъ графъ Канкринъ; во Франціи министръ Тьеръ. Сибгочистителя тогда, когда писалъ Пушкинъ, не было и въ поминѣ, да и теперь онъ не на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ».

О НАПАДЕНІЯХЪ ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ЖУРНАЛОВЪ НА РУССКАГО ПОЭТА ПУШКИНА ¹⁾.

Статья В. Ѡ. Одоевскаго.

Съ нѣкотораго времени у журналистовъ вошло въ обыкновеніе не обращать вниманія на статьи, помѣщаемыя въ С. Пчелѣ. Мы не можемъ одобрить этого равнодушія. Не должно забывать, что, сколь ни мало вліянія производилось С. Пчелою на публику, С. Пчела есть *единственная* въ Россіи политико-литературная газета, что С. Пчела есть *единственный* въ Россіи *ежедневный* листокъ, что статья, которая бы осталась незамѣченною въ книжкѣ, сама бросается въ глаза, когда напечатана на листкѣ, что эту статью прочтеть и человѣкъ, выписывающій С. Пчелу лишь для политическихъ извѣстій, прочтеть невольно и литераторъ, потому что она попадетъ ему подъ руку.

Правда, съ нѣкотораго времени С. Пчела облѣвилась, увѣренная въ равнодушія своихъ читателей не-литераторовъ, полагаясь на свою *единственность* въ нашей журналистикѣ. Изможденная справедливыми упреками другихъ изданій, она живетъ простою корректурною жизнію; но иногда изъ подтишка является на сцену ея тактика, и въ какомъ-нибудь углу листа пропалзываетъ статейка, которую нельзя читать безъ негодованія и которую не должно оставлять безъ отвѣта.

Такова между прочимъ статья, помѣщенная въ С. Пчелѣ по поводу перевода Полтавы Пушкина, статья, которую можно назвать сокращеніемъ всего того, что С. Пчела, Сынъ Отечества и Вибл. для Чтенія, подъ разными видами, съ нѣкотораго времени стараются втолковать своимъ читателямъ ²⁾.

¹⁾ Статья эта написана въ 1836; но въ то время ее негдѣ было напечатать, потому что въ Петербургѣ не было литературныхъ изданій, кромѣ тѣхъ, противъ которыхъ она направлена.

²⁾ Относится къ статьѣ П. М—скаго о переводѣ Полтавы на Малоросс. языкъ Б. П. Гребенки. Свѣд. Пчела 1836, № 162. „Мечты и вдохновенія свои онъ погасилъ срочными статьями и журнальною полемикою; князь мысли сталъ работою толпы; орелъ спустился съ облаковъ для того, чтобы крыломъ своимъ ворочать тяжелыя колеса мельницъ.“ Вотъ что говорилось о Пушкинѣ!

Здѣсь для людей, не слѣдовавшихъ за литературною тактикою нѣкоторыхъ журналовъ, надобно войти въ нѣкоторыя объясненія.

Было время, когда Пушкинъ, беззаботный, безпечный, бросалъ свой драгоценный бисеръ на всякомъ перекресткѣ; смѣтливые люди его подымали, хвастались имъ, продавали и наживались; ремесло было прибыльно: стоило надоѣсть поэту и пустить въ воздухъ нѣсколько фразъ о своемъ безкорыстїи; о любви къ наукамъ и къ литературѣ. Поэтъ вѣрилъ на слово, потому что имѣлъ похвальное обыкновеніе даже не заглядывать въ тѣ статьи, которыя помѣщались рядомъ съ его произведеніями. Тогда всѣ литературные промышленники стояли на колѣняхъ предъ поэтомъ, курили предъ нимъ оміамъ похвалы заслуженной и незаслуженной; тогда, если кто-либо, истинно благоговѣющій предъ поэтомъ, осмѣливался сказать, что онъ несогласенъ съ тѣмъ или другимъ мнѣніемъ Пушкина—о, тогда! тогда горящія уголья сыпались на главу не кстати откровеннаго рецензента. Поэтъ вспоминаеть объ этомъ времени въ Евгѣніи Онѣгинѣ:

Прочелъ изъ нашихъ кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Гдѣ поученья намъ твердятъ,
Гдѣ нынче такъ меня бранятъ,
А гдѣ такіе мадригалы
Себѣ встрѣчалъ я иногда!
E sempre bene, господа!

Но есть время всему. Пушкинъ возмужалъ, Пушкинъ понялъ свое значеніе въ Русской литературѣ, понялъ вѣсь, который имя его придавало изданіямъ, удостоиваемымъ его произведеній; онъ посмотрѣлъ вокругъ себя, и былъ пораженъ печальною картиною нашей литературной расправы,—ея площадною бранью, ея коммерческимъ направленіемъ, и имя Пушкина исчезло на многихъ, многихъ изданіяхъ. Что было дѣлать тогда литературнымъ негоціантамъ? Нѣкоторое время они продолжали свои похвалы, думая своимъ оміамомъ умиловать поэта. Но все было тщетно! Пушкинъ не удостоивалъ ихъ ни крупницею съ роскошнаго стола своего, и негоціанты, зная что въ ихъ рукахъ находится исключительное право литературной жизни и смерти, рѣшились испытать, нельзя ли имъ обойтись безъ Пушкина. И замолкли похвалы поэту. Замолкли когда же? Когда Пушкинъ издалъ *Полтаву* и *Бориса Годунова*, два произведенія, доставившія ему прочное, неоспоримое право на званіе перваго поэта Россїи! Объ

нихъ почти никто не сказалъ ни слова, и это одно молчаніе говорить больше, нежели всѣ наши такъ называемыя разборы и критики.

Между тѣмъ новая гроза готовилась противъ поэта. Онъ не могъ быть равнодушнымъ зрителемъ нашей литературной анархіи, и несчастные промышленники открыли или думали открыть въ *Литературной Газетѣ*, съ *Московскомъ Вѣстникѣ* нѣкоторыя статьи, носившія на себѣ печать той силы, той проникательности, того умѣнья въ немногихъ словахъ заковывать много мыслей, которыя доступны только Пушкину, и наконецъ той неумолимой насмѣшки, которая не прощала ни одной торговой мысли, которая на лилипутовъ накладывала печать неизгладимую и которой многіе изъ рыцарей-промышленниковъ, противъ воли, одолжены безсмертіемъ.

Что было дѣлать? Тяжело гнѣвъ поэта! Тяжело признаться предъ подписчиками, что Пушкинъ не участвуетъ въ томъ или другомъ изданіи, что онъ даже явно обнаруживаетъ свое негодованіе противъ людей, захватившихъ въ свои руки литературную монополію. Придумано другое: нельзя-ли доказать, что Пушкинъ началъ ослабѣвать, то есть именно съ той минуты, какъ онъ пересталъ принимать участіе въ журналахъ этихъ господъ? Доказать это было довольно трудно: Полтава, Борисъ Годуновъ, несмѣтное множество мелкихъ произведеній, какъ драгоценныя перлы, катились по всѣмъ концамъ святой Руси. Нельзя ли читателей приучить къ этой мысли, намекая объ пей стороною, съ видомъ участія, сожалѣнія?... Надъ этимъ похвальнымъ дѣломъ трудились многіе, трудились прилежно и долго.

Въ статьѣ С. Пчелы, подавшей поводъ къ нашимъ замѣчаніямъ, эта мысль выражена очень просто и ясно; тамъ осмѣливаются говорить прямо, что Пушкинъ свергнутъ съ престола (*détrôné*),—кѣмъ? неужели С. Пчелою? Нѣтъ, это уже слишкомъ!... Какъ? Пушкинъ, эта радость Россіи, наша родная слава, Пушкинъ, котораго стихи знаетъ наизусть и поетъ вся Россія, котораго всякое произведеніе есть важное событіе въ нашей литературѣ, котораго читаетъ ребенокъ на колыняхъ матери, и ученый въ кабинетѣ,—Пушкинъ, одинъ человекъ, на котораго сама С. Пчела съ гордостію укажетъ на вопросъ иностранца о нашей литературѣ, Пушкинъ разжалованъ изъ поэтовъ С. Пчелою? Кого же, господа, скажите, Бога для, вы сыскали на его мѣсто: творца Выжигиныхъ, Алек. Анеимовича Орлова, или барона Брамбеуса? *) Но негодованіе полное, невольное возбуждаемое

*) Псевдонимъ Сенковского, принадлежавшаго тогда къ партіи Сѣверной Пчелы. Равновѣсія между друзьями и соотчичами послѣдовала позже.

во всякомъ Русскомъ сердцѣ при такомъ извѣстїи, исчезаетъ, когда вы дойдете до причины, приведенной С. Пчелою такому несчастію. Знаете ли, отъ чего Пушкинъ пересталъ быть поэтомъ? Рецензентъ, пишущій подъ вдохновеніемъ С. Пчелы, въ своей младежеской душѣ отыскалъ лишь слѣдующую причину: «Пушкинъ уже больше не поэтъ, потому что издастъ журналъ».

Было бы смѣшно возражать на такое обвиненіе, было бы обидно для читателей, если бы мы стали вспоминать, что Карамзинъ и Жуковский, Шиллеръ и Гёте были журналистами; мы оставимъ въ покоѣ невинность рецензента С. Пчелы, но обратимся къ его учителямъ, или къ тѣмъ людямъ, которые лучше должны понимать: отъ чего Пушкинъ издастъ то чтó вы называете журналомъ ¹⁾.

Многимъ было непріятно это извѣстїе; нѣкто до того простеръ свою пронизательность, что разбранилъ Современникъ прежде его появленія, и написалъ цѣлую статью о программѣ этого журнала, когда этой программы не существовало. Все это понятно; но скажите откровенно, кто виноватъ въ этомъ? Кто виноватъ, если Пушкинъ принужденъ былъ издать особою книгою свое собраніе отдѣльныхъ статей о разныхъ предметахъ? Не кажется ли вамъ это горькимъ упрекомъ? ²⁾.

Если ктонибудь въ нашей литературѣ имѣетъ право на *злость*, то это безъ сомнѣнія Пушкинъ. Все даетъ ему это право: и его поэтической талантъ, и пронизательность его взгляда, и его начитанность, далеко превышающая лексиконыя познанія большей части изъ нашихъ журналистовъ; ибо Пушкинъ не останавливался на своемъ

¹⁾ Враги Пушкина называли безпрестанно „Современникъ“ *журналомъ*—не спраста; здѣсь было указаніе ценсурѣ на то, что Пушкинъ дѣлаетъ нѣчто недозволенное, ибо Современникъ былъ разрѣшенъ ему какъ *сборникъ*, а не какъ *журналъ*. Въ настоящее время всѣ эти прощья непонятны, но тогда могли имѣть весьма важное и непріятное для издателя значеніе. Тогдашняя Сѣверная Пчела, вообще весьма теперь любопытная, вся наполнена такими штучками. Поляки крѣпко стояли другъ за друга. Вновь появившаяся въ недавнее время странная мысль о превосходствѣ какого-то Польскаго шахматскаго просвѣщенія надъ Русскимъ постоянно проводилась уже тогда въ разныхъ видахъ. Тогдашняя цензура не обратила на это вниманіе, и изданія въ родѣ Сѣверной Пчелы считались тогда самыми благонамѣренными. Такой взглядъ ценсуры давалъ этимъ изданіямъ возможность сколь возможно чернить все Русское и въ особенности писателей, не принадлежавшихъ къ Польской партїи. Недаромъ Поляковъ воспитывали іезуиты. Дерзость и ослѣпленіе простиралась до того, что было предпринято изданіе *нашего* словаря Русскаго языка, гдѣ вводились въ примѣры полонизмы и варваризмы Сениковского. Первый выпускъ съ введеніемъ былъ отпечатанъ и пущенъ въ публику. Такая штучка никого не удавила. К. В. О.

²⁾ Въ Сѣв. Пчелѣ (1836 г., № 127—129) былъ помѣщенъ крайне неблагопріятный разборъ 1-й кн. Современника; разбиралъ Булгаринъ.

пути, господа, какъ то случается часто съ нашими литераторами: онъ, какъ Гёте и Шилеръ, умѣетъ читать, трудиться и думать; онъ— поэтъ въ стихахъ, и Бенедиктинецъ въ своемъ кабинетѣ; ни одно изъ таинствъ науки имъ не забыто,—и счастливецъ! онъ умѣетъ освѣщать обширную массу познаній своимъ поэтическимъ ясновидѣніемъ. Ему ли не имѣть голоса въ нашей литературѣ?

Но гдѣ бы онъ нашелъ мѣсто для своего голоса? Укажите! Не тамъ ли, гдѣ каждая ошибка великаго человѣка принимается какъ подарокъ съ восхищеніемъ? Или тамъ, гдѣ посредственность, преклоняющаяся предъ литературными монополистами, возносится до небесъ, а имена Шеллинговъ, Шампольоновъ и Гаммеровъ произносятся лишь для насмѣшки? Или тамъ, гдѣ попираются ногами всѣ живыя, всѣ возвышающія душу человѣка мысли, и гдѣ на ихъ мѣсто ставится вялый, бессмысленный скептицизмъ, даже не поддерживаемый поэтическимъ юморомъ? Или тамъ, гдѣ въ продолженіе цѣлаго года не найдешь ни одной строчки, надъ которою бы можно было остановиться? Или, гдѣ нравы лучшаго образованнаго общества осмѣиваются людьми, которые не бывали и въ передней? Или тамъ, гдѣ, кажется, существуетъ постоянный заговоръ противъ всякой безкорыстной мысли, противъ каждаго благодѣтельнаго открытія? Или тамъ, гдѣ незнающіе Русскаго языка хотятъ ввести для него свои законы и объявляютъ себя *перепращиками* всей Русской и иностранной литературы? Или тамъ, гдѣ пышныя похвалы суть слѣдствія домашней сдѣлки для продажи собственныхъ произведеній? Или тамъ, гдѣ творецъ Выжигина ставится на ряду съ Вальтеромъ Скоттомъ? Или тамъ, гдѣ путешествіе въ Медвѣжьей островъ ставится на ряду съ Фаустомъ и выше Манорета? *)

*) Здѣсь идетъ рѣчь о нелѣпыхъ и невѣжественныхъ статьяхъ Сенковского, которыми Булгаринъ писалъ самыя восторженныя похвалы и сравнивалъ Сенковского съ Гёте и Байрономъ. Булгарина же ставили въ рядъ съ Вальтеръ-Скоттомъ. Сенковский, плохо зная Русскій языкъ и безпрестанно употребляя полонизмы, хотѣлъ увѣрить, что онъ открылъ новые законы Русскаго языка. За это однакожъ ему досталось отъ Н. И. Греча, который хотя и былъ однимъ изъ издателей Сѣверной Пчелы, но держалъ себя поодаль отъ ея литературныхъ дрягговъ и далеко не одобрялъ хвастливой заносчивости Поляковъ, захватившихъ тогда въ руки почти всѣ журналы и пользовавшихся особымъ покровительствомъ, не смотря на всеобщее негодованіе. Многие были вполне убѣждены, что все погибнетъ, если у городскихъ заставъ снимутъ шлагбаумы (о семъ тогда уже шла рѣчь), а равно, если будетъ дозволена политическая газета кому-либо кромѣ Булгарина или Сенковского. Невообразимо, сколько было употреблено тонкости для уничтоженія Телеграфа. Одинъ глубокомысленный господинъ, и не безъ вѣса, громко говорилъ, что лучше монополія въ рукахъ людей, съ которыми нечего церемониться, чѣмъ распространеніе журналовъ; а между тѣмъ именно въ привилегированныхъ журналахъ

Такое ли направление Пушкинъ долженъ поддерживать своимъ именемъ? Тщетные замыслы! Они не удадутся—плачьте и рвитесь, преслѣдуйте поэта камнями: они обратятся на васъ же... Ни одна строка Пушкина не освятитъ страницъ, на которыхъ печатается во всеуслышаніе то, что противно его литературной и ученой совѣсти. Да что вамъ и нужды до этого; печатайте, издавайте, никто вамъ не мѣшаетъ; вы имѣете свой кругъ читателей, людей, которые вамъ удивляются, свои алтари; довольствуйтесь ими—книга Пушкина не отобьетъ у васъ читателей: онъ не искусенъ въ книжной торговлѣ, это не его дѣло. Его дѣло: показать хоть потомству изданіемъ своего,—даже дурнаго журнала,—что онъ не участвовалъ въ той гнусной монополіи, въ которой для многихъ заключается литература. Этотъ долгъ на него налагается его званіемъ поэта, его званіемъ перваго Русскаго писателя.

Переходя отъ частнаго случая къ общему состоянію нашей литературы, нельзя не пожалѣть и не подивиться, по какой причинѣ никто другой изъ извѣстныхъ нашихъ литераторовъ, пользующихся всеобщимъ уваженіемъ, которымъ ихъ таланты, благонамѣренность и образованность давали бы полное право на довѣренность читателей, не издають такой *ежедневной* газеты, какова С. Пчела? Въ этомъ была бы выгода для самой С. Пчелы: имѣя рядомъ съ собою соперника, владѣющаго *одинаковымъ* оружіемъ, она была бы осторожнѣе въ своихъ мнѣніяхъ, осмотрительнѣе въ выборѣ статей, и недозрѣлыя, ошибочныя, а иногда (кто безъ грѣха?) и страстями внушенныя сужденія о литературныхъ произведеніяхъ, не сбивали бы съ толку простодушныхъ читателей. Когда будетъ конецъ этому литературному диктаторству? Потребность читать распространяется съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе, а читать нечего. Вообразите себѣ литературныя мнѣнія человѣка, который читаетъ одну С. Пчелу! Между тѣмъ С. Пчела есть *единственная* у насъ литературная газета. Вообразите себѣ этотъ хаосъ противорѣчій, самохвальства, пристрастныхъ мнѣній, незнанія самыхъ обыкновенныхъ вещей въ наукахъ и искус-

и проводилось враждебное Россіи Польское направленіе, котораго результаты оказались лишь въ послѣдствіи. Въ одной статьѣ Библиотеки для Чтенія прямо доказывалось, что козаки были не что иное, какъ хлопъ Польской шляхты, и это, при неизмѣримо строгости во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, спокойно пропускалось. Вообще эта эпоха невѣжественнаго и вреднаго Польскаго диктаторства въ нашей литературѣ и журналистикѣ, нынѣ едва понятная, весьма любопытна и поучительна. Она ждет своего историка, наравнѣ съ эпохою Магницкаго, Рунича и Фотія. Собственно для Польско-журнальной эпохи матеріалы готовы—въ журналахъ того времени, начиная съ появленія „Телеграфа“. Полеваго и бури имѣе поднятой въ Польскомъ гвѣздѣ. К. В. О.

ствахъ, за который читатели платятъ ежегодно, можетъ быть до 200,000 рублей. Еслибы С. Пчела была даже отличною, ученою газетою, то и тогда для читателей вредно было бы всякой день слушать одного и того же критика, и рѣшительно можно сказать, что до тѣхъ поръ у насъ не будетъ той благодѣтельной критики, которую нѣкогда установилъ въ Германіи Лессингъ, которая очистила дорогу для Шиллера и Гёте, которая способствуетъ утверженію ясныхъ понятій въ наукахъ и чистаго вкуса въ искусствахъ, пока у насъ не будетъ по крайней мѣрѣ *двухъ или трехъ* литературно-критическихъ газетъ. Кажется, требованіе не велико. Въ семь случаевъ укоръ всѣхъ благонамѣренныхъ людей падаетъ на всѣхъ тѣхъ нашихъ умныхъ, ученыхъ и благомыслящихъ литераторовъ, которые видятъ въ литературѣ самобытную цѣль, а не средство для коммерціи.

ПИСЬМО АРКАДІЯ ГАВРИЛОВИЧА РОДЗЯНКИ КЪ А. С. ПУШКИНУ.

Лубны, 10-го Мая 1825 года.

Виновать, сто разъ виновать предъ тобою, любезный и дорогой мой Александръ Сергѣевичъ, не отвѣчая три мѣсяца на твое неожиданное и пріятнѣйшее письмо. Излагать причины моего молчанія и не нужно, и излишне: лѣнь моя главною тому причиною, и ты знаешь, что она никогда не перемѣнится, хотя Анна Петровна *) ужасно какъ моетъ за это выраженіе мою грѣшную головушку; но, не смотря на твое хорошее мнѣніе о моихъ различныхъ способностяхъ, я становлюсь въ тупикъ въ нѣкоторыхъ вещахъ, и во первыхъ, въ отвѣтъ къ тебѣ. Но сдѣлай милость, не давай воли своему воображенію и не дѣлай общему моему неодолимоу лѣни; скромность моя и молчаніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ должны стоять вмѣстѣ обвинителями и защитниками ея. Я тебѣ похваляюсь, что, благодаря этой же лѣни, я постоянно въ всѣхъ Амадисовъ и Польскихъ, и Русскихъ. И такъ одна трудность перемѣны и искренность моей привязанности составляютъ мою добродѣтель; *следовательно*, говоритъ Анна Петровна, *немного стоитъ добродѣтель ваша*; а она соблюдаетъ молчаніе, знакъ согласія, и справедливо. Скажи пожалуй, что вздумалось тебѣ такъ клепать на меня? За какія проказы? За какія шалости?

Но довольно, пора говорить о литературѣ съ тобою, нашимъ Корифеемъ.

Приписка А. П. Кернъ въ серединѣ письма:

„Ей Богу, онъ ничего не хочетъ и не намѣренъ вамъ сказать! Насилу упростила! Если бы вы знали, чего мнѣ это стоило! Самой бездѣлки: придвинуть стулъ, дать перо и бумагу и сказать — *пишите*. Да спросите, сколько разъ повторить это должно было! *Repetitia est mater studiorum.*“

Зачѣмъ же во всемъ требуютъ уроковъ, а еще болѣе повтореній? Жалуюсь тебѣ, какъ новому Оберону: отсутствующій, ты имѣешь гораздо болѣе вліянія на *ее*, нежели я со всѣмъ моимъ присутствіемъ. Письмо твое меня гораздо болѣе поддерживаетъ, нежели все мое краснорѣчіе.

Приписка А. П. Кернъ въ серединѣ письма:

„Je vous proteste qu'il n'est pas dans mes fers!“ *)...

А чья вина? Вотъ теперь задумала мириться съ Ермолаемъ Федоровичемъ **): снова пришло остывшее давно желаніе имѣть законныхъ дѣтей, и я пропалъ. Тогда можно было извиниться молодостію и неопытностію, а теперь чѣмъ? Ради Бога, будь посредникомъ.

Приписка А. П. Кернъ въ серединѣ письма:

„Ей Богу я этихъ строкъ не читала!“

Но заставила ихъ прочесть себѣ 10 разъ. Тѣмъ-то Анна Петровна и очаровательнѣе, что, со всѣмъ умомъ и чувствительностію образованной женщины, она изобилуетъ такими дѣтскими хитростями. Но прощай, люблю тебя и удивляюсь твоему генію, и восклицаю:

О, Пушкинъ, мотъ и расточитель
Даровъ поэзиі святой,
И молодежи удалой
Герофантъ и просвѣтитель,
Любезный женщинамъ творецъ,
Пѣвецъ Разбойниковъ, Цыгановъ.
Безумцевъ, рыцарей, Руслановъ,
Скажи, чего ты не пѣвецъ?

Моя поэма *Чуйка* скончалась на тѣхъ отрывкахъ. что я тебѣ читалъ.
а двѣ новыя сатиры пошлю въ Мартъ напечатать.

Аркадій Родзянко.

*) Увѣряю васъ, что онъ не въ моихъ оковахъ.

**) Т.е. съ своимъ мужемъ. Къ этому относятся извѣстные стихи Пушкина въ посланіи къ Родзянкѣ:

„Хвалю, мой другъ, ея охоту
Поотдохнуть рожать дѣтей“.

ПИСЬМА В. А. ТУМАНСКАГО КЪ ПУШКИНУ.

(СПИСАНЫ СЪ ПОДЛИННИКОВЪ).

Одесса, Марта 2-го 1827.

Ты совершенно правъ, любезный мой соловей, приписывая мое безвиное молчаніе не охлажденію дружбы, а чему-то непонятному. По пріѣздѣ моемъ въ Одессу я писалъ къ тебѣ два раза и, полагая, что ты будешь въ Петербургѣ, адресовалъ мои письма на имя Греча, какъ человѣка, который тебя тамъ увидитъ. Случилось совсѣмъ противное: ты не ѣздилъ на Сѣверъ, и три мѣсяца я не зналъ совершенно гдѣ ты и что съ тобой. Очень радъ, что Москва тебя приютила; постоянная жизнь на одномъ мѣстѣ доставитъ тебѣ возможность обрадовать меня, твоего приморскаго друга, своими вѣсточками. Я бы желалъ однако, чтобы ты выписалъ отъ Греча хотя первое мое письмо: въ немъ были вещи, для тебя любопытныя. Между тѣмъ послѣ того произошли у насъ значительныя перемѣны. Большая Нарышкина уѣхала въ деревню и по послѣднимъ извѣстіямъ обречена могилѣ. У нея какой-то новый родъ удушливой болѣзни. О графѣ Воронцовѣ рѣшительно никакихъ извѣстій не имѣемъ: какъ въ воду канулъ. Графъ Паленъ ведетъ себя прелестно: порядоченъ въ дѣлахъ, въ обращеніи милъ и любезенъ и, какъ колюстикъ, принимаетъ приглашенія на обѣды и вечера. Аристократизма въ немъ очень мало. Одна изъ нашихъ новостей, могущая тебя интересовать, есть женитьба Ризнича на сестрѣ Собаньской, Виттовой любовницы. Въ приданое за нее получилъ Ризничъ въ будущемъ 6000 черв., а въ настоящемъ Владимирскій крестъ за услуги оказанныя Одесскому Лицею. Надобно знать, что онъ въ Лицеѣ никогда ничего не дѣлалъ. Новая м-мъ Ризничъ вѣроятно не заслужитъ ни твоихъ, ни моихъ стиховъ по смерти: это малютка съ большимъ ртомъ и съ Польскими ухватками. Домъ ихъ доселѣ не открывался для нашей братьи. Кругъ молодежи почти тотъ же. Отсут-

ствіе Казначеева, прискорбное для насъ какъ отсутствіе добраго чело-
вѣка, въ ходѣ дѣлъ никакой перемѣны не сдѣлало. Все идетъ до-
вольно хорошо или довольно дурно—какъ на кого. Раевскій уѣхалъ
въ Кіевъ и Богъ вѣсть когда назадъ будетъ. Въ послѣднее время сво-
его пребыванія въ Одессѣ онъ сталъ еще болѣе мрачнымъ, злымъ
и разочарованнымъ. У насъ теперь жандармы: Бибииковъ, Шервудъ-
Вѣрний и еще двое мало извѣстныхъ. Инструкцію, циркулярно имъ
данную отъ Бенкендорфа, вѣроятно вы имѣете въ Москвѣ. Мнѣ въ ней
очень нравится статья о наблюденіи за нравами и вообще за пове-
деніемъ молодыхъ людей. Содержатели трактировъ и.... хотятъ подать
прошеніе на эту статью.

Приступимъ теперь къ литературѣ. Русская моя душа радуется,
видя, что центръ просвѣщенія наконецъ переведенъ въ Москву. Влія-
ніе этого отечественнаго города, отдаленнаго отъ двора, будетъ бла-
гопріятно для нашей словесности. Теперь уже Московскіе журналы да-
леко обогнали Петербургскіе. Не будь въ бездѣйствіи, милый другъ, и
подстрекай тамошнюю молодежь къ занятіямъ полезнымъ. Не худо бы
составить общество молодыхъ людей для перевода хорошихъ книгъ по
части наукъ, искусствъ и политической экономіи, особенно съ Нѣмец-
каго и Англійскаго языковъ. Да пусть у васъ прозой понеже пи-
шутъ! Кромѣ статей Вяземскаго, писанныхъ его слономъ, но правильно,
сильно и остроумно, нельзя читать вашихъ прозаическихъ статей. Что
за охота Погодину печатать историческія мысли, которыя внесутся
въ исторію нашей словесности какъ примѣры галиматіи? Что же ка-
сается до теоріи изящныхъ искусствъ, то ее трудно налагать, подобно
Шевыреву, въ разговорахъ; а пусть онъ займется математическимъ
изложеніемъ сего предмета хоть въ нѣсколькихъ статьяхъ, по новой
эстетикѣ. Это будетъ полно, и слѣдственно понятно. Критика: Титова
на Аллегоріи Глинки, кромѣ двухъ трехъ разныхъ идей, есть образецъ
вкуса, благопристойности и справедливости. Пожалуйста не скупись
и присылай мнѣ твой журналъ: я готовъ въ немъ участвовать, чѣмъ
Богъ послалъ. У Левшина возьму славную для васъ статью изъ 3-го
тома его описанія Киргизовъ, а между тѣмъ самъ займусь для тебя
поденною прозой. Стиховъ частицу при семъ посылаю. Я бы желалъ,
чтобы вы прежде всего напечатали стихи: *Къ Гречанинъ*. Я люблю эту
пѣсню потому, что написалъ въ ночь послѣ бала и ужина, полуспя-
ный и психически влюбленный. Въ ней есть какая-то дерзость выра-
женій, къ которой я обыкновенно не привыкъ. Впрочемъ, владыки,
какъ повелите такъ и будетъ. Исправлять, убавлять и прибавлять въ
моихъ пѣсахъ даю тебѣ полное право... Я прилагаю и свой отрывокъ
объ Одессѣ. За симъ цѣлую тебя въ быстрыя очи и въ медовыя уста.

Исполни мою просьбу на счет высылки журнала и самъ ниши, голубчикъ. Помолъ Вяземскому, Баратынскому и Соболевскому, котораго прошу извинить, что на отвѣчаю: писать нечего.

Ө. Туманскій.

Я думаю имя выставлять всюду подъ своими пьесами: c'est le bon ton à présent.

2.

Одесса, Апрѣля 12-го 1827.

Безсовѣстный, безсовѣстный! Такъ-то ты отвѣчаешь на мои письма! На два посланія мои: ни словечка въ отвѣтъ, а «Одессу» печатаешь и всегдѣ объявляешь, что я въ Одессѣ. Эта лѣнь имѣетъ въ себѣ нѣчто Азіатское и потому непростительна въ человѣкѣ столь Европейскомъ по уму, по характеру, по просвѣщенію, по стихамъ, по франтовству и по Московскому Вѣстнику. Исправляйся, милый Пушкинъ—не то буду писать къ тебѣ безпрестанно, испишу цѣлыя стопы бумаги, и въ причиненныхъ мнѣ *чрезъ сіе* убыткахъ подамъ на тебя доносъ прямо въ жандармскій штабъ.

Зачѣмъ не печатаешь монѣ стиховъ? Дурны что-ли? Жги ихъ безъ пощады. Ужъ не ко мнѣ ли относится объявленіе, помѣщенное въ 6-й книжкѣ?.. Не думаю, а все таки смѣла его не понимаю. Нѣтъ ли тамъ какой опечатки? Какъ главнаго духа Московскаго Вѣстника, порадую тебя извѣстіемъ, что у насъ читаютъ его съ необыкновеннымъ восхищеніемъ. Все, что есть порядочнаго въ городѣ, прославляетъ тебя и Погодина. Даже графъ Паленъ *), не взирая на малое знаніе Русскаго языка, беретъ у меня ваши книжки и судитъ (обыкновенно весьма основательно) о вашихъ статьяхъ. Чуть ли еще не вытвердилъ онъ нѣсколькихъ стиховъ изъ твоего Годунова! Отъ себя скажу одно: напрасно Погодинъ печатаетъ въ журналѣ отрывки изъ сочиненій, имѣющихъ большое достоинство въ *цѣломъ* (какова физ. геогр. Европы Риттера), но которыхъ по клочкамъ не любятъ разбирать читатели. Въмѣсто отрывковъ изъ подобныхъ сочиненій, лучше написать особую журнальную статью, въ которой ясно, подробно и справедливо изложить планъ, достоинство, пользу его, новостъ мыслей автора и потомъ объявить, что оно переведено на Русскій языкъ и вскорѣ представлено будетъ публикѣ, или пожелать, чтобы скорѣе было переведено.—Кстати о переводахъ: съ живѣйшимъ удовольствіемъ читалъ я увѣдомленіе о

*) Графъ Федоръ Петровичъ Паленъ, за отъѣздомъ въ Англію графа М. С. Воронцова управлялъ въ то время Новороссійскими вѣсками. Д. В.

приготовленіи къ печати многихъ прекрасныхъ сочиненій; но зачѣмъ бы, кажется, говоря о необходимости общества для изданія такихъ книгъ, не предложить просвета самаго общества? Новѣрьте, что оно найдетъ многихъ усердныхъ членовъ. Мы за себя стоимъ. Вся наша молодежь на жалованьи готова отдать часть онаго, чтобъ участвовать въ столь полезномъ предпріятіи. И во многихъ другихъ городахъ будетъ то же. Сдѣлай милость, любезный Пушкинъ, не забывай, что тебѣ на Руси предназначено играть роль Вольтера (разумѣется въ отношеніи къ истинному просвѣщенію). Твои связи, народность твоей славы, твоя голова, поселеніе твое въ Москвѣ—средоточіи Россіи, все даетъ тебѣ лестную возможность дѣйствовать на умы съ успѣхомъ, гораздо обширнѣйшимъ протѣвъ прочихъ литераторовъ. Съ высоты твоего положенія долженъ ты все наблюдать, за всѣми надсматривать, сбивать головы похищенными репутаціямъ и выводить въ люди скромные таланты, которые за тебя же будутъ держаться. Что за идея пришла Баратынскому писать столь негодными стихами, какъ вы напечатаны въ Сѣверной Пчелѣ изъ его посланія къ Богдановичу! *Мерани—задумчивые орки* и проч. похоже на лай собаки, а не на наивъ его свядкогласной лиры. Да и что за водевильныя мысли во всей пьесѣ! Слово шуточка Плагонамъреннаго. Я его уважаю и люблю, а потому прошу ему попенять за эти проступки. Я, помнится, читалъ тебѣ въ прошломъ году эпиграмму, написанную мною на чужестранный ладъ нашей поэзіи... (конца нѣтъ).

3.

Одесса, Апрѣля 20-го 1827.

По прошедшей почтѣ послалъ я тебѣ *Одесскій Вѣстникъ*, который издаемъ мы здѣсь общими силами. Прими его, какъ знакъ нашего уваженія къ тебѣ, главѣ Русской поэзіи. Въ будущемъ № мы осмѣливаемся напечатать, любезный Пушкинъ, твое описаніе Одессы: оно принадлежитъ намъ по праву, ибо въ немъ заключается *храмота на безсмертіе* для нашего города.

Новостей у насъ никакихъ нѣтъ. Весна въ полномъ цвѣтѣ, и даже Раевскій похорошѣлъ отъ вліянія воздуха. Общество наше разстроилось отъѣздомъ многихъ лицъ, и каждый изъ насъ на тѣло предполагаетъ куда нибудь спастись отъ пыли и жара. Я думаю жить на одномъ изъ приморскихъ хуторовъ, позавидуй мнѣ! Больше писать не хочется. Прощай, родимый; да будетъ надъ тобой благословеніе Θεаи въчю и въчю.

(На конвертѣ: Его благородію м. г. Александру Сергѣевичу Пушкину. Въ Москвѣ, на Молчановѣ, въ домѣ Ренкевича).

ПУШКИНЪ И ВЕЛИКОПОЛЬСКІЙ.

Въ началѣ 1828 года появилась въ Москвѣ въкрасно отпечатанная, съ гравированными украшеніями, тетрадка въ четверту, подъ заглавіемъ: „Къ Фрасту. Сатира на игроковъ. Сочиненіе И. Великопольскаго“. Тутъ описывается въ посредственныхъ стихахъ несчастное положеніе одного юноши, котораго обыгралъ болѣе опытный игрокъ Дамонъ; и приводятся наставительныя разсужденія о пагубѣ карточной игры. Теперь подобная книжка не обратила бы на себя никакого вниманія, но въ 1828 году стихи у насъ читались на расхватъ. Вѣроятно и книжка Великопольскаго имѣла покупателей (хотя продавалась по 6 рублей). Въ одномъ изъ Мартовскихъ номеровъ Сѣверной Пчелы 1828 года напечатано объ ней извѣщеніе, съ отмѣткою, что врядъ ли наставленія сочинителя образумятъ людей, одержимыхъ страстью къ игрѣ.

Этой страсти, какъ извѣстно, предавался и нашъ Пушкинъ, особливо въ молодья свои лѣта.

Повѣсть „Пиковая Дама“ (въ которой, замѣтимъ кстати, есть цѣлая автобиографическая сцена) свидѣтельствуетъ, какъ хорошо зналъ онъ ощущенія карточной игры.

Готовъ бывалъ онъ въ эти лѣта,
Отъ вечера и до разсвѣта,
Допрашивать судьбы завѣтъ:
На лѣво ляжетъ ли ваять?

Уже раздался звонъ обѣденъ;
Среди разбросанныхъ колодеъ
Дремагъ усталый банкюметъ,
А я все тотъ же, бодръ и блѣденъ,
Надежды полнъ, закрывъ глаза,
Гнуль уголь третьяго туза.

Конечно, тѣ и другіе изъ приведенныхъ стиховъ появились въ печати уже только по смерти Пушкина; но его страсть къ игрѣ и увлеченія ею, которымъ онъ предавался, можно сказать, запоемъ, ни для кого не были тайною, тѣмъ болѣе, что общественное вниманіе устремлялось на него постоянно.

Пушкинъ прилежно и зорко слѣдилъ за всѣми произведеніями современной ему Русской словесности: онъ считалъ это даже своею обязанностью. Иногда скучною, но неизбѣжною. Чуткій и раздражительный, онъ, можетъ быть, прочиталъ въ стихахъ Великопольскаго какіе нибудь намеки на себя; а слыть игрокомъ, особливо при тогдашнихъ его отношеніяхъ къ Государю, было ему вовсе невесело. Съ Великопольскимъ встрѣчался онъ и игрывалъ въ Псковѣ, куда ѣзжалъ изъ своего Михайловскаго уединенія, въ 1826 году, поразвлекъ отъ книжныхъ и письменныхъ занятій, повидать людей и пріяхуть старинно, С. А. Мокутинъ. Съ Фомой Штольцинымъ въ Псковѣ полка онъ сходилъ на вечернихъ попойкахъ, и если не ошибаемся, къ числу этихъ оошдеровъ принадлежалъ Иванъ Ермолаевичъ Великопольскій, по годамъ сверстникъ Пушкина, сынъ Тверскаго помѣщика, человекъ живаго ума и нрава (впоследствии пріятель С. Т. Аксакова), любившій занятія словесностью и помѣщавшій элегическія стихотворенія въ тогдашнихъ альманахахъ.

Примите Невскій Альманахъ:

Онъ милъ и въ прозѣ, и въ стихахъ,

Вы тамъ найдете Полевова.

Великопольскаго, Хвостова...

Когда вышла „Сатира на игроковъ“, Пушкинъ находился временно въ Петербургѣ, и Сѣверная Пчела еще за нимъ ухаживала. Въ началѣ 1828 г. Пушкинъ дозволилъ ей напечатать большой отрывокъ изъ Оды (пріездъ Тани въ Москву), и въ фельетонахъ Булгарина появились восторженные отзывы объ его дарованіи. Въ Петербургѣ тогда пріѣхалъ съ Туркманчайскимъ трактатомъ Грибовдовъ, считавшійся другомъ Булгарина и своимъ громкимъ именемъ озарившій его. Порядочные люди вице водились съ знаменитымъ Фаддеемъ, и только черезъ нѣсколько лѣтъ Пушкинъ отзывался про него, что въ переулокъ, пожалуй, онъ съ нимъ раскланяется, а въ людномъ мѣстѣ не хватить духу.

Булгаринъ выпросилъ у Пушкина и напечатать въ 30-мъ номерѣ Сѣверной Пчелы 1828 года (отъ 10 Марта) слѣдующіе стихи его, съ подстрочною замѣткою: „Имени сочинителя сихъ стиховъ, не подписываемъ: ex ungue leonem. Изд.“ Принадлежность ихъ Пушкину оставалась неизвѣстною публикѣ до изданія Анненкова. Приводимъ ихъ изъ полного собранія сочиненій Пушкина, съ заглавіемъ, съ каѣмъ они появились въ Сѣверной Пчелѣ.

Послание къ В., сочинителю „Сатиры на игроков“ (*).

Такъ, элегическую лиру
Ты промѣнялъ, нашъ моралистъ,
На благочинную сатиру?
Хвалю поэта—дѣльно міру:
Ему полезенъ розги свистъ.
Мнѣ жалокъ очень твой Аристъ.
Съ какою усердьемъ онъ молился
И какъ несчастливо игралъ!
Вотъ молодежь: погорячился,
Продулся весь, и такъ пропалъ!
Дамонъ твой—человѣкъ ужасной,
Забудь его опасный домъ,
Гдѣ, впрочемъ, сознаюся въ томъ,
Мой другъ, ты велъ себя прекрасно:
Ты никому тамъ не мѣшалъ,
Эраста нѣжно утѣшалъ,
Давалъ полезные совѣты
И ни рубля не проигралъ.
Люблю: вотъ каковы поэты!
А то, уча безумный свѣтъ,
Порой грѣшить и проповѣдникъ,
Послушай, Персievъ наслѣдникъ,
Разсказъ мой.
Нѣкто, мой сосѣдъ,
Въ томленьяхъ благородной жажды,
Хлебнувъ Кастальскихъ водъ бокалъ,
На игроковъ, какъ ты, однажды
Сатиру злую написалъ
И другу съ жаромъ прочиталъ,
Ему въ отвѣтъ, его пріятель,
Взялъ карты, молча стасовалъ,
Далъ снять, и нравственный писатель
Всю ночь, увы, понтировалъ!
Тебѣ знакомъ ли сей проказникъ?
Но встрѣча съ нимъ была бъ мнѣ праздникъ.
Я съ нимъ готовъ всю ночь не спать,
И до полуднежнаго снѣнья
Читать моральныя посланья
И проигранья его писать:

*) Такъ какъ „Сатира на игроков“ вышла съ полными именами сочинителя, то буква В. никого не скрывала. П. Б.

Появить иной разъ Пушкинъ былъ мастеръ: назвать посредственнаго стихотворца насмѣшливою 'главнаго Римскаго сатирика' было оченьъ зло; печатно уличить моралиста въ его собственной несостоятельности сумѣлъ онъ превосходно. Хотя всѣ эти сношенія имѣли значеніе легкой шутки, но Великопольскій очевидно обидѣлся стихами, появившимся въ Сѣверной Пчелѣ, и прислалъ Булгарину слѣдующее посланіе.

Отвѣтъ знакомому сочинителю посланія ко мнѣ, помѣщеннаго въ № 30 Сѣверной Пчелы.

Узналъ я тотчасъ по замашкѣ
Тебя, насмѣшливый поэтъ!
Твой стихъ, веселый легче пташки,
Порхаешь и чаруетъ свѣтъ.

Я радъ, что геній удосужилъ
Тебя со мной на пару словъ;
Ты очень мило обнаружилъ
Бесѣды дружескихъ часовъ.

Съ твоимъ проказникомъ сосѣднимъ
Знакомъ съ давнишней я поры:
Обязанъ другу онъ послѣднимъ
Урокомъ вѣтренной игры.

Онъ очень помнитъ, какъ, смѣняя
Былые рублики въ кисть,
Глава Онегина вторая
Съязжала скромно на тузъ.

Блуждая въ молодости шибкой,
Онъ спотыкался о порогъ,
Но гдѣ послѣдняя ошибка,
Тамъ первый мудрости урокъ.

Кстати приводимъ и самое письмо Валлодольскаго къ Булгарину: по поводу этихъ стиховъ. — М. г. Фаддей Венедиктовичъ! Третьяго дня получилъ я письмо отъ Ад. С. Пушкина. Онъ уведомляетъ, ссылаясь на васъ, что безъ его согласія цензура не пропускаетъ, какъ должностъ, моихъ къ нему стансовъ; а что онъ согласиться не можетъ.

Это меня очень удивило. Развѣ его до мнѣ посланіе не личность? Въ чемъ онаго цѣль и содержаніе? Не въ томъ ли, что сатирикъ на игроковъ самъ игрокъ? Не въ обнаруженіи ли частнаго случая, долженствовавшаго остаться всеобщимъ?

Я слишком увѣренъ въ благородствѣ Пушкина, чтобы предполагать такой доносъ на дружбу истиннымъ его намѣреніемъ; но дѣло не въ намѣреніи, а въ самомъ дѣлѣ; и стихи, вышедшіе изъ подъ типографскаго станка, берутъ направленіе сами независимо отъ автора. Почему же цензура полагаетъ себя въ правѣ пропускать личности на меня, не сказавъ мнѣ ни слова, и не пропускаетъ личности на Пушкина, безъ его согласія? Кто позволить одному посмѣяться надъ другимъ, тотъ не обязанъ ли, ежели онъ безпристрастенъ, не отнимать по крайней мѣрѣ у другаго способъ отыграться? И если притѣвленіе поступило, будучи притѣвленіемъ для одного, не можетъ ли почестся неуваженіемъ къ другому? Простите, ежели я, можетъ быть, неумѣстно такъ распространился. Я хотѣлъ оправдать себя въ вашемъ мнѣніи и доказать односторонность дѣйствій цензуры, при которомъ литературный бой никогда не можетъ быть равенъ.

Но Пушкинъ, называя свое посланіе одною шуткою, моими стихами огорчается болѣе, нежели сколько я могъ предполагать. Онъ даже даетъ мнѣ чувствовать, что слѣдствіемъ напечатанія оныхъ будетъ непримиримая вражда. Надѣясь, что онъ имѣетъ ко мнѣ довольно почтенія, чтобы не предполагать во мнѣ боязни, дорожу его дружбою и прилагаемымъ при семъ къ нему письмомъ (которое по незнанію адреса, имѣю честь васъ просить доставить) отдаю на его полную волю, при нѣкоторомъ условіи, не читать мои стансы и не печатать, предоставляя себя въ послѣднемъ случаѣ отыграться въ другомъ мѣстѣ, другимъ образомъ.

Я считалъ неизданнымъ васъ объ этомъ увѣдомить, полагая, что вамъ самимъ неприятна такая односторонность цензуры.

Москва, Апрѣля 7-го 1828 г.,

Вотъ поводъ къ одному изъ нижеслѣдующихъ писемъ Пушкина. Первые два писаны еще раньше. Всѣ три, равно какъ и стихи Великопольскаго и его письмо къ Булгарину, печатаются съ подлинниковъ, отысканныхъ въ бумагахъ Великопольскаго и переданныхъ намъ внукомъ его г. Чаплинымъ.

И. Е. Великопольскій († 7 Февраля 1868 года, 72 лѣтъ) только „хлебнулъ Кастальскихъ водъ бокалъ“ и за тѣмъ пересталъ заниматься словесностью. Женатъ онъ былъ на дочери славнаго медика-масона М. Я. Мудрова. Намъ случалось встрѣчать его около 1856 года въ Москвѣ у С. Т. Аксакова и М. П. Погодина. Въ то время занятъ онъ былъ обширнымъ предпріятіемъ по новому способу обработки льна въ своемъ Старичкомъ имѣніи. Человѣкъ онъ былъ, что называется, затѣйный, но терпѣлъ неудачи въ своихъ начинаніяхъ. П. Б.

Письма Пушкина къ Великопольскому.

1.

Милостивый государь Иванъ Ермолаевичъ.

Сердечно благодарю васъ за письмо, пріятный знакъ вашего ко мнѣ благорасположенія. Стихотворенія Слѣпушкина *) получилъ и перечитываю все съ бѣльшимъ и бѣльшимъ удивленіемъ. Ваша прекрасная мысль объ улучшеніи состоянія поэта-крестьянина, надѣюсь, не пропадетъ. Не знаю, соберусь ли я снова къ вамъ во Псковъ; вы не совершенно отнимаете у меня надежду васъ увидѣть въ моей глуши; благодаримъ покаместъ и за тр.

Кланяюсь князю Циціанову **); жалью, что не отнялъ у него своего портрета. Что новаго въ вашихъ краяхъ?

Остаюсь съ искреннимъ уваженіемъ вашимъ покорнѣйшимъ слугою

Александръ Пушкинъ.

На черномъ сургучѣ известная Пушкинская печать-талисманъ. Почтовый штемпель: „Опочка 1826. Марта 11“.

2.

Съ тобой мнѣ вновь считаться довелось,

Пѣвецъ любви то рѣзвой, то унылой!

Играешь ты на лирѣ очень мило,

Играешь ты довольно плохо въ штоось.

500 рублей, проигранныхъ тобою,

Надѣжные свидѣтели тому.

Судьба моя сходна съ твоей судьбою,

Сейчасъ, мой другъ, увидишь почему.

*) Эти стихотворенія появились въ Петербургѣ въ 1826 г., подъ заглавіемъ: „Досуги сельскаго жителя, стихотворенія Русскаго крестьянина Фёдора Слѣпушкина“. Имя сочинителя дало Пушкину поводъ къ одному остро словію.

***) Это былъ армейскій оенцеръ князь Фёдоръ Ивановичъ Циціановъ. Можетъ быть, у его наследниковъ смѣцется упоминаемый Пушкинымъ портретъ.

Сдѣлайте одолженіе, пять сотъ рублей, которые вы мнѣ должны, возвратитъ не мнѣ, но Гаврилу Петровичу Назимову, чѣмъ очень обяжете преданнаго вамъ душевно Александра Пушкина.

3 Іюня 1826. Преображенское.

Писано на отдѣльномъ доскутѣ, а не по почтѣ.

3.

Любезный Иванъ Ермолаевичъ,

Булгаринъ показалъ мнѣ очень милыя ваши стансы ко мнѣ въ отвѣтъ на мою шутку. Онъ сказалъ мнѣ, что цензура не пропускаетъ ихъ, какъ личность, безъ моего согласія. Къ сожалѣнію, я не могъ согласиться.

Глава Одыгма вторая

Съезжала скромно на тузъ,

И ваше примѣчаніе — конечно личность и неприличность. И вся станса недостойна вашего пера. Прочія очень милы. Мнѣ кажется, что вы немножко много недовольны. Правда ли? Но крайней мѣрѣ отзывается чѣмъ-то гордымъ ваше послѣднее стихотвореніе. Неужели вы захотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбиваго друга, видѣть непріязненные строки въ 8-ю гл. Одыгма? Нѣ. Я не проигрывалъ 2-й главы, а ея экземплярами заплатилъ свой долгъ, такъ точно какъ, вы заплатили мнѣ свой родительскими алмазами и 35-ю томами Энциклопедіи. Что если напечатать мнѣ сіе благонамѣренное возраженіе? Но я надѣюсь, что я не потерялъ вашего дружества и что мы при первомъ свиданіи мирно примемся за карты и за стихи.

Простите.

Весь вашъ А. П.

Сложено и написано Пушкинымъ: „Евгенію Абрамовичу Баратынскому, въ Чернышевскомъ переулкѣ, въ домѣ Шлегельгарда, въ Москвѣ. Пр. дост. И. Е. Великопольскому“. Рукою Баратынскаго: „На Большой Екиманскѣ, у Казуменки въоротъ, въ домѣ Ермолаевъ“.

РАЗСКАЗЪ КАВКАЗСКАГО ВЕТЕРАНА О ПУШКИНѢ.

Въ газетѣ *Берегъ* 1880 года помѣщенъ слѣдующій разсказъ Петра Григорьевича Ханжонкова о знакомствѣ его съ Александромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ.

«Въ 1829 году я находился на Кавказѣ, служа офицеромъ въ конной Донской артиллеріи, въ 3-й батареѣ. Временная стоянка наша была въ Царскихъ Колодцахъ, а не подалеку отъ нихъ, въ мѣстечкѣ Каръ-Агачахъ, квартировалъ Нижегородскій драгунскій полкъ. Все офицеры этого полка были хорошо съ нами знакомы и въ совѣстныхъ стеченіяхъ съ торцами, и по служебнымъ отношеніямъ. Я былъ тогда молодъ, здоровъ, любимъ товарищами и начальниками, и вполне наслаждался жизнью. Чуть бывало затишье, и офицеры связываются къ кому нибудь изъ товарищей: карты, выпивка, охота, и весело проводятъ время. Молодцы офицеры—одинъ другаго не выдавалъ: любилъ службу, любили и погулять въ веселой компаніи. Начальникъ нашъ Андрияновъ поѣхалъ погостить въ Каръ-Агачи, куда и отправился съ рапортомъ къ нему. Погода стояла теплая и ясная къ концу Сентября. Вотъ, пріѣзжаю я въ Каръ-Агачи часовъ въ 10 утра, на лихомъ Донскомъ конѣ; проѣхалъ шаговъ двѣсти, какъ отворяется окно и знакомый драгунскій офицеръ Папковъ кричитъ: «Ханжонковъ! Заѣжай къ намъ, пожалуйста заѣжай!» Новдоровавшись съ Папковымъ, я сказалъ, что заѣхать теперь не могу, потому что спѣшу съ рапортомъ, а на возвратномъ пути непременно заѣду. Въ это время подошелъ къ открытому окну незнакомый мнѣ господинъ въ статскомъ сюртукѣ сѣраго цвѣта и, обращая ко мнѣ, сказалъ: «Да заѣжайте же хоть на минуту!» Не могу объяснить почему, но я невольно повиновался пріятному голосу этого незнакомца и заѣхалъ къ Папкову. Вхожу въ комнату, здороваюсь съ Папковымъ и кланяюсь незнакомцу. Тогда Папковъ, указывая мнѣ на этого господина, спрашиваетъ:

«Знаешь, кто это такой?» Я отвѣчать, что не имѣю удовольствія знать. «Это Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ», сказалъ Палковъ. Представь-те же себя, какъ я былъ озадаченъ этимъ именемъ и самимъ Пушкинъ-ымъ, хотя и зналъ, что онъ былъ тогда на Кавказѣ. Сначала я сильно сконфузился и не помню уже, какъ отрекомендовался ему. Пушкинъ улыбнулся, пожалъ мнѣ руку, тутъ же назвалъ другомъ и приказалъ подать Шампанскаго, «залпить здоровье новаго друга», какъ онъ выразился. Не смотря на такой любезный приемъ, я былъ точно въ лихорадкѣ, и невольная робость одолѣла меня, потому что молва о поэтѣ Пушкинѣ была всеобщая; молодежь сильно интересовалась имъ, и каждый изъ насъ знаетъ по нѣскольку его стихотвореній наизусть. И вдругъ, совершенно неожиданная встрѣча, знакомство и дружескій приемъ поэта! Даже и теперь, на старости, я чувствую истинное удовольствіе при воспоминаніи этого знакомства и благороднаго характера Пушкина, о чемъ сейчасъ и расскажу вамъ. Между тѣмъ начали входить драгунскіе офицеры, и скоро собралось ихъ у Пушкина и Палкова человекъ двѣнадцать. Въ числѣ офицеровъ пришелъ и мой пріятель, Николай Михайловичъ Каралинъ. Прошло уже нѣсколько дней, какъ Пушкинъ пріѣхалъ въ Каръ-Агачи; со многими офицерами онъ былъ знакомъ и прежде, особенно же съ Палковымъ, кажется дальнимъ его родственникомъ; съ прочими же офицерами живо знакомился, встрѣчалъ и принималъ каждого изъ нихъ, какъ знакомаго пріятеля. За тоже офицеры любили его за живость ума, острогу словъ, веселость и славное также обращеніе со воими. Пушкинъ былъ тогда еще очень молодъ, и пылая натура его платила такую же дань молодости, какъ и веѣ мы смертные. Надо сказать, что Александръ Сергѣевичъ любилъ такъ и покутить въ кругу молодежи, занимая и увлекая всѣхъ, раздѣлявшихъ съ нимъ пирушки. Скоро подали закуску съ винами и Шампанскимъ; закусили, и вѣчалась тосты; при этомъ Пушкинъ сказалъ такой экспромтъ, отъ котораго мы повалились со смѣху и закричали ему «браво!» Я уже запоздалъ и спѣшилъ идти, но подгулявшіе офицеры еще удерживали меня; да, спасибо, выручилъ Александръ Сергѣевичъ. Обращаясь къ офицерамъ, онъ сказалъ: «Господа пусть идеать — у него есть дѣло». Потомъ ко мнѣ: «Смотри же, Ханжонковъ — на обратномъ пути къ намъ поспѣе, а если не заѣдетъ, то назову тебя влодѣмъ!» Вручивши рапортъ начальнику батареи Андриянову и получивъ словесное приказаніе, спѣшу къ Пушкину и Палкову. Палковъ былъ богатый офицеръ, красивый и общій любимецъ. Когда я вошелъ къ нимъ, Пушкинъ подошелъ ко мнѣ, пожалъ руку и сказалъ: «спасибо». Офицеры также благодарили. Каждый держалъ себя просто, вразумительно, какъ улучшало пріятеля. Было уже три часа, и тѣ смѣя-

ной комнатѣ готовили къ столу. Но по служебнымъ обязанностямъ остаться обѣдать я не могъ; не смотря на приглашеніе Пушкина и Палкова; взявшихъ съ меня слово пріѣхать къ нимъ скорѣе. Я простился и уѣхалъ въ Царскіе Колодцы. Справившись по службѣ, я на третій день сѣва пріѣхалъ въ Каръ-Агачи, да еще и съ двумя офицерами нашей батареи. Пріѣхали мы прямо въ Напкову и Пушкину, и они встрѣтили насъ по пріятельски. Пушкинъ получилъ тогда изъ Петербурга порядочный кушъ денегъ за свои сочиненія, и потому у него постоянно было много офицеровъ, и Шампанское лилось рѣкой. Самъ онъ былъ душою общества, и мы ловили каждое его слово. Задастъ вдругъ тему, и начнется между молодежью общій живой разговоръ; а самъ-то онъ говоритъ увлекательно, краснорѣчиво, такъ и сыплетъ; замолчимъ и слушаемъ. Вдругъ скажетъ экзромтъ въ стихахъ, или присядетъ, напишетъ стихи и прочтетъ намъ. Здѣсь онъ декламировалъ намъ отрывки изъ «Кавказскаго Пльнища». Все мы искренно привѣтствовали Пушкина и запылали Шампанскимъ. Восторженный поэтъ и насъ восторгалъ какимъ-то особеннымъ чувствомъ. Голосъ у него былъ славный, звучный и пріятный; глаза постоянно искрились, а когда онъ поворачивалъ голову, то кудрявые волосы его встряхивались. На всѣхъ офицеровъ Пушкинъ имѣлъ большое вліяніе и какъ магнитъ притягивалъ къ себѣ.

Двое сутокъ мы мировали, жаль вдругъ всезае наше было прервано весьма непріятной исторіей. Когда Князьрка, Шампанское и другіе напитки порядочно отуманили у нѣкоторыхъ головы, тогда между офицерами начались такіа откровенности, напитки и не должно бы были. Хозяинъ и любимецъ Пушкина, Палковъ, выразился очень рѣво на счетъ всѣми уважаемой дамы — жены полковника N и притомъ задѣлъ намекомъ Караяни. Караяни вспылилъ, началъ крупныя рѣчи, и кончилось тѣмъ, что Караяни вызвалъ Палкова на дуэль. Случилось это неожиданно, вдругъ, и никто уже не могъ остановить ссору, и даже самъ Пушкинъ. Сильно раздраженные Караяни и Палковъ оба обратились къ Пушкину съ просьбою быть у нихъ секундантомъ. Горько и настойчиво уговаривали соперниковъ Пушкинъ, чтобы они прекратили ссору и примирились. И какъ правосходно говорилъ онъ, обращаясь то къ Караяни, то къ Палкову. Все мы также просили ихъ помириться, но напрасно: они были непреклонны и просили Пушкина въ секунданты. Видя, что убѣжденія не помогли, огорченный и задумавшійся Пушкинъ началъ ходить по комнатѣ. Ожидали его отвѣта. Пушкинъ остановился и обратился къ Караяни и Палкову, сказалъ: «Хорощо, господа, — у одного изъ васъ я буду секундантомъ, но вребно, а другого секунданта вы позвольте выбрать мнѣ. Согласны?» Караяни и Палковъ соглас-

сидеть. Время и мѣсто были назначены завтра, въ шесть часовъ утра, въ небольшой рощицѣ близъ Каръ-Агачи, драться на пистолетахъ. Рѣшимость, Пушкина быть секундантомъ и удивила насъ, и порадовала. Пушкинъ сдѣлалъ два билета, написалъ фамилии соперниковъ, положилъ въ шапку и поднесъ Караяни и Папкову. Они вынули билеты: Пушкинъ—секундантомъ у Папкова, Секундантомъ Караяни Пушкинъ избралъ князя Мадатова. Караяни сейчасъ ушелъ, а черезъ полчаса Пушкинъ просилъ и Папкова идти къ одному изъ офицеровъ и тамъ оставаться, пока Пушкинъ не позоветъ его. Когда Папковъ ушелъ, Пушкинъ выслалъ прислугу, затворилъ двери, сообщилъ всѣмъ намъ планъ предстоящей дуэли и убѣдительно просилъ содѣйствовать, на что всѣ офицеры охотно согласились и дали слово хранить все сообщенное имъ въ глубокой тайнѣ. Пушкинъ былъ сильно встревоженъ, хотя и старался казаться спокойнымъ. Насъ, офицеровъ, было двѣнадцать человекъ, и почти безсонную ночь провели мы у Пушкина. Самъ онъ не спалъ и два раза уходилъ куда-то съ Мадатовымъ. Вотъ начало разсвѣтать, и всѣ офицеры, кромѣ Мадатова, ушедшаго впередъ, вышли отъ Пушкина съ большою осторожностію и направились къ рощицѣ, къ которой чрезъ полчаса пріѣхалъ Караяни съ Мадатовымъ, а вслѣдъ за ними и Папковъ съ Пушкинымъ. Пушкинъ поздоровался съ Караяни и Мадатовымъ, переговорилъ съ послѣднимъ, и когда соперники стали на указанныхъ мѣстахъ съ пистолетами, тогда Пушкинъ, обращаясь къ нимъ, сказалъ: «Господа, прошу слушать команду—стрѣлять по третьему разу. Начинаю: разъ». Вдругъ заигралъ оркестръ музыкантовъ, искусно скрытый въ рощѣ; а мы, офицеры, каждый съ двумя бутылками Шампанскаго въ рукахъ, мгновенно стали между Караяни и Папковымъ... Такая неожиданность сильно ихъ озадачила, и они зароптали, особенно Караяни. Но тутъ уже Александръ Сергѣевичъ дѣйствовалъ какъ истинный геній-примиритель и говорилъ съ такою силою и увлеченіемъ, что не только мы, но и соперники были тронуты. Помню слова Пушкина. «Господа! Если совершится убійство, то оно погубить и меня съ вами, и всѣхъ насъ. Умоляю васъ именемъ Бога и Россіи—помиритесь!» Пушкинъ былъ страшно взволнованъ, тяжело дышалъ, и сверкающіе глаза его наполнились слезами; быстро подходилъ онъ то къ Караяни, то къ Папкову, но они не поддавались. Наконецъ Папковъ опустилъ пистолеть, подошелъ къ Караяни и сказалъ: «Караяни! Я не правъ передъ тобою за сказанныя вчера оскорбительныя слова и прошу меня извинить». Караяни подалъ руку Папкову. Всѣ обрадовались и бросились обнимать и цѣловать Караяни, Папкова и Пушкина. Шампанское полилось рѣкой, распели его нѣсколько дюжинъ: пили и музыканты, щедро одаренные офицерами.

Такъ счастливо окончилась эта дуэль и оставила самое отрадное воспоминаніе въ жизни. Пушкинъ очаровалъ меня, и я почувствовалъ благоговѣніе къ этому отличному человѣку. Да и все общество офицеровъ было подъ вліяніемъ такихъ же чувствъ, несмотря на то, что онъ не показывалъ и вида своего несравненнаго преимущества надъ нами, а держалъ себя какъ лучший другъ-товарищъ и пилъ съ нами Шампанское какъ лихой гусарь. Еще цѣлые сутки пировали мы неразлучно у повта, и только на другіе сутки я и товарищи мои простились съ Пушкинымъ, съ офицерами и уѣхали изъ Каръ-Агачей.

Потомъ я еще разъ повстрѣчался съ Александромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ въ Азіатской Турціи, на Санганла, за Карсомъ. Верховъ на великолѣпной Арабской лошади онъ подѣхалъ вмѣстѣ съ Карали къ нашей батарее. Издали узналъ онъ меня и закричалъ: «Здравствуй; Ханжонновъ! А что, тебя еще не убили?» — «Славу Богу, Александръ Сергѣевичъ; какъ видите, живъ и здоровъ» — «Ну, и слава Богу!» Офицеры сейчасъ же окружили его. Минуть съ пятнадцать онъ побесѣдовалъ съ нами, спросилъ о здоровьи знакомыхъ ему офицеровъ; простился съ нами и вмѣстѣ съ Карали уѣхалъ къ слѣдующей батарее.

Это было послѣднее свиданіе мое съ незабвеннымъ Александромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ.

ВСТРѢЧА НѢМЦА СЪ ПУШКИНЫМЪ.

(Изъ записокъ нѣмецкаго путешественника).

Это было въ началѣ Юля 1833 года, въ одну изъ тѣхъ очаровательныхъ ночей, какія только можно видѣть на дальнемъ Сѣверѣ. Не черная тьма ночи, но свѣтлое легкое покрывало опустилось надъ землею; освѣжительная прохлада наступила послѣ нестерпимаго дневнаго зноя, и на далекомъ горизонтѣ вечерняя заря соединилась съ утреннею. Въ такую пору я съ моимъ пріятелемъ, гвардіи офицеромъ барономъ Ст., Нѣмцемъ изъ Остзейскихъ провинцій, гулялъ по прекраснымъ зеленымъ островамъ, образуемымъ Невою на сѣверной сторонѣ Петербурга. Дворъ находился въ лѣтнемъ дворцѣ на Елагиномъ острову; во весь вечеръ хоры гвардейской музыки играли въ паркѣ окружающемъ дворецъ и привлекали весь Петербургскій модный свѣтъ на прекрасный островъ.

Уже прошла полночь, и число гуляющихъ значительно уменьшилось. Мы перешли чрезъ мостъ на Крестовскій островъ,—самый пріятный изъ всѣхъ острововъ по своимъ длиннымъ, тѣнистымъ аллеямъ и прекраснымъ темнозеленымъ рощамъ. Вокругъ царствовало молчаніе; только въ верхинахъ деревь шумѣлъ легкій ночной вѣтерокъ, да зеркальная Нева катилась передъ нами къ близкому морю. На ея слегка струящейся поверхности пылалъ, отражаясь, поздній румянецъ заката.

Изъ отдаленной рестораціи на противоположномъ концѣ острова, почти исключительно посѣщаемой Нѣмцами, особенно поселившимися здѣсь богатыми Нѣмецкими ремесленниками,—къ намъ доносились веселые звуки и ликованье. Эти люди, при помощи вина, пива, пунша и табаку, старались перенестись въ Нѣмецкое отечество. Но мы были далеки отъ того, чтобъ ихъ громкое веселье могло помѣшать нашей меланхолической ночной прогулкѣ.

Въ недалекомъ разстояніи отъ насъ, то медленно, то ускоряя шаги, прогуливался средняго роста, стройный человѣкъ. Походка его была небрежна; иногда онъ поднималъ правую руку высоко вверхъ, какъ пламенный декламаторъ. Казалось, что незнакомецъ разговаривалъ самъ съ со-

бою. Порою слова его переходили въ тихое пѣніе какой-то изъ трогательныхъ народныхъ пѣсенъ, которыя особенно въ тишинѣ ночи производятъ невообразимое впечатлѣніе на душу слушателя. „Кто бы это могъ быть?“ спросилъ я идущаго подлѣ меня друга. „Если я не ошибаюсь“, отвѣчалъ онъ, то это.....“—Въ это мгновеніе незнакомецъ остановился, оборотился къ рѣкѣ и съ сложенными на груди руками прислонился къ дереву; тогда мы могли разглядѣть до того времени скрытыя отъ насъ черты лица человека 34 или 35 лѣтъ. То не была одна изъ тѣхъ фizioномій, какія обыкновенно, Нѣмцы называютъ въ насмѣшку „Русскими“, воображая при томъ маленькіе узкіе глаза, большой ротъ, широкій плоскій носъ и выдающіяся скулы, что впрочемъ вообще несправедливо: мушны въ Россіи, особенно высшихъ сословій, имѣютъ большія и прекрасныя, какъ головою, такъ и станомъ. Конечно есть исключенія, есть фizioноміи съ Монгольскимъ животнымъ выраженіемъ, типы скотства и собачьей жадности крови; но вообще Русскія фizioноміи образованныхъ сословій представляютъ пріятное сліяніе типовъ Итальянскаго съ Греческимъ. Такимъ мнѣ показалось лицо стоявшаго передъ нами незнакомца. Темныя нѣсколько углубленные глаза на небольшомъ блѣдномъ лицѣ, прекрасный ротъ полный бѣлыхъ зубовъ. Только носъ казался нѣсколько широкимъ. У него были черныя курчавыя волосы, прекрасныя брови и полныя бакенбарды. Одѣтъ онъ былъ по послѣдней модѣ, но замѣтна была какая-то небрежность, съ которою мы обыкновенно соединяемъ въ своихъ мысляхъ понятіе объ одеждѣ гениальнаго человека.

Между тѣмъ и незнакомецъ насъ замѣтилъ. Мой спутникъ подошелъ къ нему и, протягивая къ нему руку, привѣтствовалъ его словами „Здравствуйте, Пушкинъ!“

Теперь я зналъ, что передъ нами стоитъ знаменитѣйшій Русскій поэтъ.

Пріятель мой, уже знакомый съ Пушкинымъ, представилъ насъ другъ другу, и мы обмѣнялись немногими словами обыкновенной свѣтской вѣжливости. Поэтъ и мой спутникъ, восторженный поклонникъ поэзіи, начали между собой оживленный разговоръ по-французски. Тоска и разорванность со свѣтомъ были замѣтны въ рѣчахъ Пушкина и не казались мнѣ пустымъ, поверхностнымъ представленіемъ, которое такъ часто проглядываетъ въ словахъ поэтовъ, жадно наслаждающихся жизнию. Такъ нѣкогда наслаждался и Пушкинъ, и наслаждения его ослабили, что доказываетъ гнѣвное его молчаніе въ послѣдніе годы жизни.

„Я не могу болѣе работать“, отвѣчалъ онъ на вопросъ: не увидимъ ли мы вскорѣ какое нибудь новое его произведеніе? „Здѣсь бы я хотѣлъ построить себѣ хижину и сдѣлаться отшельникомъ“, прибавилъ онъ съ улыбкою.

„Еслибы въ Невѣ были прекрасныя русалки“, отвѣчалъ мой спутникъ, намекая на прекрасное юношеское стихотвореніе Пушкина „Русалка“ и приводя изъ него слова, которыми она манитъ отшельника:

„Монахъ! Монахъ! Ко мнѣ! Ко мнѣ!“

— Какъ это глупо! проворчалъ поэтъ: „никого не любить кромѣ самаго себя“.

„Вы имѣете достойную любви, прекрасную жену“, сказалъ ему мой товарищъ. Насмѣшливое протяжное „Да!“ было отвѣтомъ.

Потомъ онъ сталъ говорить о красивой лошади, купленной моимъ другомъ и прибавилъ: „Завтра послѣ обѣда я заѣду къ вамъ—мнѣ надобно посмотреть вашего коня.“

Я сказалъ пару словъ, выражая мое восхищеніе прекрасною, теплою сѣвѣрною ночью. „Она очень пріятна послѣ сегодняшней страшной жары,“ небрежно и прозаически отвѣчалъ мнѣ поэтъ. Я начиналъ разочаровываться въ томъ, кѣмъ прежде, чѣмъ я узналъ его лично, я такъ восхищался въ пламенныхъ его стихахъ; все болѣе и болѣе исчезало въ моихъ глазахъ сіяніе, которое дотолѣ окружало для меня голову Пушкина.

Товарищъ мой, самъ смѣшавшійся, старался навести поэта на болѣе серьезный разговоръ; но онъ постоянно отъ того отклонялся *).

„Тамъ вечерняя заря—малое пространство ночи, а тамъ уже заря утренняя“, сказалъ задумчиво другъ мой, указывая на горизонтъ, склонившійся къ ближнему морю. „Смерть, мракъ гроба и пробужденіе къ прекраснѣйшему дню.“

Пушкинъ улыбнулся. „Оставьте это, мой милый!“ сказалъ онъ. „Когда мнѣ было 22 года, зналъ и я такія возвышенныя мгновенія; но въ нихъ ничего нѣтъ дѣйствительнаго. Утренняя заря! Пробужденіе! Мечты, только одинъ мечты!“

Признаюсь, эти слова какъ ножемъ пронзили мнѣ душу. Въ это время плыла внизъ по Невѣ лодка съ большимъ обществомъ. Бывшіе на ней пѣвцы только что окончили народную мелодію. Пушкинъ внимательно слушалъ послѣдніе ея звуки, и нога его невольно двигалась какъ въ Русской народной пляскѣ. Раздалось нѣсколько акордовъ гитары, и мягкій мужской голосъ запѣлъ прекрасную пѣсню Пушкина „Черная шаль“. Если я не ошибаюсь, эта пѣсня была положена на музыку славнымъ композиторемъ Глинкою, такъ что музыка соответствовала ея содержанію. Лишь только окончилась первая строфа, какъ Пушкинъ, лицо котораго мнѣ показалось гораздо блѣднѣе обыкновеннаго, проговорилъ про себя: „Съ тѣхъ поръ я не знаю спокойныхъ ночей!“ и, сказавъ намъ короткое: *Voilà, mes amis!* исчезъ въ зеленой темнотѣ лѣса. Когда звуки пѣсни замолкли, и мы тоже отправились въ городъ.

„Зачѣмъ Пушкинъ такъ скоро насъ оставилъ?“.—„Пушкина гонитъ его злой духъ“, отвѣчалъ мнѣ другъ мой. Чтобы лучше понять эти слова, здѣсь надобно привести стихотвореніе Пушкина „Черная шаль“. 32 года

*) Пушкинъ, какъ видно, былъ въ такомъ настроеніи духа, что желалъ поскорѣе отдѣлаться отъ своихъ докучливыхъ собесѣдниковъ, чего не скрываетъ и самъ разсказчикъ.

тому назадъ мы перевели его на Нѣмецкій языкъ, когда Боденштедтъ не выступалъ еще передъ публикою съ своими переводами Пушкина. Молва говорила, что это поэтическое произведение было печальною истиною изъ жизни поэта, и что темное дѣло совершилось за много лѣтъ передъ тѣмъ. въ пребываніе Пушкина на Югѣ. Правду ли говорила молва? Мы желаемъ, чтобъ это было ложью *). Пушкинъ горячо любилъ свое отечество; онъ доказалъ это пламеннымъ и вдохновеннымъ стихотвореніемъ „Клеветникамъ Россіи,“ написаннымъ въ 1831 году по поводу Польской революціи. Если бы Пушкинъ родился Французомъ, онъ вѣрно бы игралъ значительную роль въ республиканскомъ мірѣ. Въ первыхъ его стихотвореніяхъ по выходѣ изъ Лицея дышетъ необузданная любовь къ свободѣ. Когда его стихи сдѣлались извѣстными кроткому императору Александру, Пушкинъ сталъ еще смѣлѣе и шелъ все далѣе и далѣе, такъ что Государь, чтобы спасти его отъ дурныхъ послѣдствій, сослалъ его сначала въ Бессарабію, а потомъ на Кавказъ. Начальники молодого поэта покровительствовали ему, цѣня его превосходный талантъ и оказывали ему всевозможное снисхожденіе, имѣя на то особенное повелѣніе достойнаго любими Императора; но они принуждены были, наконецъ, довести до его свѣдѣнія, что Пушкинъ своими безумными политическими мнѣніями заражаетъ другихъ молодыхъ людей, его окружающихъ. Пушкинъ былъ сосланъ въ свое имѣніе, въ отдаленную провинцію, какъ въ нѣкоторый родъ изгнанія, гдѣ онъ оставался до восшествія на престолъ императора Николая. Пушкинъ явился въ Москвѣ во время коронаціи новаго Императора, и съ того времени, казалось, поэтъ оставилъ преслѣдуемое съ такимъ упорствомъ политическое направленіе и перешелъ къ болѣе умѣреннымъ воззрѣніямъ. Извѣстно, что императоръ Николай въ Москвѣ долго бесѣдовалъ съ нимъ, и строгая важность Монарха успокоительно подѣйствовала на взволнованный духъ Пушкина. Въ свитѣ князя Паскевича Пушкинъ потомъ находился во время похода въ Малую Азію.

Въ поэтическихъ произведеніяхъ Пушкина вездѣ ярко пылаетъ огонь чувства; онъ мало заботится о формѣ и вездѣ легко переступаетъ ее, гдѣ она служитъ ему препятствіемъ. Онъ рассказываетъ живо и всегда умѣетъ поддержать любопытство; онъ болѣе заставляеть угадывать, чѣмъ занимается изложеніемъ подробностей. При всемъ томъ его рассказы такъ понятны, что невольно увлекаешься ими. Въ своихъ поэтическихъ созданіяхъ онъ не любитъ показывать отдѣльныя части постройки; онъ не раскрашиваетъ ихъ густо наложенными красками, но овѣваетъ ихъ легкимъ

*) Смѣшно было бы оправдывать Пушкина: обвиненіе скорее можетъ служить въ его славу. Живое, поэтическое изображеніе побуждаетъ толпу вѣрить, что событіе, представленное съ такою истинною, могло существовать не въ одномъ воображеніи поэта, но действительно съ нимъ случилось. Эту славу нашъ Пушкинъ раздѣлялъ съ Байрономъ, которому тоже приписывали дѣянія Манфреда и Гяура.

облакомъ, такъ что онѣ кажутся настоящими поэтическими воздушными замками. Онѣ мало заботится о томъ, что это легкое прозрачное облако можетъ показаться пустымъ туманомъ для лѣниваго и тупаго глаза. Онѣ думаетъ: кто можетъ, тотъ пойметъ меня; не мое дѣло, что близорукой уткнулся носомъ въ мои изображенія.

Мы считаемъ лучшими изъ его большихъ произведеній: Руслана и Людмилу, Бориса Годунова, Кавказ. Пѣн., Баянис. Фонт. Мѣсто дѣйствія первой, дворъ Владимира и его рыцарской дружины; два послѣднихъ произведенія возникли во время пребыванія поэта на Кавказѣ и въ Тавридѣ.

Мѣстный колоритъ вездѣ сохраненъ съ величайшею свѣжестью и живостью, особенно въ двухъ послѣднихъ произведеніяхъ.

Небо Востока пылаетъ въ чувствахъ и слогахъ поэта. Пушкинъ былъ ревностный изыскатель сказокъ—этихъ богатыхъ поэтическихъ минъ, изъ которыхъ онѣ создавалъ свои творенія. Языкъ свой онѣ образовалъ по лучшимъ образцамъ Нѣмцевъ *) и старался находить новыя выраженія и обороты, какъ дѣлалъ это передъ нимъ Ломоносовъ. Онѣ думалъ, что Русскій языкъ не слѣдуетъ подвергать Китайской неподвижности. „Развѣ человѣческія лица“, говорилъ онѣ, „хотя онѣ состоятъ изъ одинаковыхъ частей, поэтому всѣ отлиты въ одну общую физиономію? А выраженіе не есть ли физиономія рѣчи?“ Какъ много былъ достоинъ любви Пушкинъ-поэтъ, столь-же мало я бы могъ любить его какъ человѣка.

Что касается религіи, имѣлъ ли онѣ хоть какую нибудь въ сердцѣ? Всѣ знавшіе его сомнѣвались въ томъ, и я также, послѣ немногихъ, но рѣшительныхъ словъ его, услышанныхъ мною **).

У него было много знакомыхъ, онѣ былъ знаменитый поэтъ, къ нему охотно тѣснилась толпа, чтобы на нее упалъ отблескъ его славы; но едва ли онѣ имѣлъ друга, потому что Пушкинъ не могъ и не хотѣлъ быть кому нибудь другомъ.

Онѣ былъ чувствителенъ ко всякой хулѣ и всегда мстилъ за нее самымъ рѣзкимъ образомъ, какъ видно изъ эпиграммы *Ex ungue leonem*,

*) Пушкинъ, кажется, не зналъ хорошо Нѣмецкаго языка и не могъ образовывать свой слогъ по Нѣмецкимъ образцамъ. Кромѣ своеобразной сцены изъ Фауста и развѣ два упомянутыхъ имени Шиллера и Гёте ничего въ его сочиненіяхъ не намекаетъ на знакомство съ Нѣмецкой литературой; прозаическій же слогъ Пушкина, по своей легкости, совершенно противоположенъ столь несвойственнымъ нашему языку тяжелымъ Нѣмецкимъ періодамъ.

***) Въ молодости своей, воспитанный подъ вліяніемъ Французскихъ идей XVIII вѣка, Пушкинъ легко смотрѣлъ на религію; но въ зрѣлыхъ лѣтахъ мысль его и поэзія, можно сказать, принимали постепенно религіозное направленіе. Довольно будетъ указать на его отвѣтъ митрополиту Филарету: „Въ часы забавъ и празднои скуки“, Моляту: „Отцы пустыяники и жены непорочны“, Отрывокъ, Подражаніе Пуританину Буньяну: „Однажды странствуя среди долины дикой“ и друг. Известно, что Пушкинъ умеръ искреннимъ христіаниномъ и на смертномъ одрѣ простилъ враговъ своихъ.

угощаль и пр., а на прощанье написалъ имъ на четвертушкѣ бумаги на память слѣдующія строки:

«Александръ Пушкинъ съ чувствомъ живѣйшей благодарности «принимаетъ знакъ лестнаго вниманія почтенныхъ своихъ соотечественниковъ Ивана Ѳомича Антипина и Ѳаддея Ивановича Абакумова. «27 Мая 1830. П. Заводъ».

Записка эта написана на прощанье, которое вѣроятно происходило на другой день прибытія изъ Калуги гостей, сломавшихъ походъ свой пѣшкомъ, а потому конечно и ночевавшихъ на «Полотняномъ Заводѣ». Изъ этого можно заключить, что посетители явились къ Пушкину 26 Мая, которое было днемъ его рожденія, о чемъ могли они провѣдать, и отправились познакомиться и въ тоже время поздравить его.

II.

Глубокую осень 1833 года Пушкинъ провелъ въ Нижегородскомъ имѣніи своемъ, Болдинѣ, гдѣ пробылъ съ 2 Октября до второй половины Ноября (ibid. стр. 373). Тамъ между прочимъ кончилъ онъ «Мѣднаго Всадника», 31 Октября (ibid.) и «Исторію Пугачевского бунта» 2 Ноября (ibid.). Въ Петербургъ пріѣхалъ онъ 28 Ноября (ibid.). Въ началѣ Декабря онъ представилъ на разсмотрѣніе начальства «Исторію Пугачевского бунта» (ibid. стр. 389), которая разрѣшена была къ печатанію 31 Декабря (ibid.), причемъ ему были пожалованы: званіе камеръ-юнкера и 20.000 рублей ассигнаціями займообразно на изданіе книги, съ правомъ печатать ее въ одной изъ казенныхъ типографій, по его выбору. Что касается до «Мѣднаго Всадника», то извѣстно, что первый отрывокъ изъ него, «Родословная моего героя», напечатанъ Пушкинымъ лишь въ 1836 году (*Соврем.*, т. III, стр. 152), а самая поэма, съ большими пропусками, явилась въ свѣтъ уже послѣ смерти поэта, въ 1837 году (*Соврем.*, т. V, стр. 1). Сопоставленіемъ всѣхъ этихъ данныхъ съ обстоятельствами, изложенными въ нижеслѣдующемъ письмѣ, не имѣющемъ никакой помѣты, можно съ точностію опредѣлить, что оно писано Пушкинымъ около половины Декабря 1833 года, изъ Петербурга. Упоминаемый выше Иванъ Ѳомичъ Антипинъ былъ въ это время въ Петербургѣ и посѣтилъ Пушкина, поручившаго ему на обратномъ пути въ Калугу завезти это письмо въ Москвѣ къ другу поэта, извѣстному Павлу Воиновичу Нащокину (умершему въ 1854 году), котораго Пушкинъ повидимому не засталъ въ Москвѣ, когда проѣзжалъ въ Ноябрь изъ Болдина въ Петербургъ. Иванъ Ѳомичъ также не засталъ Нащокина въ Москвѣ; ожидать его онъ не имѣлъ

времени, а оставить въ Москвѣ или пересылать потомъ по почтѣ письмо, отдаваемое для личнаго врученія, онъ не счелъ возможнымъ. Онъ увезъ письмо въ Калугу и такъ какъ послѣ уже не имѣлъ случая встрѣтиться съ Нащокинымъ, то и оставилъ его у себя. Такимъ образомъ хранилось оно у него слишкомъ тридцать пять лѣтъ.—Должно сказать, что князь Дмитрій Ивановичъ Эристовъ былъ лицейскій товарищъ и большой пріятель Пушкина и Нащокина. Крестникъ Нащокина—старшій сынъ поэта, Александръ Александровичъ Пушкинъ (род. 1833), бывший въ послѣдствіи конногвардейскимъ офицеромъ. Князь Федоръ Федоровичъ Гагаринъ (род. 1786, ум. 6 Сентября 1863), оставной генераль-маіоръ, извѣстный въ свое время храбрый кавалеристъ и дуэлистъ. Не знаю, кто упоминаемые въ письмѣ: Григорій Федоровичъ, мальчикъ, старикъ отецъ его и Павелъ*). Что касается до наслѣдства дяди, то вѣроятно рѣчь идетъ о наслѣдствѣ, оставшемся послѣ извѣстнаго стихотворца Василя Львовича Пушкина (1770—1830), возбуждавшемъ, какъ видно, какія-то недоразумѣнія даже три года послѣ его кончины. Вотъ что писалъ Пушкинъ Нащокину:

«Я получилъ отъ тебя два грустныхъ письма, любезный Павелъ Воиновичъ, и ждалъ третьяго, съ нетерпѣніемъ желая узнать что дѣлается съ тобою, и какое направленіе принимаютъ дѣла твои домашнія и сердечныя. Но ты вѣроятно слишкомъ озабоченъ, и я не знаю, чего надѣяться: перемѣнилась ли, успокоилась ли судьба твоя? Напиши ко мнѣ объ этомъ».

«Въ твои именины семья моя (въ томъ числѣ Григорій Федоровичъ) пила твое здоровье и желала тебѣ всякаго благополучія. Объ (NB тутъ вычеркнуто имя: *Алеша* и написано слово, которое невозможно разобрать) «не имѣю извѣстія; онъ живетъ у Эристова, а я на его имя получаю изъ Москвы письма. Сумасшедшій отецъ его написалъ мнѣ сумасшедшее письмо, на которое ужъ мнѣ поздно отвѣчать; онъ беспокоится о ~~литературныхъ~~ трудахъ своего сына и о томъ, не плачетъ ли мальчикъ и не тоскуетъ ли о своихъ родныхъ? Успокой старика какъ умѣешь».

«Не знаю, буду ли я у васъ въ Январѣ. Наслѣдники дяди дѣлаютъ мнѣ дурацкія предложенія—я отказался отъ наслѣдства. Не знаю, войдутъ ли они въ новые переговоры. Здѣсь имѣлъ я неприятности денежныя: я сговорился было со Смирдинымъ и признанъ былъ уничтожить договоръ, потому что «Мѣднаго Всадника» цензура не пропустила—это мнѣ убытокъ. Если не пропустить Исто-

*) Павелъ—сынъ Нащокина. П. В.

«рію Пуг. (NB Пугачевского бунта), то мнѣ придется ѣхать въ деревню». «Все это очень неприятно. На деньги твои я надѣюсь; думаю весною приступить къ полному собранію моихъ сочиненій».

«Всѣ мои здоровы. Крестникъ твой тебя цалуетъ; мальчикъ славный. Съ Плетневымъ о Павлѣ *) еще не говорилъ, потому что дѣло не къ спѣху. Прощай—кланяюсь князю Гагарину и желаю вамъ обоимъ «счастія. А. П.»

Почтовый листъ въ четвертушку, на трехъ страницахъ котораго написано это письмо, сложенъ былъ такъ, что вскрыть его нельзя, и запечатанъ бѣлою облаткой, а на обратной части четвертой бѣлой страницы надписанъ адресъ: «Его высокоблагородію м. г. Павлу Воиновичу Нащокину. Въ Москвѣ, на Остоженкѣ, въ приходѣ Вознесенія, у священника въ домѣ».

Въ просвѣтѣ этого почтоваго листа видна надпись: «Гончаровъ, 1830», окруженная бордюромъ. Часть такого же точно бордюра есть также въ просвѣтѣ четвертушки, на которой написана въ 1830 году вышеприведенная благодарность гг. Антипину и Абакумову. Изъ этого видно, что Пушкинъ постоянно употреблялъ бумагу, приготовленную на писчебумажной фабрикѣ его тестя, на Полотняномъ Заводѣ, существующей донья и производство которой въ 1863 году простиралось до 61.552 р. сер. (Статист. Временникъ Россійск. Имп. 1866, отдѣлъ II, стр. 71).

М. Лонгиновъ.

Орелъ. 25 Марта 1869.



*) Сынъ Нащокина отъ Цыганки. Освободиться отъ послѣдней Нащокину было трудно, на что и намекаетъ Пушкинъ. П. Б.

Стихи Пушкина на памятникъ одному генералу.

Во время пребыванія Пушкина въ Одессѣ, жила тамъ вдова генерала, который, начавъ службу съ низшихъ чиновъ, дослужился до высокаго поста, хотя ничѣмъ особенно не выдавался. Этотъ генералъ въ 1812 году былъ раненъ въ переносицу, причемъ пуля раздробила ее и вышла въ щекъ. Вдова этого генерала, желая почтить память мужа, заказала на его могилу богатѣйшій памятникъ и непременно желала, чтобы на немъ были стихи. Къ кому же было обратиться, какъ не къ Пушкину?—она же его знала. Александръ Сергѣевичъ пообѣщаль, но не торопился исполненіемъ. Такъ проходило время, а Пушкинъ и не думалъ исполнить обѣщанія, хотя вдова при каждой встрѣчѣ не давала ему покоя. Но вотъ насталъ день ангела генеральши. Приѣхалъ къ ней и Пушкинъ. Хозяйка, что называется, пристала съ ножомъ къ горлу.—Нѣтъ ужъ, А. С. теперь ни за что не отдѣлаетесь обѣщаніями, говорила она, крѣпко ухвативъ поэта за руку;—не выпущу, пока не напишите. Я все приготовила: и бумагу, и чернила; садитесь къ столику и пишите. Пушкинъ видитъ, что попалъ въ капканъ. Стихи были мигомъ готовы, и вотъ именно какіе:

Никто не знаетъ, гдѣ онъ росъ.

Но въ службу поступилъ капраломъ;

Французскимъ чѣмъ-то раненъ въ носъ,

И умеръ генераломъ.

«Что было съ ея превосходительствомъ послѣ того, какъ она прочла стихи въ слухъ—не знаю (разсказывалъ поэтъ)—потому что, передавъ ихъ, я счелъ за благо проскользнуть незамѣченнымъ къ двери и уѣхать по добру по здорову». Но съ этихъ поръ генеральша оставила въ покоѣ поэта.

МИЦКЕВИЧЪ О ПУШКИНѢ.

(Mélanges posthumes d'Adam Mickiewicz, publiés avec introduction, préface et notes par Ladislas Mickiewicz, Paris, 1872).

I.

Мицкѣвичъ, хотя и блудный братъ, хотя и не возвратившійся подъ кровъ родной, такъ что не удалось намъ угостить его упитаннымъ и примирительнымъ тельцомъ, все-же остается братомъ нашимъ: онъ Литвинъ. Къ тому-же, по высокому поэтическому дарованію, онъ и безъ того сродни намъ и всѣмъ образованнымъ братьямъ человеческой семьи. Есть высшіе нравственные и умственные слои, куда не должны достигать политическія предубѣжденія и мелочныя, хотя часто и неистовыя, страсти семейныхъ междоусобій: тутъ не существуютъ условныя перегородки приходскихъ національностей. Отъ нихъ на землѣ душно; выше воздухъ свѣжѣе, чище и успокоительнѣе. Мы пользуемся повсемѣстными плодами земнаго шара, не справляясь, какою почвою они были возвращены, дружественной ли намъ, или непріязненной? Такъ должно обращаться и съ плодами умственной почвы. Политика—сила обыкновенно разъединяющая; поэзія должна быть всегда примиряющей и скрѣпляющей силой. Политическія предубѣжденія, политическія злопамятства и сочувствія Мицкѣвича умерли съ нимъ: намъ до нихъ дѣла нѣтъ. Но то, что создано внутреннимъ духомъ и дарованіемъ поэта переживаетъ попытки односторонней и тревожной дѣятельности Мицкѣвича-эмигранта.

Мицкѣвичъ, какъ Байронъ, какъ Пушкинъ, не могъ быть дѣйствующимъ политическимъ лицомъ. Онъ былъ и выше и ниже этой роли. Каждому дана своя доля. Конечно, подобныя натуры могутъ, какъ видѣли мы въ Байронѣ, принести себя на жертву идеѣ, или служенію предназначенной себѣ цѣли. Подобныя натуры, по своей раздражительной впечатлительности, могутъ увлекаться мнѣніями и волненіемъ

того или другого лагеря; но тогда изъ владыкъ на почвѣ имъ родной становятся они на чужой сценѣ игралищами и невольниками часто медкихъ и своекорыстныхъ политическихъ подрядчиковъ или импрезарій.

По несчастію, еще въ весьма молодыхъ лѣтахъ Мицкѣвичъ былъ заброшенъ въ ряды оппозиціи. Въ Виленскомъ учебномъ округѣ возникли частью ребяческія, частью предосудительныя, но во всякомъ случаѣ прискорбныя затѣи Польской молодежи. Имя Мицкѣвича было замѣшано въ этой неурядицѣ. Вѣроятно участвовалъ онъ *) въ ней болѣе пѣснями, нежели дѣломъ; но и онъ подвергся строгости суда, въ числѣ другихъ былъ исключенъ изъ учебнаго заведенія и сосланъ во внутренность Россіи. Въ мятежъ 1830 года онъ не участвовалъ. Но почти общее Польское потрясеніе было такъ сильно, что не могло, хотя и заднимъ числомъ, не отозваться на поэта. Къ довершенію несчастія, попалъ онъ потомъ въ Парижъ и былъ обхваченъ лихорадочною и судорожною жизнью его. Выше умомъ, нравственностію и честностію своею тѣхъ людей, съ которыми онъ силою обстоятельствъ сблизился, онъ предался ихъ влиянію. Въ нормальномъ состояніи не могъ-бы онъ никогда подѣлиться съ ними сочувствіемъ и удостоить ихъ своимъ уваженіемъ; но онъ уже не принадлежалъ себѣ, а идеѣ. Онъ создалъ себѣ кумиры. Польская эмиграція овладѣла имъ; овладѣлъ и театральныи либерализмъ, то есть лживый и бесплодный, такихъ высокопарныхъ пустомелей, каковы Мишле и Кинэ. Онъ былъ чистъ и добросовѣстенъ; но повторимъ еще: онъ уже не принадлежалъ себѣ. Съ своимъ свѣтлымъ умомъ не могъ онъ также надѣяться на окончательный успѣхъ предпринятаго дѣла; но жребій былъ брошенъ и запечатлѣлъ его своею роковою необходимостію. Виленскій студентъ былъ увлекаемъ все далѣе и далѣе по этой покатистой и безъсходной дорогѣ. Вскорѣ затѣмъ, подъ какимъ-то, словно магнетическимъ или *спиритическимъ*, наущеніемъ Товянскаго, создалъ онъ мечтательное и (какъ ни больно признаться) безобразное ученіе о какомъ-то Наполеоновскомъ мессіанизмѣ. Видѣть въ Наполеонѣ I-мъ преобразователя и возсоздателя новаго человечества, есть такое отемнѣніе, что, за исключеніемъ политическаго, никакое другое зелье и обмороженіе произвести его не могутъ. Г-жа Сталь сказала: «Въ царствова-

*) Можетъ быть, по влиянію господъ въ родѣ Ципринуса: ибо, страннымъ образомъ, въ Двѣдахъ Новосильцовъ изображенъ съ подробностями, писанными, почти можно сказать, подъ диктовку г. Ципринуса, бывшаго товарищемъ Мицкѣвичу въ Виленскомъ университетѣ. П. Б.

ніе Бонапарте одни военныя дѣла были хорошо ведены; все прочее добровольно и умышленно дѣлалось дурно». Впрочемъ, несмотря на частныя блистательныя побѣды, и войны въ Испаніи и Россіи 1812 и слѣдующихъ годовъ не были окончательно дѣломъ слишкомъ удачнымъ. Доказательствомъ тому служить, между прочимъ, двукратное бивакирование союзныхъ войскъ въ стѣнахъ Парижа. Однимъ Французамъ, по врожденнымъ въ нихъ легкомыслію и хвастливости, простительно поклоняться Вандомской колоннѣ, которая должна бы напоминать имъ объ униженіи и разореніи Франціи, до коихъ довелъ ее тотъ же Наполеонъ. Во всякомъ случаѣ, не Поляку славословить и баснословить память его. Чтò же сдѣлалъ онъ для Польши? Обратилъ къ ней нѣсколько военныхъ мадригаловъ въ своихъ прокламаціяхъ и реляціяхъ, роздалъ ей нѣсколько крестовъ Почетнаго Легіона, купленныхъ ею потоками Польской крови. Вотъ и все! Но Мицкѣвичъ, какъ замѣтили мы прежде, былъ уже омраченъ, омороченъ. Изъ всѣхъ человѣческихъ пристрастій и увлеченій, политическія наиболѣе и упорнѣе слѣпотящія. Политика обыкновенно суживаетъ умы. Примѣры кардинала Ришелье, Вашингтона или Франклина рѣдкія исключенія. Нелишнимъ замѣтить здѣсь мимоходомъ, что, несмотря на свой идолопоклонническій наполеонизмъ, онъ въ 1852 году былъ исключенъ президентомъ республики Людовикомъ Наполеономъ, вмѣстѣ съ Мишле и Кмне, изъ числа преподавателей во Французской Коллегіи. Когда загорѣлась Крымская война, онъ, по порученію Французскаго правительства, а частью можетъ быть и Польской эмиграціи и князя Чарторыскаго, отправился въ Константинополь. Тутъ несчастный и умеръ отъ холеры, въ одиночествѣ, вдали отъ нѣжно любимаго имъ семейства.

Въ двадцатыхъ годахъ былъ онъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, въ родѣ почетной ссылки. Въ томъ и другомъ городѣ сблизился онъ со многими Русскими литераторами и радушно принятъ былъ въ лучшее общество. Были ли у него и тогда потаенныя, заднія или передовыя мысли, рѣшить трудно. Оставался онъ кровнымъ Полякомъ и тогда, это несомнѣнно; но озлобленія въ немъ не было. Въ сочувствіи-же его къ нѣкоторымъ нашимъ литераторамъ и другимъ лицамъ ручаются неопровергаемыя свидѣтельства: гораздо позднѣе, въ самомъ разгарѣ своихъ политическихъ увлеченій, онъ устно и печатно говоритъ о нѣкоторыхъ Русскихъ писателяхъ съ любовью и уваженіемъ. И въ нихъ оставилъ онъ по себѣ самое дружеское впечатлѣніе и воспоминаніе. Въ прибавленіяхъ къ посмертному собранію сочиненій Мицкѣвича, писанныхъ на Французскомъ языкѣ, находимъ мы извѣстіе, что Московскіе литераторы дали ему предъ выѣздомъ изъ Москвы прощальный объѣдъ съ поднесеніемъ кубка и стиховъ. На кубкѣ вырѣзаны имена

Баратынскаго, братьевъ Петра и Ивана Кирѣевскихъ, Ялагина, Рожалина, Полеваго, Шевырева, Соболевскаго. Тутъ же разсказывается слѣдующее. Пушкинъ, встрѣтись гдѣ-то на улицѣ съ Мицкѣвичемъ, посторонился и сказалъ: «Стъ дороги двойка, тузь идетъ». На что Мицкѣвичъ тутъ-же отвѣчалъ: «Козырная двойка туза бьетъ».

Въ тѣхъ же прибавленіяхъ находимъ мы стихотвореніе Мицкѣвича, въ родѣ думы предъ памятникомъ Петра Великаго. Поэтъ говоритъ: «Однажды вечеромъ два юнони укрывались отъ дождя, руна въ руну, подъ однимъ плащемъ. Одинъ изъ нихъ былъ паломникъ, пришедшій съ Запада, другой—поэтъ Русскаго народа, славный пѣснями своими на всемъ Сѣверѣ. Знали они другъ друга съ недавняго времени, но знали коротко, и было уже нѣсколько дней, что были они друзьями. Ихъ души, возносясь надъ всеми земными препятствіями, походили на двѣ Альпійскія скалы-двойчатки, которыя, хотя силою потока и разделены на вѣки, но преклоняются другъ къ другу своими смѣлыми вершинами, едва внимая ропоту враждебной волны».

Очевидно, что тутъ идетъ рѣчь о Мицкѣвичѣ и Пушкинѣ. Далѣе поэтъ приписываетъ Пушкину слова, которыхъ онъ, безъ сомнѣнія, не говорилъ; но это поэтическая и политическая вольность: ни дивиться ей, ни жаловаться на нее нельзя. Впрочемъ замѣтка, что конь подъ Петромъ болѣе сталъ на дабы, нежели скачетъ впередъ, принадлежитъ не Мицкѣвичу и не Пушкину *).

II.

Вскорѣ по кончинѣ Пушкина, явилось во Французскомъ журналѣ Le Globe 25 Мая 1837 г. біографическое и литературное извѣстіе о немъ за подписью *другъ Пушкина* (un ami de Pouschkine). Книга, о которой мы говорили выше, открываетъ намъ, что этотъ *другъ Пушкина* былъ Мицкѣвичъ. Какія ни были-бы политическія мнѣнія и племенные препирательства, но все-же вѣроятно многимъ будетъ любопытно и занимательно узнать сужденіе великаго поэта о другомъ великомъ поэтѣ. Въ этомъ предположеніи сообщаемъ Русскимъ читателямъ статью Мицкѣвича въ слѣдующемъ переводѣ.

III.

Біографическое и литературное извѣстіе о Пушкинѣ.

Промежутокъ времени между 1815 и 1830 былъ счастливою эпохою для поэтовъ. Послѣ великой войны, Европа, усталая отъ сраже-

*) А. князь П. А. Вяземскому. П. Б.

ній и конгрессовъ, отъ военныхъ бюллетеней и протоколовъ, казалось, опостыляла къ грустной дѣйствительности и возносила взоры свои къ тому, что называли миромъ идеальнымъ. Тогда явился Байронъ. Онъ скоро овладѣлъ въ областяхъ воображенія такимъ же мѣстомъ, каковымъ владѣлъ Императоръ на почвѣ положительной силы. Судьба, которая безпрестанно давала Наполеону предлоги къ безконечнымъ войнамъ, благопріятствовала Байрону продолжительнымъ миромъ. Во время поэтическаго царствованія его, никакое великое событіе не отвлекало вниманія Европы, вполне занятой чтеніемъ Англійскихъ произведеній.

Въ эту самую пору молодой Русскій, Александръ Пушкинъ довершалъ образованіе свое въ Царскосельскомъ Лицеѣ. Въ этомъ училищѣ, направляемомъ иностранными методами, юноша не обучался ничему что могло бы обратиться въ пользу народному поэту; напротивъ, все могло содѣйствовать ему многое забыть: онъ утрачивалъ остатки родныхъ преданій, онъ становился чуждымъ и нравамъ, и понятіямъ роднымъ. Царскосельская молодежь нашла однакожь противоядіе отъ иноплеменнаго вліяніе въ чтенія поэтическихъ произведеній, особенно Жуковскаго. Сей знаменитый писатель, сперва подражатель Нѣмецкимъ поэтамъ, въ послѣдствіи сдѣлавшійся соперникомъ ихъ, пытался запечатлѣть Русскую поэзію народнымъ характеромъ: онъ воспѣвалъ Русскія легенды и отечественныя преданія. Такимъ образомъ Жуковский началъ воспитаніе Пушкина. Но Байронъ слишкомъ рано похитилъ его изъ этаго хорошаго училища и увлекъ его на долго въ фантастическія пустыни и пещеры романтизма.

По прочтеніи Байроновскаго *Корсара*, Пушкинъ почувствовалъ себя поэтомъ. Онъ написалъ и выдалъ въ свѣтъ много произведеній, изъ коихъ главнѣйшія: Кавказскій Пльнникъ и Бахчисарайскій Фонтанъ. Эти творенія возбудили восторгъ, который выразить-бы трудно: большая часть читателей дивилась новизнѣ содержанія и поэтическихъ приемовъ; женщины любовались глубокою чувствительностью молодаго человѣка и богатствомъ воображенія его; литераторы были поражены силою, изящностью и точностью слога. Пушкинъ былъ уже признанъ первымъ Русскимъ писателемъ. Эти легкіе успѣхи, внушая ему желаніе пріобрѣсти новые какъ можно скорѣе, много повредили спокойному развитію дарованія его; не должно забывать, что Пушкинъ былъ тогда еще отрокъ, выпрѣнный, величественный (sublime), но все еще ребѣнокъ: нравственный человѣкъ на Сѣверѣ созрѣваетъ медленно, чѣмъ на Западѣ; общественная почва далеко не содержитъ въ себѣ тѣхъ стихій броженія, какими исполнена почва старой Европы; литературная атмосфера, которою на Сѣверѣ дышешь, менѣе заражена электричествомъ страстей. Такимъ образомъ Пушкинъ зажилъ снѣ-

комъ рано; онъ проматывалъ ((gaspillait) дарованіе свое; онъ еляшкомъ понадѣлся на силы свои, преждевременно возлетѣлъ въ высшія области, гдѣ не могъ держаться самъ собою, и впалъ въ сферу притяженія Байрона. Онъ кружился около этого свѣтила, какъ планета, покорная системѣ его и озаренная его свѣтомъ. И подлинно, въ произведеніяхъ перваго приема его (manière) все Байроновское: содержаніе, характеры, мысль и форма. А между тѣмъ Пушкинъ не столько былъ подражатель твореніямъ, сколько поработился духомъ любимаго творца своего. Онъ не былъ фанатическимъ Байронистомъ: скорѣе назовемъ его Байрониакомъ. Поэтому, если не существовали-бы творенія Англійскаго поэта, Пушкинъ былъ бы провозглашенъ первымъ поэтомъ своей эпохи.

Подобный феноменъ предсказывалъ на Сѣверѣ великую литературную революцію: въ салонахъ не было уже иного разговора какъ о хорошихъ сторонахъ и о недостаткахъ новой поэтической школы; борьба за классицизмъ и романтизмъ готова была вспыхнуть въ Россіи, и замѣчательно, что въ то же время затѣвался политическій переворотъ.

Писатели въ Россіи (hommes de lettres) образуютъ родъ братства, соединеннаго многими связями. Они почти всѣ или люди занятые, или чиновники правительства; пишутъ они большею частью для того, чтобы пріобрѣсть славу или общественное значеніе. Талантъ у нихъ не сдѣлался еще товаромъ, а потому рѣдко встрѣчаются между ними ремесленное совмѣстничество и вражда интересовъ. По крайней мѣрѣ я не видалъ тому примѣра. (Не должно при семъ забывать, что Мицкѣвичъ говоритъ о литературѣ двадцатыхъ годовъ, которую засталъ онъ въ Россіи). Такимъ образомъ литераторы любили собираться между собою, видались почти ежедневно и весело проводили время среди обѣдовъ, чтеній, дружескихъ бесѣдъ и споровъ.

Поэтому заговорщикамъ, въ числѣ коихъ были также извѣстные писатели, легко было дѣйствовать пропагандою на Московскихъ и Петербургскихъ пріятелей. Пушкинъ, какъ и всѣ товарищи его, дѣлалъ оппозицію въ послѣднихъ годахъ царствованія императора Александра I. Онъ выпустилъ нѣсколько эпиграммъ противъ правительства и самаго Царя; онъ даже написалъ оду къ Кинжалу. Эти легучія стихотворенія разносились въ рукописяхъ изъ Петербурга до Одессы; вездѣ читали ихъ, толковали, любовались ими. Они придали поэту болѣе популярности, чѣмъ послѣдовавшія за тѣмъ творенія его, которыя сравнительно были и значительнѣе, и превосходнѣе. Вслѣдствіе того императоръ Александръ призналъ нужнымъ выслать Пушкина изъ столицы и велѣть ему жить въ провинціи. Императоръ Николай отмѣнилъ строгія мѣры, принятыя въ отношеніи къ Пушкину.

Онъ вызвалъ его къ себѣ, далъ ему частную аудіенцію и имѣлъ съ нимъ продолжительный разговоръ. Это было безпримѣрное событіе; ибо дотолъ никогда Русскій царь не разговаривалъ съ человѣкомъ, котораго во Франціи назвали бы пролетаріемъ, но который въ Россіи гораздо менѣе чѣмъ пролетарій на Западѣ: ибо, хотя Пушкинъ и былъ благороднаго происхожденія, онъ не имѣлъ никакого чина въ административной іерархіи. (Здѣсь Мицкевичъ увлекается западными воззрѣніями на Россію. Онъ могъ бы, не изыскивая другихъ примѣровъ, вспомнить о Петрѣ I, которому нерѣдко случалось бесѣдовать съ Русскими пролетаріями).

Въ сей достопамятной аудіенціи, Императоръ говорилъ о поэзіи съ сочувствіемъ. Здѣсь въ первый разъ Русскій Государь говорилъ о литературѣ съ подданнымъ своимъ. (Мицкевичъ опять уклоняется отъ дѣйствительности: онъ забываетъ Екатерину Великую и отношенія императора Александра къ Карамзину). Онъ ободрялъ поэта продолжать занятія свои, освободилъ его отъ официальной цензуры. Императоръ Николай явилъ въ этомъ случаѣ рѣдкую проницательность: онъ умѣлъ оцѣнить поэта; онъ угадалъ, что по уму своему Пушкинъ не употребитъ во зло оказываемой ему довѣренности, а по душѣ своей сохранить признательность за оказанную милость. Либералы однакоже смотрѣли съ неудовольствіемъ на сближеніе двухъ potentantovъ. Начали обвинять Пушкина въ измѣнѣ дѣлу патріотическому; а какъ дѣла и опытность возродили въ Пушкинѣ обязанность быть воздержнѣе въ рѣчахъ своихъ и осторожнѣе въ дѣйствіяхъ, то начали приписывать перемѣну эту расчетамъ честолюбія. Около того времени появились *Цыганы*, а позднѣе Мазепа (то есть Полтава), творенія замѣчательныя и которыя свидѣтельствовали о постепенномъ возвышеніи таланта Пушкина. Эти двѣ поэмы болѣе окрѣпили въ дѣйствительности. Содержаніе ихъ не изыскано и не многосложно, характеры изображенныхъ лицъ лучше постигнуты и обрисованы твердою рукою, слогъ ихъ освобождается отъ всякой романтической принужденности. Къ сожалѣнію, Байроновская форма, какъ доспѣхи Саула, все еще подавляетъ и гнететъ движенія сего молодого Давидъ; но однакоже уже очевидно, что онъ готовъ сложить съ себя эти доспѣхи. (Если Мицкевичъ въ этомъ случаѣ правъ, то развѣ въ отношеніи къ «Цыганамъ»: Алеко все еще доводится сродни Байроновскимъ героямъ; но въ «Полтавѣ» Пушкинъ уже стоялъ твердою ногою на своей собственной почвѣ).

Эти отгѣнки, означающіе переходъ художника отъ одного приѣма (*manière*) къ другому, явствуютъ очевидно въ лучшемъ, своеобразнѣйшемъ и наиболѣе національномъ изъ твореній его,—въ Онѣгинѣ.

Пушкинъ, создавая свой романъ, передавалъ его публикѣ отдѣльными главами, какъ Байронъ Донъ-Жуана своего. Сначала онъ еще подражаетъ Англійскому поэту, вскорѣ пытается идти съ помощью однѣхъ собственныхъ силъ своихъ, кончаетъ тѣмъ, что становится самъ оригиналенъ. Разнообразное содержаніе, лица, выведенныя въ Онѣгинь, принадлежать жизни дѣйствительной, жизни частной; въ нихъ отзываются трагическіе отголоски и развиваются сцены высокой комедіи.

Пушкинъ написалъ также драму, которую Русскіе цѣнятъ высоко и ставятъ наравнѣ съ драмами Шекспира. Я не раздѣляю ихъ мнѣнія. Объясненіе тому вовлекло бы меня въ разсужденія черезчуръ пространныя; достаточно замѣтить, что Пушкинъ былъ слишкомъ молодъ для воссозданія историческихъ личностей. Онъ сдѣлалъ опытъ драмы, но опытъ, который доказываетъ, до чего бы могъ бы онъ достигнуть со временемъ: *et tu Shakespeare eris si fata sinant* *).

Драма Борисъ Годуновъ содержитъ въ себѣ подробности и даже сцены изумительной красоты. Особенно прологъ кажется мнѣ столь самобытенъ и величественъ (*original et grandiose*), что, не обинуясь, признаю его единственнымъ въ своемъ родѣ. Не могу отказаться отъ удовольствія сказать о немъ нѣсколько словъ. (Здѣсь авторъ обозначаетъ въ краткомъ изложеніи основу драмы, сцену Пимена и Отрепьева). Драма, какъ и все что Пушкинъ до того времени издалъ, не даетъ мѣры таланта его. Въ той эпохѣ, о которой говоримъ, онъ прошелъ только часть того поприща, на которое былъ призванъ: ему было тридцать лѣтъ. Тѣ, которые знали его въ это время, замѣчали въ немъ значительную перемену. Въмѣсто того, чтобы съ жадностью пожирать романы и заграничныя журналы, которые нѣкогда занимали его исключительно, онъ нынѣ болѣе любитъ вслушиваться въ разсказы народныхъ былинъ и пѣсней и углубляться въ изученіе отечественной исторіи. Казалось, онъ окончательно покидалъ чуждыя области и пускалъ корни въ родную почву. Одновременно разговоръ его, въ которомъ часто прорывались задатки будущихъ твореній его, становился обдуманнѣе и степеннѣе (*sérieux*). Онъ любилъ обращать разсужденія на высокіе вопросы религіозные и общественные, о существованіи коихъ соотечественники его, казалось, и понятія не имѣли. (Съ вѣмъ же Пушкинъ входилъ въ подобныя прѣвнія, если соотечественники и современники его не были въ состояніи понимать эти вопросы? Онъ мало входилъ въ связь съ иностранцами: отношенія его съ ними были чисто-свѣтскія). Очевидно, поддавался онъ внутреннему

*) И ты будешь Шекспиромъ, если судьба позволитъ.

преобразованію. Какъ человѣкъ, какъ художникъ, онъ несомнительно готовъ былъ измѣнить свою прежнюю постановку, или скорѣе найти другую, которая была бы ему исключительно свойственна. Онъ пересталъ писать стихи. (Не совсѣмъ вѣрно. Онъ до конца писалъ отдѣльныя стихотворенія, если не такого объема, какъ прежнія поэмы, но за то запечатлѣнныя еще болѣе трезвостью и зрѣлостью). Онъ выдалъ въ свѣтъ нѣсколько историческихъ сочиненій, которыя должно признать одними подготовительными работами. Къ чему предназначалъ онъ себя? Чего хотѣлъ? Выставить со временемъ ученость свою? Нѣтъ! Онъ презиралъ авторовъ, не имѣющихъ никакой цѣли, никакого направленія, *tendance*. (И это едва ли правда). Онъ не любилъ философскаго скептицизма и художественной безстрастности Гёте. Чтò происходило въ душѣ его? Воспринимала ли она безмолвно въ себя дуновение этого духа, который животворилъ созданія Манзони, Пеллико, и который, кажется, оплодотворяетъ размышленія Томаса Мура, также замолкшаго? Или воображеніе его, можетъ быть, работало надъ осуществленіемъ въ себѣ мыслей С. Симона и Фурье? Не знаю: въ нѣкоторыхъ бѣглыхъ стихотвореніяхъ его и разговорахъ мелькали слѣды этихъ направленій. (Здѣсь Мицкѣвичъ, какъ оболоченный ученикъ Товянскаго, совершенно удаляется отъ истины. Онъ видитъ не то, чтò есть, а чтò подъ обаяніемъ возрѣнія ему мерещится. Любопытный ужъ Пушкина могъ быть заинтересованъ изученіемъ возникающихъ системъ, но такъ называемыя социальныя и мистическія теоріи были совершенно чужды и противны натурѣ его). Какъ бы то ни было, я былъ убѣжденъ, что въ поэтическомъ безмолвіи его таились счастливыя предзнаменованія для Русской литературы. Я ожидалъ, что вскорѣ явится онъ на сценѣ человѣкомъ новымъ, въ полномъ могуществѣ дарованія своего, созрѣвшимъ опытностью, укрѣпленнымъ въ исполненіи предначертаній своихъ. Всѣ знавшіе его дѣлили со мною эти желанія. Выстрѣлъ изъ пистолета уничтожилъ всѣ надежды.

Пуля, сразившая Пушкина, нанесла ужасный ударъ умственной Россіи. Она имѣетъ нынѣ отличныхъ писателей; ей остаются Жуковский, поэтъ исполненный благородства, граціи и чувства; Крыловъ, басенникъ богатый изобрѣтеніемъ, поподражаемый въ выраженіи, и другіе; но никто не замѣнитъ Пушкина. Только однажды дается страиъ воспроизвести человѣка, который въ такой высокой степени соединяетъ въ себѣ столь различныя и, новидимому, другъ друга исключаютія качества. Пушкинъ, коего талантъ поэтическій удивлялъ читателей, увлекалъ, изумлялъ слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума его, былъ одаренъ необыкновенною памятью, сужденіемъ вѣрнымъ,

вкусомъ утонченнымъ и превосходнымъ. Когда говорилъ онъ о политикѣ виѣшней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека заматерѣвшаго въ государственныхъ дѣлахъ и пропитаннаго ежедневнымъ чтеніемъ парламентарныхъ преній. Онъ нажилъ себѣ много враговъ эпиграммами и колкими насмѣшками. Они мстили ему клеветою. Я довольно близко и довольно долго зналъ Русскаго поэта; находилъ я въ немъ характеръ слишкомъ впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренній, благородный и способный въ сердечнымъ изліяніямъ. Погрѣшности его казались плодами обстоятельство, среди которыхъ онъ жилъ: все что было въ немъ хорошаго, вытекало изъ сердца. Онъ умеръ 38 лѣтъ.

IV.

Мы извлекли изъ статьи Мицкѣвича все, что прямо относилось до Пушкина, оставивъ въ сторонѣ кое-какія Польско-политическія приности, коими авторъ счелъ за нужное посыпать статью свою. Во-первыхъ, онъ не идетъ къ дѣлу; во вторыхъ эти вставочныя сужденія не заключаютъ въ себѣ ничего новаго: каждый читатель, немного знакомый съ стереотипными нареканіями западной печати на Россію, можетъ представить себѣ оговорки, намеки и приговоры Польскаго эмигранта, который говоритъ предъ Французами. Главная занимательность статьи заключается, по нашему мнѣнію, въ сужденіи великаго поэта о великомъ поэтѣ.

Можно не вездѣ, не всегда и не вполне согласоваться съ приговорами Польскаго писателя: иногда онъ слишкомъ строгъ; иногда, за давностью и, можетъ быть, за недостаткомъ матеріаловъ подъ рукою, онъ иное запоминать, на другое ссылается не съ надлежащей точностью; но вообще критика его запечатлѣна здравою трезвостью, глубокимъ знаніемъ дѣла и сочувствіемъ. Онъ вообще хорошо понималъ талантъ Пушкина и вѣрно оцѣнилъ его. Въ этой характеристикѣ есть мысль, чувство и судъ; въ ней слышится голосъ просвѣщеннаго критика и великаго художника. Едва ли найдется въ Русской критикѣ (а о Пушкинѣ много писали и пишутъ) подобная вѣрная, тонкая и глубокая характеристика поэта нашего.

V.

Въ дополненіе къ вышеприведенной статьѣ, напечатаны въ той же книгѣ другіе отзывы о Пушкинѣ, извлеченные изъ лекцій, читанныхъ Мицкѣвичемъ во Французской Коллегіи, когда онъ занималъ въ

ней кафедре Славянскихъ языковъ. Въ этихъ отрывкахъ встрѣчается многое, что уже было сказано въ предыдущей статьѣ. Выписываемъ изъ нихъ только то, что представляетъ новыя воззрѣнія или добавляетъ прежнія. Въ этихъ выпискахъ, и по тѣмъ же причинамъ, будемъ держаться исключительно литературнаго содержанія, не забывая на политическія тропинки, которыя увлекаютъ профессора.

VI.

«Съ появленіемъ Пушкина (говоритъ профессоръ) въ училищахъ преподавали еще старую литературу, слѣдовали правиламъ ея въ книгахъ; но публика забывала ее. Предъ Пушкинымъ мало-по-малу исчезали Ломоносовъ, а съ нимъ и Державинъ, уже престарѣлый, надѣленный почестями и славою. Въ тоже время новые поэты, какъ Жуковскій, человекъ великаго дарованія, и Батюшковъ, уже сходили на вторую ступень. Еще любили стихотворенія ихъ, но уже не восторгались ими; восторгъ былъ данъю одному Пушкину».

«Пушкинъ началъ подражаніемъ всему, что засталъ онъ въ Русской поэзіи: онъ писалъ оды въ родѣ Державина, но превзошелъ его; какъ Жуковскій, онъ подражалъ старымъ народнымъ пѣснопѣніямъ, но и его превзошелъ окончательностью формы и особенно же полнотою творчества (*la largeur de ses compositions*). Обыкновенно писатель проходитъ чрезъ школы до него существовавшія: онъ перелетаетъ сферы минувшаго, чтобы возвыситься въ будущемъ».

«За подражаніями Байрону, Пушкинъ безсознательно подражалъ также и Вальтеру-Скотту. Тогда много толковали о краскѣ мѣстности, объ историческомъ изученіи, о необходимости возсоздавать исторію въ поэзіи. Послѣднія творенія Пушкина колеблются между двумя этими направленіями: онъ то Байронъ, то Вальтеръ-Скоттъ. Онъ еще не Пушкинъ».

Далѣе Мидкѣвичъ называетъ Онѣгина оригинальнѣйшимъ созданіемъ Пушкина, которое читано будетъ съ удовольствіемъ во всѣхъ Славянскихъ странахъ. Онъ излагаетъ въ нѣсколькихъ строкахъ ходъ поэмы и говоритъ:

«Пушкинъ не такъ плодоносенъ и богатъ какъ Байронъ, не возносится такъ высоко въ полетѣ своемъ, не такъ глубоко проникаетъ въ сердце человѣческое, но вообще онъ правильнѣе Байрона и тщательнѣе и отчетливѣе въ формѣ. Его проза изумительной красоты. Она безпрестанно и непримѣтно мѣняетъ краски и приемы свои. Съ

высоты оды снисходить до эпитафий, и среди подобнаго разнообразія встрѣчаешь сцены, достигающія до эпическаго величія».

«Въ первыхъ главахъ романа своего Пушкинъ, вѣроятно, не имѣлъ еще въ виду развязки, которою онъ романъ кончаетъ: иначе не могъ бы онъ съ такою нѣжностью, съ такими простосердечіемъ и силою изобразить молодыхъ этихъ людей (Ленскій, Ольга и Татьяна) и кончить рассказъ свой такимъ грустнымъ и прозаическимъ образомъ.» (Вѣроятно, критикъ указываетъ здѣсь на браки двухъ сестеръ. Впрочемъ, онъ, кажется, совершенно правильно угадалъ, что поэтъ не имѣлъ первоначально преднамѣреннаго плана. Онъ писалъ Онѣгина подъ вдохновеніями минуты и подъ наитіемъ впечатлѣній, слѣдовавшихъ одно за другимъ. Одна умная женщина, княгиня Голицына, урожденная гр. Шувалова, извѣстная въ концѣ минувшаго столѣтія своею любезностью и Французскими стихотвореніями, царствовавшая въ Петербургскихъ и заграничныхъ салонахъ, сердечно привязалась къ Татьянѣ. Однажды спросила она Пушкина: «Что думаете вы сдѣлать съ Татьяною? Умоляю васъ, устройте хорошенько участь ея». — «Будьте покойны, княгиня», отвѣчалъ онъ, смѣясь: «выдамъ ее замужъ за генераль-адъютанта». — «Вотъ и прекрасно», сказала княгиня. «Благодарю». — Легко можетъ быть, что эта шутка порѣшила судьбу Татьяны и поэмы). «Эта поэма проникнута грустью болѣе глубокою, чѣмъ та, которая выражается въ поэзіи Байрона. Пушкинъ, начитавшись романовъ, раздѣлявшій чувства друзей своихъ, молодыхъ, заносчивыхъ (fougueux) либераловъ, ощущаетъ жестокую пустоту обмановъ: отъ того и разочарованіе его ко всему, что есть великое и прекрасное на землѣ, и Пушкинъ, рисуя байрониста, дѣлаетъ свой собственный портретъ».

«Пушкинъ былъ таковъ. Другая личность романа, молодой Русскій съ распущенными волосами, поклонникъ Канта и Шиллера, энтузіастъ и мечтатель, тоже Пушкинъ въ одной изъ эпохъ жизни его. Поэтъ предсказалъ собственную участь свою. Пушкинъ, какъ и созданный имъ Владимиръ, погибъ на поединкѣ вслѣдъ за незначительною ссорю».

Замѣчательно, какъ, продолжая Онѣгина и задумавъ поссорить его съ Ленскимъ, Пушкинъ былъ сильно озабоченъ поединкомъ, къ которому ссора эта должна была довести. Въ этой заботѣ есть въ самомъ дѣлѣ какое-то тайное предчувствіе. Съ другой стороны есть въ ней и признакъ подвластности его Байрону. Онъ боялся, что пѣвецъ Донъ-Жуана упредитъ его и внесетъ поединокъ въ поэму свою. Пушкинъ съ лихорадочнымъ смущеніемъ выжидалъ появленія новыхъ пѣсней, чтобы искать въ нихъ оправданія или опроверженія страха

своего. Онъ говорилъ, что послѣ Байрона никакъ не осмѣлится вывести въ бой противниковъ. Наконецъ, убѣдившись, что въ Донъ-Жуанѣ поединка нѣтъ, онъ зарядилъ два пистолета и вручилъ ихъ сегодня двумъ врагамъ, вчера еще двумъ пріятелямъ. Заботы поэта не пропали. Поединоку въ поэмѣ его—картина въ высшей степени художественная; смерть Ленскаго, все что поэтъ говоритъ при этомъ, можетъ быть въ своемъ родѣ лучшіе и трогательнѣйшіе изъ стиховъ Пушкина. Правда и то, что Ленскій только смертью своею возбуждаетъ сердечное сочувствіе къ себѣ (въ чемъ, вопреки указаніямъ Мицкѣвича, вовсе не сходится онъ съ Пушкинымъ). Когда Пушкинъ читалъ еще неизданную тогда главу поэмы своей, при стихѣ:

Друзья мои, вамъ жаль поэта,

одинъ изъ пріятелей его сказалъ: «Вовсе не жаль!»—«Какъ такъ?» спросилъ Пушкинъ.—«А потому», отвѣчалъ пріятель, «что ты самъ вывелъ Ленскаго болѣе смѣшнымъ, чѣмъ привлекательнымъ. Въ портретѣ его, тобою нарисованномъ, встрѣчаются черты и оттѣнки карикатуры». Пушкинъ добродушно засмѣялся, и смѣхъ его былъ, по видимому, выраженіемъ согласія на сдѣланное замѣчаніе.

Говоря о нѣкоторыхъ отдѣльныхъ стихотвореніяхъ поэта, Мицкѣвичъ обращаетъ особенное вниманіе на извѣстное подъ заглавіемъ Пророкъ. Въ этомъ произведеніи критикъ видитъ начало новой эры въ жизни Пушкина; но, продолжаетъ онъ: «Пушкинъ не имѣлъ въ себѣ достаточно силы, чтобы осуществить это предчувствіе; не достало смѣлости, чтобы подчинить внутреннюю жизнь и труды свои этимъ возвышеннымъ понятіямъ. Произведеніе, о которомъ говоримъ, блуждаетъ посреди произведеній его какъ нѣчто совершенно отдѣльное и по истинѣ превосходное».

«Какое понятіе имѣютъ Славянскіе поэты о своемъ призваніи и о своихъ обязанностяхъ? Судя искусство и художественныя созданія, они принимаютъ за одно форму и внутренность содержанія, рѣчь и то, что она выражаетъ, и все заключается у нихъ въ одномъ словѣ: дѣйствіе. Такимъ образомъ, по мнѣнію Богдана Залѣскаго, не желаніе воспѣть подвиги какихъ-нибудь вождей, не жажда популярности, не любовь къ искусству могутъ образовать поэта: нужно быть предъизбраннымъ, нужно тайными узами сопрягаться съ страной, которую воспоешь, а воспѣвать—ничто какъ иное, какъ повѣдать Божию мысль, которая почіетъ на сей странѣ и на народѣ, къ которому поэтъ принадлежитъ».

По мнѣнію критика, послѣ Пророка начинается нравственное паденіе поэта. Онъ безспорно остался художникомъ неподражаемымъ; но съ тѣхъ поръ не создалъ онъ ничего подобнаго произведенію, о которомъ рѣчь идетъ: кажется даже, онъ возвращается вспять.

Видимо, Мицкѣвичу все хотѣлось бы завербовать Пушкина подъ хоругвь политическаго мистицизма, которому онъ самъ предался съ такимъ увлеченіемъ. Мудрено понять, какъ поэтъ въ душѣ и во всѣхъ явленіяхъ жизни своей, каковымъ былъ Польскій поэтъ, могъ придавать какому-нибудь отдѣльному стихотворенію глубокое значеніе перелома и новаго преобразованія въ общемъ и основномъ характерѣ поэта. Неужели самому Мицкѣвичу не случалось быть подъ наитіемъ всеоблаждающаго, но перелетнаго вдохновенія? Въ жизни поэта день на день, минута на минуту не приходится. Одни мелкіе умы и тупоглазые критики, прикрѣпляясь къ какой-нибудь частности, подводятъ ее подъ общій знаменатель. Далеко не таковы были умъ и глаза Мицкѣвича; но духъ системы, но политическое настроеніе отуманивають и самыя свѣтлыя умы, и самое проницательное зрѣніе. Односторонность, пристрастіе, свойственныя людямъ закабалившимъ себя одной мысли или одному расколу, лишаютъ ихъ, разумѣется, и свободы въ воззрѣніи на людей и вещи. Одержимые недугомъ исключительной мысли, они все и всѣхъ къ ней пригибаютъ: случайности отдѣльныя, переходчивыя явленія сейчасъ втискиваютъ они въ свою готовую раму. Явленія къ ней не подходятъ? Рама то слишкомъ узка, то слишкомъ велика? Они укорачиваютъ событія, или вытягиваютъ ихъ донельзя. Имъ горя нѣтъ: была бы рама цѣла и ненарушимо уважена, а событія и истина тутъ дѣло второстепенное. Суевѣрно себя обманывая, эти люди безсознательно обманываютъ и другихъ.

Въ доказательство мистическаго расположенія, которымъ былъ захваченъ духъ Мицкѣвича, приведемъ еще мысли его о трагедіи Борисъ Годуновъ.

«Драма есть сильнѣйшее художественное осуществленіе поэзіи. Много трудности въ созданіи Славянской драмы. Подобная драма должна быть лирическая, она должна напоминать намъ прекрасныя напѣвы народныхъ пѣсней; ей должно переносить насъ въ *міръ сверхъестественный* (?). Драма Пушкина въ составѣ своемъ—подражаніе Шиллеру и Шекспиру. Но онъ худо сдѣлалъ, что ограничилъ ее дѣйствіемъ на землѣ. Въ прологѣ своемъ даетъ онъ намъ предчувствовать міръ сверхъестественный, но вскорѣ совершенно забываетъ о немъ, и драма просто кончается политическою интригою».

Мицкѣвичъ цитуетъ еще и оду Пушкина на смерть Наполеона и приводитъ послѣднюю строфу:

„Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь!
Хвала!... Онъ Русскому народу
Высокій жребій указалъ
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ.

«И здѣсь», говоритъ онъ, «высказывается чувство Русской національности, воспоминаніе поэзіи Державинской. Видишь также и предчувствіе будущаго въ сознаниі, что Наполеонъ былъ пророкомъ свободы».

Если и былъ онъ пророкомъ свободы, то кстати сказать здѣсь: никто не пророкъ въ своемъ отечествѣ.

Въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ: «Чтобы дать себѣ явственное понятіе о ходѣ поэтовъ и литературъ у Славянскихъ племенъ, должно представить себѣ путниковъ, которые съ разныхъ точекъ горизонта направляются безсознательно къ одному мѣсту общаго соединенія. Всѣ, безъ изыятія, покидаютъ минувшее, кто съ сожалѣніемъ, кто съ отчаяніемъ. Но какъ каждый возносится въ области болѣе возвышенныя, то и предвидишь уже тотъ день, въ который сойдутся они. Мы уже замѣтили, что критическая минута, которая отрываетъ минувшее отъ грядущаго, зачинается съ Байрона. Послѣднее слово Польскаго поэта, который ближе всѣхъ слѣдуетъ за лордомъ Байрономъ, есть также вопль отчаянія: Мальчевскій, не находя на землѣ ничего достойнаго исканія и желанія, обнажаетъ саблю свою противъ всего общества, потому что онъ утратилъ всю надежду на осуществленіе высокихъ чувствъ и высокихъ помысловъ. Онъ хочетъ умереть, потому что ничему возвышенному не суждено успѣть на землѣ. Пушкинъ расточается въ непрерывныхъ варіаціяхъ на эту же тему; онъ плачетъ, потому что юность обманула его, потому что пережилъ онъ всѣ сновидѣнія своихъ прекрасныхъ дней, сновидѣнія любви, сновидѣнія свободы, сновидѣнія славы; и онъ, наконецъ, восклицаетъ: «цѣли нѣтъ предо мною».

«Къ чему же тогда писать ему? Увы! Къ тому, чтобы бросить какой-нибудь блескъ, нѣсколько цвѣтковъ на могилу свою, чтобы оставить воспоминаніе о грустной жизни своей. Таковы чувства, имъ выраженные. Жизнь ускользала отъ поэта: у него уже не было будущаго. Польскіе поэты за пѣснями о минувшемъ находятъ въ стремленіи религіозномъ, а особенно политическомъ, новую сферу дѣйствія. Въ Пушкинѣ находишь одно предчувствіе того».

Со смертью Пушкина Мицкѣвичъ хоронитъ и всю Русскую литературу. Приговоръ слишкомъ безусловный и самовластный. Литература можетъ на время оцѣмѣть; но она не умираетъ, пока живъ народъ. Какъ ни будь могущественъ и плодоносенъ временный представитель ея, нынѣ умолкнувшій, изъ самаго этого глубокаго молчанія рано или поздно возникнетъ преемникъ, который отзовется на прерванную рѣчь. Вотъ подлинныя слова Польскаго критика:

«Такова была кончина Русской литературы, образовавшейся подъ влияніемъ Петра Великаго. Конечно остаются еще великія дарованія, пережившія Пушкина; но на дѣлѣ Русская литература съ нимъ кончилась. Онъ умеръ, сей человекъ столь ненавидимый и преслѣдуемый всѣми партіями: онъ оставилъ имъ свободное мѣсто. Кто же замѣнитъ его на этомъ упраздненномъ мѣстѣ? Писатели съ умомъ: Пушкинъ не былъ ли всѣхъ ихъ умнѣе? Пѣвцы сонетовъ, балладъ? Пушкинъ далеко превзошелъ ихъ. На какой новый путь попытаются вступить они? Съ понятіями, которыя они имѣютъ, имъ невозможно подвинуться на шагъ впередъ: Русская литература на долгое время заторможена».

Какъ бы то ни было, тутъ есть доля и правды, и доля неумѣренности. Къ тому же опять должно помнить, что все сказанное выше относится къ эпохѣ, которая отдѣлена отъ нашей нѣсколькими десятками годовъ. Иное могло съ того времени измѣниться, и дѣйствительно измѣнилось; но въ какомъ отношеніи, вотъ вопросъ. Любопытно угадать, какое было бы мнѣніе Мицкѣвича о Русской литературѣ, если бы дожилъ онъ до настоящаго возраста ея. Едва ли нашелъ бы онъ въ этотъ періодъ времени законнаго преемника, даже въ самомъ Лермонтовѣ. Едва ли онъ открылъ бы залоги и признаки новой жизни въ той литературѣ, которую онъ восхищался въ Пушкинѣ и особенно въ той, которую онъ ожидалъ и требовалъ отъ возрожденнаго Пушкина. Онъ безъ сомнѣнія нашелъ бы большое развитіе и движеніе, и даже нѣкоторую роскошь въ литературѣ, такъ сказать, *дѣловой*, реальной, положительной. Его удивило бы множество разродившихся литературъ: какъ-то литература финансовая, литература хозяйственная, желѣзнодорожная, полицейская, сыскная, адвокатурная, литература земская, всеобщая, волостная, биржевая; всѣхъ подростковъ въ этомъ новомъ литературномъ питомникѣ не исчислишь. Нѣтъ сомнѣнія, что эта письменная дѣятельность, которая обхватила наши журналы и печать, часто, если не всегда, приноситъ пользу свою обществу: она пополняетъ значительныя пробѣлы, существовавшіе до того въ печати нашей. Но все же это не литература, которую Мицкѣвичъ преподавалъ съ кафедры и которой служилъ въ твореніяхъ своихъ; не литература Пушкинская, даже не Гоголевская,

не литература въ томъ значеніи, въ которомъ она отъ первыхъ образцовъ Грековъ и Римлянъ перешла ко всѣмъ образованнымъ народамъ. Еще болѣе: такую ли поденною литературою можетъ довольствоваться общество, которое стремится облагородить, возвысить нравственныя силы свои, воспитать и просвѣтить понятія и чувства? Безъ этой духовной пищи, на потребу умственнымъ вождѣніямъ и жадности, безъ полнаго удовлетворенія этимъ также насущнымъ потребностямъ образованнаго общества, недостаточны и ненадежны самыя положительныя и матеріальныя успѣхи, которыми настоящее время можетъ до нѣкоторой степени гордиться.

Прежде у насъ много жаловались, и часто не безъ причины, на цензуру. Теперь есть еще цензора, но цензуры уже нѣтъ, или почти нѣтъ. Литература имѣла свое 19 Февраля: перья освобождены отъ цензурнаго крѣпостничества. Правда, они по старому порядку платятъ еще иногда нѣкоторыя повинности, но это исключеніе; а въ сущности право свободы провозглашено, и на дѣлѣ имъ пользуются. Но отвѣчаетъ ли эта польза надеждѣ, которую многіе питали? Что окончательно выиграла литература, въ первобытномъ значеніи своемъ, отъ простора, который разчищенъ предъ нею? Многіе думали, что, сними ограду, новыя дѣтели, новыя гении и плодовитыя таланты, такъ и нахлынутъ на отверстое ристалище. Едва ли оно такъ сбылось. Безцензурная эпоха пока молчитъ и пробавляется старыми запасами. Нынѣ извѣстнѣйшіе и любимѣйшіе публикою писатели все еще лица давно намъ знакомыя. Не называю ихъ: они сами себя называютъ. «Молчу, но не молчатъ журналы и весь свѣтъ».

Дѣло въ томъ, что они принадлежатъ ценсурной эпохѣ и что имъ не приходится посторониться предъ новымъ наплывомъ. Но вотъ что всего страннѣе: и лучшія произведенія этихъ вчерашнихъ писателей принадлежатъ не нынѣшней порѣ, а вчерашней. Дѣти ихъ, рожденныя отъ гражданскаго брака, далеко отстали отъ прежнихъ дѣтей ихъ, богобоязненно записанныхъ въ метрику ценсурнаго прихода. Какъ объяснить это физиологическое явленіе? Можетъ быть, объясненія и найдутся; но на нихъ нужна книга: отдѣльной статьи не станетъ.

VII.

Окончивъ обзорнѣе отзывы Польскаго поэта о Пушкинѣ, мы, разставаясь съ Мицкѣвичемъ, хотимъ посвятить ему еще нѣсколько словъ сочувственныхъ и добропамятныхъ. Когда явился онъ въ Мо-

скву высланнымъ изъ Литвы въ слѣдствіе беспорядковъ, возникшихъ въ Виленскомъ учебномъ округѣ, тогда Польскаго вопроса еще не было. То время не было столь вопросительно, какъ наше. Возбужденіе вопросовъ рождаетъ часто затруднительность и многозначность ихъ. Польшу тогда знали мало, мало говорили о ней. Это было нехорошо; теперь журнальные публицисты знаютъ ее не лучше, но говорятъ о ней больше; и это худо. Польская литература оставалась въ совершенномъ невѣдѣніи. Нѣкоторые государственные люди и другіе мыслители сѣтовали о привилегированномъ положеніи, въ которомъ императоръ Александръ возсоздалъ Царство Польское. Но и тутъ племенной вражды не было: было одно политическое соображеніе съ точки Русскаго государственнаго воззрѣнія. Впрочемъ не должно забывать, въ огражденіе памяти Императора, что это привилегированное положеніе Польши было въ видахъ Александра только временное. Въ обширныхъ замыслахъ его (сбыточны - ли и полезны - ли были бы они, это другой вопросъ, сужденію нашему не подлежащій), Царство Польское, какъ часть одного цѣлаго, должно было войти въ общую систему государственнаго преобразованія, которое Государь готовилъ. Какъ-бы то ни было, Мицкѣвичъ радушно принять былъ Москвою. Она видѣла въ немъ подпавшаго дѣйствию административной мѣры, но мало заботилась о поводѣ, вызвавшемъ эту мѣру. Мало ли было и по другимъ учебнымъ округамъ примѣровъ подобнаго распоряженія со стороны начальства? Все въ Мицкѣвичѣ возбуждало и привлекало сочувствіе къ нему. Онъ былъ очень уменъ, благовоспитанъ, одушевителемъ въ разговорахъ, обхожденія утонченно-вѣжливаго. Держался онъ просто, то есть благородно и благоразумно, не корчилъ изъ себя политической жертвы; не было въ немъ и признаковъ ни заносчивости, ни обрядной уничижительности, которыя встрѣчаются (и часто въ совокупности) у нѣкоторыхъ Поляковъ. При отбѣнкѣ мслахолическаго выраженія въ лицѣ, онъ былъ веселаго склада, остроуменъ, скоръ на мелкія и удачныя слова. Говорилъ онъ по-французски не только свободно, но изящно и съ примѣсю иноплеменной поэтической оригинальности, которая оживляла и ярко расцвѣчивала рѣчь его. По-русски говорилъ онъ тоже хорошо, а потому могъ онъ скоро сблизиться съ разными слоями общества. Онъ былъ вездѣ у мѣста: и въ кабинетѣ ученаго и писателя, и въ салонѣ умной женщины, и за веселымъ пріятельскимъ обѣдомъ. Поэту, то есть степени и могуществу дарованія его, вѣрили пока на слово и по наслышкѣ: только весьма немногіе знакомые съ Польскимъ языкомъ могли оцѣнить Мицкѣвича-поэта, но всѣ оцѣнили и полюбили Мицкѣвича-человѣка. Между тѣмъ онъ въ тишинѣ продолжалъ свои поэтическія занятія. Замѣчательно,

что многія изъ нихъ напечатаны въ Москвѣ и въ Петербургѣ и, разумѣется, съ одобреніемъ цензуры. Только позднѣе и заднимъ числомъ, то есть послѣ Польскаго возстанія 1830 года, подверглись онѣ новому ценсурному допросу и слѣдствію. Князь Паскевичъ и графъ Чернышовъ (военный министръ) входили по этому предмету въ сношеніе съ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. За этимъ, сочиненія Мицкѣвича и едва ли не самое имя его, подпали *индексу*, то есть безсловному запрету. Особенно же заподозрѣна была поэма его *Валленродъ*, напечатанная въ Россіи и отрывки коей показывались въ переводѣ въ нашихъ журналахъ. Была ли она дѣйствительно написана не подъ однимъ поэтическимъ, но и подъ Макиавелистическимъ вдохновеніемъ, рѣшить не беремъ. Но что въ ней многое могло быть истолковано въ такомъ смыслѣ, это несомнѣнно. По крайней мѣрѣ, послѣдовавшія событія придали ей этотъ смыслъ.

Мы упомянули о находчивости и меткости слова у Мицкѣвича. Вотъ примѣръ тому, одинъ изъ многихъ. Въ Москвѣ кто-то заспорилъ съ нимъ о правописаніи Польской фамиліи: Мокроновски. Москвичъ утверждалъ, что она пишется Мокроноски. Мицкевичъ настаивалъ и совершенно правильно, что пишется *Mokronowski*. «Развѣ», прибавилъ онъ, «что эта фамилія была окорочена въ слѣдствіе новаго раздробленія Польши, о которомъ я еще не слыхалъ».

При воспоминаніяхъ о пребываніи Польскаго поэта въ Москвѣ, приходитъ на умъ довольно странное сближеніе. Замѣчательно, что упрекъ его Пушкину, что онъ слишкомъ подчинялъ себя Байрону, былъ гораздо прежде обращенъ къ нему самому. Еще въ 1828 году, умный и къ сожалѣнію и къ стыду нынѣшняго поэтического чувства, мало оцѣненный Баратынскій говоритъ въ прекрасныхъ стихахъ.

Не подражай: своеобразенъ геній
И собственнымъ величіемъ великъ...
Съ Израилемъ пѣвцу одинъ законъ:
Да не творить себѣ кумира онъ.
Когда тебя, Мицкѣвичъ вдохновенный,
Я застаю у Байроновскихъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный,
Возстань, возстань и вспомни: самъ ты богъ!

Мицкѣвичъ былъ не только великій поэтъ, но и великій импровизаторъ. Хотя эти два дарованія должны, повидимому, быть въ близкомъ родствѣ, но на дѣлѣ это не такъ. Импровизированная, устная поэзія, и поэзія письменная и обдуманная — не одно и то же. Онъ былъ исключеніемъ изъ этого правила. Польскій языкъ не имѣетъ свойствъ

пѣвучести, живописности Итальянскаго: тѣмъ болѣе импровизація его была новая побѣда, побѣда надъ трудностью и неподатливостью подобной задачи. Импровизированный стихъ его, свободно и стремительно, вырывался изъ устъ его звучнымъ и блестящимъ потокомъ. Въ импровизаціи его были мысль, чувство, картины и въ высшей степени поэтическія выраженія. Можно было думать, что онъ вдохновенно читаетъ наизусть поэму, имъ уже написанную. Для Русскихъ пріятелей своихъ, не знавшихъ по-польски, онъ иногда импровизировалъ по-французски, разумѣется прозою, на заданную тему. Помню одну. Изъ свернутыхъ бумажекъ, на коихъ записаны были предлагаемыя задачи, жребій палъ на тему, въ то время и поэтическую, и современную: приплытіе Чернымъ моремъ къ Одесскому берегу тѣла Константинопольскаго православнаго патріарха, убитаго Турецкою чернью. Поэтъ на нѣсколько минутъ, такъ сказать, уединился во внутреннемъ святилищѣ своемъ. Вскорѣ выступилъ онъ съ лицомъ, озареннымъ пламенемъ вдохновенія: было въ немъ что-то тревожное и прорицательное. Слушатели въ благоговѣйномъ молчаніи были также поэтически настроены. Чуждый ему языкъ, проза, болѣе отрезвляющая нежели упоющая мысль и воображеніе, не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизація была блестящая и великолѣпная. Жаль, что не было тутъ стенографа. Дѣйствіе ея еще памятно; но, за неимѣніемъ положительныхъ слѣдовъ, впечатлѣнія непередаваемы. Жуковскій и Пушкинъ, глубоко потрясенные этимъ огнедышащимъ изверженіемъ поэзіи, были въ восторгѣ.

Въ Москвѣ домъ княгини Зинаиды Волконской былъ изящнымъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ замѣчательныхъ и отборныхъ личностей современнаго общества. Тутъ соединялись представители большого свѣта, сновники и красавицы, молодежь и возрастъ зрѣлый, люди умственнаго труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все въ этомъ домѣ носило отпечатокъ служенія искусству и мысли. Бывали въ немъ чтенія, концерты, диллетантами и любительницами представленія Итальянскихъ оперъ. Посреди артистовъ и во главѣ ихъ стояла сама хозяйка дома. Слышавшимъ ее нельзя было забыть впечатлѣнія, которое производила она своимъ полнымъ и звучнымъ контръ-альто и одушевленною игрою въ роли Танкреда, оперъ Россини. Помнится и слышится еще, какъ она, въ присутствіи Пушкина и въ первый день знакомства съ нимъ, пропѣла элегію его, положенную на музыку Геништою:

„Погасло дневное свѣтило,
На море синее вечерній палъ туманъ“.

Пушкинъ былъ живо тронутъ этимъ обольщеніемъ тонкаго и художественнаго кокетства. По обыкновенію, краска всмхивала въ лицѣ его. Въ немъ этотъ дѣтскій и женскій признакъ сильной впечатлительности былъ несомнѣнное выраженіе внутренняго смущенія, радости, досады, всякаго потрясающаго ощущенія. Нечего и говорить, что Мицкѣвичъ, съ самаго пріѣзда въ Москву, былъ усерднымъ посѣтителемъ и въ числѣ любимѣйшихъ и почетнѣйшихъ гостей въ домѣ княгини Волконской. Онъ посвятилъ ей стихотвореніе, извѣстное подъ именемъ *Pokoј Grecki* (Греческая комната). При доставленіи ей своихъ Крымскихъ Сонетовъ приложилъ онъ Польскіе стихи, которые самъ перевелъ онъ для нея Французскою прозою. Вотъ переводъ съ автографическаго перевода. «О поэзія, ты не искусство живописи: когда хочу живописатьъ, для чего мысли мои не иначе могутъ проявиться, какъ сквозь слова чужеземной рѣчи, подобно узникамъ, которые смотрятъ изъ-за желѣзной рѣшетки, скрывающей и искажающей ихъ черты? О поэзія, ты не искусство пѣть: ибо чувства мои не имѣютъ голоса, который можетъ быть понятенъ; они подобны подземнымъ потокамъ, которыхъ шумъ никому не слышенъ. О поэзія неблагодарная! Ты даже не искусство писать: я написалъ стихи, а подношу ей одни листки. Она увидитъ въ нихъ знаки непостижимые, ноты музыки, которая, увы! никогда исполнена не будетъ.»

Вспоминая всю обстановку того времени, все это движеніе мыслей и чувствъ, кажется, переносишься не въ дѣйствительное минувшее, а въ какую-то баснословную эпоху. Личности, присутствіемъ своимъ озарившія этотъ міръ, исчезли; жизнь утратила поэтическое зарево, которымъ она тогда отцвѣчивалась; улетучились, выдохлись благоуханія, которыми былъ пропитанъ воздухъ, окружавшій эти ясные и обаятельные дни. Одна ли старость вырываетъ изъ груди эти сѣтованія о минувшемъ, почти похожія на досадливыя порицанія настоящаго? Надѣюсь, что нѣтъ. Не углубляюсь далѣе, предоставляя каждому дѣлать свои заключенія.

Послѣ многолѣтней разлуки и даже перерыва письменныхъ сношеній, мы встрѣтились съ Мицкѣвичемъ въ Парижѣ, и сошлись, разумеется, старыми пріятелями. Мимо и вѣтъ всякихъ политическихъ событій, которыя измѣнили и перевернули многое, я не видалъ въ Мицкѣвичѣ Поляка; онъ не видалъ во мнѣ Москаля, а развѣ просто Москвича. Съ этимъ именемъ связывались и для него, и для меня самыя сердечныя и дружелюбныя воспоминанія. Онъ показался мнѣ много и преждевременно постарѣвшимъ. Волненія, скорбь вырѣзали слѣды свои на лицѣ, уже и прежде осѣненнымъ меланхолическимъ выраженіемъ. Мнѣ показалось, что онъ во многомъ разочаровался въ отношеніи къ

Франція и къ политическимъ надеждамъ своимъ. Можетъ быть, ошибаюсь; но думаю, что положеніе эмигранта внутренне тяготило его. Мы въ разговорахъ своихъ не касались этихъ щекотливыхъ вопросовъ, но и въ самомъ молчаніи люди близкіе угадываютъ другъ друга и безмолвно перекликаются. Особенно же при второй встрѣчѣ съ нимъ въ Парижѣ (1850) замѣтны были мнѣ въ немъ еще болѣе признаки разочарованія и нравственной усталости. Они являлись въ немъ и прежде. Вотъ что въ 1832 г. писалъ онъ Лелевелю, одному изъ пламеннѣйшихъ и глубоко убѣжденныхъ дѣятелей Польскаго возстанія: «Между нашими, одни довѣряютъ Французскому правительству, другіе—людямъ движенія. Я смотрю на эти двѣ партіи какъ на сволочь (gamassia) эгоистовъ, утратившихъ чувство нравственное. Французы—Аѳиняне временъ Демосоеена; они будутъ шумѣть, мѣнять предводителей и ораторовъ; но они неисцѣлимы, потому что у нихъ ракъ (cancer) въ сердцѣ».

Вотъ еще двѣ выписки изъ писемъ его; въ нихъ особенно выражается благородный и добросовѣстный его характеръ. Въ 1840 г. учреждена была въ Парижѣ катедра Славянской литературы. Ею предложили Мицкѣвичу; онъ тогда былъ въ Лозаннѣ преподавателемъ Латинской словесности, любимый учениками и уважаемый обществомъ. «Сожалѣю (пишетъ онъ) о Лозаннѣ, гдѣ имѣлъ кусокъ хлѣба и тихую жизнь. Грустно мнѣ будетъ расстаться съ мѣстомъ, которое занялъ я безъ всякаго покровительства кромѣ покровительства Бога. Люди здѣсь добрые; но я соглашусь на Славянскую катедру изъ опасенія, что какой-нибудь Нѣмецъ влѣзетъ на нее и станетъ лаять противъ насъ.»

Около 1844 г. отношенія Мицкѣвича къ Французскому правительству измѣняются. Министерство находитъ, что онъ уклоняется отъ программы преподаванія. Катедра его, изъ первыхъ, была закрыта; потомъ, кажется, катедры Мишле и Кюно. Вотъ что онъ по этому поводу пишетъ брату своему: «Положеніе мое затруднительно, и въ отношеніи къ Французамъ, и въ отношеніи къ соотечественникамъ моимъ. Я могъ-бы спокойно и выгодно погрязнуть, ибо скажу тебѣ (одному тебѣ), что министерство готово дать мнѣ прибавочное содержаніе, если соглашусь не служить долѣе дѣлу, которому я посвятилъ себя; но таже совѣсть, которая не позволяла мнѣ искать общественныхъ успѣховъ и выгодъ въ Россіи и Швейцаріи, не дастъ мнѣ возможности остановиться на дорогѣ. Я убѣжденъ, что если буду вѣренъ голосу совѣсти, со мною ничего худого не будетъ, хотя грядущее усіяно опасностями. Братъ! Мы устарѣли. Жизнь проскользнула какъ мгно-

веніе; но будемъ отвѣтствовать только за то, какъ употребили ее во благо ближняго и отечества.»

Изъ этихъ послѣднихъ выписокъ видно, что если Мицкѣвичъ и увлекся политическимъ движеніемъ и былъ политическимъ противникомъ Россіи, но не былъ онъ революціонеромъ: нѣтъ, онъ остался навсегда чистымъ и нравственнымъ человѣкомъ и сочувственною личностью.

14 (26) Апрѣля 1873 г.

Превосходная статья эта, которою князь П. А. Вяземскій украсилъ Русскій Архивъ 1873 года, появилась въ немъ безъ его имени, съ отиѣткою: „сообщено изъ-за границы.“ П. Б.

КОНЧИНА А. С. ПУШКИНА.

Записка В. И. Далля.

28 Января 1837 года, во второмъ часу по полудни, встрѣтилъ меня Башуцкій, едва я переступилъ порогъ его, роковымъ вопросомъ: «Слышали вы?» и на отвѣтъ мой: нѣтъ—разсказалъ, что Пушкинъ наканунѣ смертельно раненъ.

У Пушкина нашелъ я уже толпу въ передней и въ залѣ; страхъ ожиданія пробѣгалъ по блѣднымъ лицамъ; д-ръ Арендтъ и д-ръ Спасскій пожимали плечами. Я подошелъ къ болящему; онъ подаль мнѣ руку, улыбнулся и сказалъ: «плохо, братъ!» Я приблизился къ одру смерти и не отходилъ отъ него до конца страшныхъ сутокъ. Въ первый разъ сказалъ онъ мнѣ *ты*, я отвѣчалъ ему также и побратался съ нимъ уже не для здѣшняго міра.

Пушкинъ заставилъ всѣхъ присутствовавшихъ сдружиться съ смертію *): такъ спокойно онъ ожидалъ ее, такъ твердо былъ увѣренъ, что послѣдній часъ его ударилъ. Плетневъ говорилъ: «Глядя на

*) Хладнокровіе Пушкина къ смерти было всею извѣстно. У него было 4 поединка; всѣ 4 раза онъ стрѣлялся всегда черезъ барьеръ; всегда первый подходилъ быстро къ барьеру, выжидалъ выстрѣла противника и потомъ — 3 раза оканчивалъ дѣло шуткою и заключалъ стихомъ. Такъ наприм., будучи вызванъ въ Кишеневъ однимъ офицеромъ, онъ стрѣлялся опять черезъ барьеръ, опять первый подошелъ къ барьеру, опять противникъ далъ промахъ. Пушкинъ подозвалъ его вплотъ къ барьеру, на законное мѣсто, уставилъ въ него пистолеть и спросилъ: доволенъ ли вы теперь? Полковникъ отвѣчалъ, смутившись, что доволенъ. Пушкинъ опустилъ пистолеть, снялъ шляпу и сказалъ, улыбаясь:

Полковникъ Старовъ,
Слава Богу, здоровъ!

Дѣло разгласилось секундантами, и два стихика эти вошли въ пословицу въ цѣломъ городѣ.

пусть она меня покормитъ» Нат. Ник. опустилась на колѣни у изголовья умирающаго, поднесла ему ложечку, другую, и приняла лицомъ къ челу мужа. Пушкинъ погладилъ ее по головѣ и сказалъ: «Ну, ничего, слава Богу, все хорошо».

Друзья, ближніе молча окружили изголовье отходящаго; я, по просьбѣ его, взялъ его подъ мышки и приподнялъ повыше. Онъ вдругъ будто проснулся, быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось, и онъ сказалъ: «Кончена жизнь!» Я не дослышалъ и спросилъ тихо, что кончено?—«Жизнь кончена», отвѣчалъ онъ внятно и положительно. «Тяжело дышать, давить» были послѣднія слова его. Всеобщее спокойствіе разлилось по всему тѣлу; руки остыли по самыя плеча, пальцы на ногахъ, ступни и колѣни также; отрывистое, частое дыханіе измѣнялось болѣе и болѣе въ медленное, тихое, протяжное; еще одинъ слабый, едва замѣтный вздохъ,—и пропасть необъятная, неизмѣримая раздѣлила живыхъ отъ мертваго. Онъ скончался такъ тихо, что предстоящіе не замѣтили смерти его.

При вскрытіи оказалось: чресельная часть правой половины (os il. dextr.) раздроблена, часть крестцовой кости также; пуля затерялась около оконечности послѣдней. Кишки были воспалены, но не убиты гангреной; внутри брюшины до фунта запекшейся крови, вѣроятно изъ бедронной или брыжечныхъ венъ. Пуля вошла въ двухъ дюймахъ отъ верхней передней оконечности правой чресельной кости и прошла косвенно или дугою внутри большаго таза сверху внизъ до крестцовой кости. Пушкинъ умеръ, вѣроятно, отъ воспаленія большихъ венъ, въ соединеніи съ воспаленіемъ кишекъ.

Изъ раны, при самомъ началѣ, послѣдовало сильное венозное кровотеченіе; вѣроятно, бедренная вена была перебита, судя по количеству крови на платѣ, плащѣ и проч.; надобно полагать, что раненый потерялъ нѣсколько фунтовъ крови. Пульсъ соотвѣтствовалъ этому положенію больнаго. Итакъ, первое стараніе медиковъ было унять кровотеченіе. Опасались, чтобы раненый не изощелъ кровью. Холодные со льдомъ примочки на брюхо, холодильное питье и проч. вскорѣ отвратили опасеніе это, и 28-го утромъ, когда боли усилились и показалась значительная опухоль живота, рѣшились поставить промывательное, что съ трудомъ можно было исполнить. Пушкинъ не могъ лечь на бокъ, и чувствительность воспаленной проходной кишки отъ раздробленнаго крестца (обстоятельство въ то время еще неизвѣстное) была причиною жестокой боли и страданій послѣ промывательнаго. Пушкинъ былъ такъ раздраженъ духовно и тѣлесно, что въ это утро отказался вовсе отъ предлагаемыхъ пособій. Около полудня д-ръ Арентъ далъ ему нѣсколько капель опія, что Пушкинъ принялъ съ

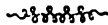
жадностію и успокоился. Передъ этимъ принималъ онъ уже *extr. hyoscyami c. calomelano*, безъ видимаго облогченія. Послѣ обѣда и во всю ночь давали попережънно *aq. laurocerosi* и *opium in pulv. c. calomel.* Къ шести часамъ вечера, 28-го ч., болѣзнь приняла иной видъ; пульсъ поднялся значительно, ударялъ около 120 и сдѣлался жестокъ: оконечности согрѣлись, общая теплота тѣла возвысилась, безпокойство усилилось; поставили 25 пиявокъ къ животу; лихорадка стихла, пульсъ сдѣлался ровнѣе, гораздо мягче, кожа обнаружила небольшую испарину. Это была минута надежды. Но уже съ полуночи и въ особенности къ утру общее изнеможеніе взяло верхъ; пульсъ упadalъ съ часу на часъ, къ полудню 29-го исчезъ ^чвовсе; руки остыли, въ ногахъ сохранялась теплота долѣе; больной изнывалъ тоскою, начиналъ иногда забываться, ослабѣвалъ, и лицо его измѣнилось. При подобныхъ обстоятельствахъ нѣтъ уже ни пособія, ни надежды. Можно было полагать, что омертвеніе въ кишкахъ начало образоваться. Жизнь угасала видимо, свѣтильникъ дотлѣвалъ послѣднею искрой.

Вскрытіе трупа показало, что рана принадлежала къ безусловно-смертельнымъ. Раздробленія подвздошной, въ особенности крестцовой, кости неисцѣлимы; при такихъ обстоятельствахъ смерть могла послѣдовать: 1) отъ истеченія кровью; 2) отъ воспаленія брюшныхъ внутренностей обще съ поражениемъ необходимыхъ для жизни нервовъ и самой оконечности становой жилы (*cauda equina*); 3) самая медленная, томительная отъ всеобщаго изнуренія, при переходѣ пораженныхъ мѣстъ въ нагноеніе. Раненый нашъ перенесъ первое, и потому успѣлъ приготовиться къ смерти, проститься съ женою, дѣтьми и друзьями, и, благодаря Бога, не дожилъ до послѣдняго, чѣмъ избавилъ и себя и ближнихъ отъ напрасныхъ страданій.



РЪЧИ ВЪ ЗАСЪДАНИИ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССІЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 7-ГО ІЮНЯ 1880 ГОДА.

(Когда праздновалось открытіе памятника Пушкину).



I. Рѣчь И. С. Аксакова.

Сорокъ три года тому назадъ такимъ, между прочимъ, стихами проводилъ Пушкина въ могилу одинъ изъ лучшихъ и умнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, Тютчевъ:

Тебя, какъ первую любовь,
Россіи сердце не забудеть...

Это не общее мѣсто. Это вѣрно схваченная, историческая, выдающаяся черта отношеній къ Пушкину Русскаго общества. Въ самомъ дѣлѣ, наша связь съ нимъ не какая-либо разсудочная, на отвлеченной одѣжкѣ основанная, а сердечная, теплая, живая связь любви и до сихъ поръ. Такой связи не было и нѣтъ у Русскаго общества ни съ однимъ поэтомъ. Однимъ ли художественнымъ достоинствомъ и значеніемъ Пушкина въ искусствѣ вообще можетъ быть объяснена такая живость и прочность сочувствія? Не таятъ ли причины этого явленія еще въ чемъ-либо другомъ: въ его историческомъ для насъ значеніи, въ самихъ психическихъ свойствахъ его художественной природы, въ той народной стихіи, наконецъ, которою вся обвѣяна и согрѣта его поэзія?

Пушкинъ не только наша неизмѣнная любовь, но еще и первая любовь. На зарѣ нашего народнаго самосознанія, Русское общество въ немъ впервые познало, говоря его же стихомъ, тотъ „первый пламень упоенья“, который оставляетъ неизгладимый слѣдъ въ благодарной памяти сердца. А память сердца въ жизни историческаго народа не исчерпывается срокомъ нѣсколькихъ поколѣній. Таково свойство высокихъ созданий вполне искренняго искусства, что они на вѣчныя времена запечатлѣваются духомъ истины, духомъ жизни, давшимъ имъ бытіе. Таково свойство и созданий Пушкина. На ихъ художественной вѣковѣчной прелести лежитъ еще и

неотъемлемая, вѣчная же, историческая печать весны и ся свѣжести, какой-то новоявленной радости, перваго озаренія Русскихъ сердець свѣтомъ неложнаго Русскаго искусства.

Отчего же „неложнаго?“ Отчего, говоря о Пушкинѣ какъ о поэтѣ, мы всѣ, безъ различія, сознательно и невольнo, прибавляемъ эпитетъ: „истинно-Русскій“, „истинно-народный?“ Зачѣмъ нужна эта оговорка? Въ чемъ именно смыслъ той исторической минуты, печать которой легла на его твореніяхъ?...

Есть такія счастливыя на землѣ страны, гдѣ совершенно пусты, да и невысказаннымъ, вопросы: народенъ или не-народенъ такой-то поэтъ или писатель; гдѣ нѣтъ погони за „народностью“, гдѣ народность есть именно та самая стихія, которою образованы и органически-правильно сложившійся слой народа (т. е. общество) естественно живетъ, движется и творитъ,—которая, другими словами, проявляетъ себя свободно и разнообразно въ личной сознательной дѣятельности народныхъ единицъ: и въ искусствѣ, и въ наукѣ, и въ жизни.... Въ тѣхъ счастливыхъ странахъ народность въ литературѣ познается не по внѣшнимъ примѣтамъ, не по употребленію только, на примѣръ, простонароднаго говора, не по выбору содержанія изъ простонароднаго быта, не по тому, наконецъ, доступна ли книга разумнію каждаго, знающаго грамотъ, крестьянина. Безъ сомнѣнія, Гётевскаго Фауста или Идеаловъ Шиллера съ Пигмалиономъ, лобызающимъ мраморъ, не пойметъ даже и Нѣмецкій, не обучавшійся въ гимназій, пахарь; но кто же когда-либо рѣшался или рѣшится утверждать, что Гёте и Шиллеръ поэты не-національные? Развѣ ихъ великія творенія не заклеены насквозь печатью Германскаго народнаго духа, подобно тому, какъ творенія Шекспира — духа Британскаго? Этого мало: развѣ не Германскій народный духъ сказался въ Германской философій, въ такихъ сферахъ абстрактной логической мысли, какъ Кантъ или Гегель? И съ другой стороны, развѣ эта печать сколько-нибудь мѣшаетъ имъ при этомъ имѣть значеніе міровое? Напротивъ: только потому, что на ихъ твореніяхъ лежитъ печать даровъ ихъ народнаго духа, могли эти великіе поэты и мыслители явить міру новыя стороны духа общечеловѣческаго, обогатить такими многоцѣнными вкладами сокровищницу общечеловѣческаго сознанія. Кажется, это ясно, и было бы даже совѣстно толковать такую простую до пошлости истину, еслибъ даже и въ наши дни не возникали порою какія-то странныя недоразумѣнія по вопросу о народности....

Исторія судила Россію иной путь развитія. Переходу въ Русскомъ народѣ отъ общности непосредственнаго бытія къ высшей жизни и дѣятельности народнаго духа въ сферѣ личнаго сознанія, рано или поздно, надлежало, разумѣется, совершиться — и онъ совершился, но поздно, и не мирнымъ органическимъ процессомъ, а мучительнѣйшимъ изъ переворотовъ. Кто бы ни былъ въ томъ виноватъ, самъ ли народъ, Петръ ли Великій, могло ли бы или не могло оно совершиться иначе, эти вопросы

теперь излишни: важенъ самый историческій фактъ. А фактъ таковъ (и этого не отрицать ни одинъ историкъ), что Русская земля подверглась внезапно страшному вѣшнему и внутреннему наслѣванію. Рукою палача совлекался съ Русскаго человѣка образъ Русскій и напяливалось подобіе обще-европейца. Кровью поливались, спѣшно, безъ критики, на вѣру выписанныя изъ-за границы сѣмена цивилизаціи. Все, что только носило на себѣ печать народности, было предано осмѣянію, поруганію, гоненію; одежда, обычай, нравы, самый языкъ, все было искажено, изуродовано, изувѣчено. Народность, какъ ртуть въ градусникѣ на морозѣ, жалась, сбѣжала сверху внизъ, въ нижній слой народный; правильность кровообращенія въ общемъ организмѣ приостановилась, его духовная цѣльность нарушена. Простой народъ притаился, замкнулся въ себя, и надъ нимъ, ближе къ источнику власти, сложилось общество: вольные и невольные отступники его духа. Русскій человѣкъ изъ взрослого, изъ полноправнаго, у себя же дома попалъ въ малолѣтки, въ опеку, въ школьнички и слуги иноземныхъ всякихъ, даже духовныхъ дѣлъ, мастеровъ. Умственное рабство предъ европеизмомъ и собственная народная безличность провозглашены руководящимъ началомъ развитія.

Только такому могучему народному организму, каковъ Русскій, подъ силу вынести и перебыть подобное испытаніе, которому впрочемъ конецъ далеко еще не насталъ. Тяжко пришлось Русскимъ людямъ; но обращаться вспять было уже нельзя, — да и нежелательно. Оставалось идти впередъ, овладѣть сокровищами и орудіями Европейскаго просвѣщенія и труднымъ подвигомъ самосознанія расторгнуть оковы народнаго духа, воссоединить разрозненные слои, однимъ словомъ возвратить Русской народной жизни свободу, цѣльность, правильность и плодотворность самобытнаго органическаго роста. Вотъ этою-то, выпавшею въ удѣлъ Русскому обществу, исполнскою задачею и объясняется то странное явленіе, которому почти нѣтъ подобнаго въ другихъ странахъ, именно: что сама народность въ народѣ становится объектомъ сознанія, вѣшнюю цѣлью, искомымъ; что возможны у насъ вопросы о народности художника, мыслителя и государственнаго дѣятеля, что приходится учиться ей въ исторіи и у простаго народа, что въ Русской землѣ могло возникнуть отдѣльное Русское же направленіе — въ литературѣ, въ политикѣ, въ жизни, и стоять особнякомъ, какъ нѣчто оригинальное и даже исключительное!...

Перенесемся однако мыслію къ началу этого тяжкаго и тернистаго поприща. Устремившись изъ своей тѣсной національной ограды въ проломъ, сдѣланный мощною рукою Петра, Русское общество, сбитое съ толку, съ отшибленною историческою памятью, избывшее и Русскаго ума, и живаго смысла дѣйствительности, заторопилось жить чужимъ умомъ, даже не будучи въ состояніи его себѣ усвоить. Нескладно и безобразно залепетало оно дикою смѣсью простонароднаго говора, Церковно-славянскаго языка и изуродованной иностранной рѣчи. Чужой критеріумъ, чужое мѣрило, чужія формы, чужое міросозерцаніе. Жизнь наводнилась дождю,

призраками, абстрактами, подобіями, фасадами—и колоссальнымъ недоразумѣніемъ между народомъ и его такъ называемой „интеллигенціей“ официальной и неофициальной, консервативной и либеральной, аристократической и демократической.

Но дѣятельность духа все же началась! Русская земля не оскудѣла въ нужный часъ талантами. Мысль была еще слишкомъ слаба; наука на степени школьнаго знанія; но поэзія обогнала тугой ростъ Русскаго просвѣщенія, и въ этомъ ея особенное историческое у насъ значеніе. Первый Русскій ученый, явившій образцы самостоятельнаго Русскаго мышленія, Ломоносовъ, былъ и первый по времени Русскій поэтъ, ускорившій работу научнаго анализа поэтическимъ вдохновеніемъ. За тѣмъ отъ Ломоносова до Карамзина (впрочемъ также полу-художника) не приходится называть почти ни одного виднаго дѣятеля науки, тогда какъ за тоже время цѣлый преемственный рядъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ поэтическихъ дарованій не перестаетъ воздѣлывать умственную и нравственную почву Русскаго общества. Такимъ образомъ Русской литературной поэзіи выпалъ жребій, въ теченіи довольно долгой поры, за недостаткомъ у насъ воспитанія научнаго, служить почти единственнымъ орудіемъ по крайней мѣрѣ эстетическаго воспитанія и образованія въ Русскомъ обществѣ. Конечно форма, содержаніе, вся окраска въ этой поэзіи была еще не-Русская, и только мощный талантъ Державина металъ иногда, изъ-подъ глыбъ всеяческой лжи, молніи истинно-Русскаго духа. Но при сужденіи о литературныхъ талантахъ той эпохи не слѣдуетъ упускать изъ виду тѣ нравственныя пути, которыми они были обмотаны, ту трату силъ, которая требовалась имъ для борьбы съ подавлявшею ихъ самихъ ложью. Все же, не смотря на фальшь, звучавшую въ тогдашней поэзіи, покорялся искусству самый матеріалъ его — слово, и Русскому слуху стала опознаваться въ стихотворной формѣ сила и гармонія Русскаго языка въ такое еще время, когда въ прозѣ царилъ самая неуклюжая, варварская рѣчь. Только въ поэзіи находило себѣ нѣкоторое удовлетвореніе угнетенное Русское чувство и отдыхало отъ отрицанія, господствовавшаго въ мышленіи и въ жизни,— хотя, по истинѣ, отдыхало лишь въ новомъ самообольщеніи. На крыльяхъ лирическаго восторга уносило оно въ какую-то чужую, псевдо-классическую, населенную призраками высь, далеко надъ настоящею Русскою землею, дичась всякой жизненной правды. Такъ было особенно въ XVIII вѣкѣ, въ эпоху „нашихъ Пяндаровъ“, „нашихъ Гораціевъ“, „нашихъ Сѣверныхъ Бардовъ“ и т. д.

Изъ псевдо-классическихъ высотъ поэты стали, наконецъ, при помощи романтическихъ ходуль, касаться дѣла. И хотя Жуковский, благородный Жуковский, съ „его стиховъ плѣнительною сладостью“ (по выраженію Пушкина), равно и Батюшковъ, „нашъ Парни Россійскій“ (какъ величалъ его Пушкинъ же, впрочемъ еще въ 1814 году, еще мальчикомъ), хотя оба они рѣзко отдѣляются отъ всѣхъ своихъ предшественниковъ: однакожь и они, когда спускались на землю, то на какую-то чужую, не-Русскую.

Ихъ мѣстами прелестная, хотя вообще однозвучная, поэзія лишена внутренней силы и совершенно безлична въ смыслѣ народности... Вообще надобно замѣтить, что время Александра I было въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ едва ли не хуже времени Екатерины. Въ XVIII вѣкѣ Русскіе люди еще только перерядились, и въ иномъ вельможѣ изъ подъ пудреннаго парика и Французскаго кафтана торчалъ порою чуть не прямой Русскій мужикъ, а щеголеватый Французскій жаргонъ смѣнялся подчасъ истію простонародною рѣчью. Къ началу XIX вѣка Русскіе люди успѣли уже переродиться и такъ вошли въ иноземные обычаи, нравы, понятія, что приобрѣли даже развязность и ловкость „почти“ Европейскаго человѣка. Простонародная или коренная народная рѣчь не только ими забывается, но даже поражаетъ ихъ какъ бы новизною. Они и патриоты, и пожалуй ревнители „всего отечественнаго“, но даже и не подозреваютъ, въ простодушной надменности своего Европейскаго просвѣщенія, всей глубины своей духовной розни съ народомъ. Прѣжняя грубая, виѣшняя ложь смѣнилась ложью сугубою, внутреннею, благообразною. Языкъ, литература, поэзія—все получаетъ видъ гладкой, порою даже изящной, и е р у с с к о с т и или безличности. Вспомните, на примѣръ, даже офціальные, печатныя, всенародныя отъ лица власти объявленія, гдѣ, благодаря конечно стилистамъ того времени, Русскій царь именуетъ себя „начальникомъ столь достойной и благородной націи“; вспомните письма и повѣсти Карамзина, повѣсть объ Усадѣ самого Жуковскаго и пр. и пр. Даже гроза 1812 года не прибавила костей и мускуловъ, не придала правды слогу тогдашнихъ писателей, не только въ прозѣ, но и въ поэзіи.

Въ 1819 году, въ торжественномъ засѣданіи нашего же Общества любителей Россійской словесности и въ этой же самой залѣ, разсуждалось „о господинѣ Буало и геніи Корнеля, сихъ вѣчныхъ образцахъ искусства“. Расширяя однако число образцовъ и поприще для Русской литературы, ученый, достойный всякаго уваженія предсѣдатель Общества, Мерзляковъ вѣщалъ, между прочимъ, въ своей рѣчи такимъ образомъ: „Почтенные мужи!... Птичка научила человѣка радоваться и воспѣвать свою радость... Пусть на цвѣтущемъ полѣ нашей словесности рѣзвятся въ разнообразныхъ группахъ Амуры, Зефиры и Фавны“. Вы улыбаетесь и снисходительно припоминаете, что все это вѣдь говорилось 61 годъ тому назадъ...

И въ томъ же самомъ 1819 году раздаются въ слухъ Русскаго общества такіе, на примѣръ, стихи 20-ти лѣтняго Пушкина:

Художникъ-варваръ кистью сонной
Картину генія чернитъ
И свой рисунокъ беззаконный
На немъ безсмысленно чертитъ;
Но краски новыя, съ годами,
Спадають ветхой чешуей,
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой и пр.

Стихи также написаны 61 годъ тому назадъ, но здѣсь искусство достигло того зенита зрѣлости и совершенства, съ котораго никакое уже время не сводить.

Точно день, бѣлый день насталь для Русскаго общества съ появленіемъ Пушкина. Призраки, обманныя очертанія ночи отшатнулись, уступивъ мѣсто правдѣ дня съ ея простотою и красотою. Творчеству Русскаго духа, по крайней мѣрѣ въ сферѣ поэзіи, возвращены свобода и полноправность. Поэтическое откровеніе опередило работу нашего народнаго самосознанія и разрѣшило задачу, до теоретическаго разрѣшенія которой мысль и наука только теперь доростають. Какая богатырская сила таланта нужна была для того, чтобы, подобно подземному ключу, поднять, своротить всѣ эти плотныя наслоенія жи и пробиться наружу такимъ величавымъ потокомъ Русской поэзіи? Но одного свойства силы было здѣсь недостаточно. Только великій, всесовершенно-искренній и цѣльный мастеръ-художникъ, только (говоря поэтическою метафорою) жрецъ чистаго искусства, никакихъ задачъ внѣ искусства не знающій, но притомъ съ живою Русскою душою, могъ совершить такой великій историческій общественный подвигъ. Пушкинъ, какъ художникъ, стоитъ уже не на относительной, а на абсолютной высотѣ, не подлежа сравненію ни съ какимъ иностраннымъ поэтомъ, не какъ „нашъ Горацій“, „нашъ Парни“, или „нашъ Байронъ“, а самъ по себѣ какъ Пушкинъ. Правда Русской народности могла завоевать себѣ всемірное гражданство въ искусствѣ только чрезъ безусловную въ самой себѣ правду искусства. И именно потому, что Пушкинъ былъ служителемъ чистаго, т. е. искреннаго въ себѣ самомъ искусства, не обращалъ поэзію умышленно въ орудіе разныхъ предвзятыхъ идей и теорій, ни политическихъ, ни социальныхъ, не съюзился въ доктринера, не ставилъ себѣ внѣшнюю цѣлью „пользу“, не послушался толпы сторонниковъ грубаго утилитаризма, а неуклонно слышалъ въ душѣ своей иной божественный голосъ: „не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человекъ“, — только потому и явился онъ такимъ безпредѣльно-полезнымъ общественнымъ дѣятелемъ. Да, потому именно и стало велико и бессмертно историческое дѣло Пушкина, что онъ могъ съ полною искренностью и полнымъ правомъ сказать о себѣ:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ....

Какой еще „пользы“ нужно? Да вѣдь такіе стихи, такіе звуки—благодѣяніе.

Не совершилъ бы Пушкинъ своего подвига, сказалъ я, еслибъ онъ не былъ цѣльный художникъ съ живою Русскою душою. Эта Русская стихія видится мнѣ не въ одномъ только Русскомъ языкѣ, доведенномъ Пушкинымъ до изумительнаго совершенства силы, образности и мужественной

красоты, и не во внѣшнемъ только содержаніи его нѣкоторыхъ твореній, но еще болѣе во внутреннихъ сторонахъ его творчества. Вообще можно лишь удивляться, какимъ образомъ, при его Французскомъ воспитаніи дома и въ Лицеѣ, при раннемъ, къ несчастію, растлѣніи нравовъ, обыкновенъ въ то время вслѣдствіе безграничнаго господства въ Русскомъ обществѣ Французской литературы XVIII вѣка; при соблазнахъ и увлеченіяхъ свѣта,—могъ не только сохраниться въ Пушкинѣ Русскій человекъ, но и образоваться художникъ съ такимъ Русскимъ складомъ ума и души, съ такимъ притомъ глубокимъ сочувствіемъ къ народной поэзіи—въ пѣснѣ, въ сказкѣ и въ жизни?... Внѣшнюю загадку этого явленія слѣдуетъ искать, прежде всего, въ деревенскихъ впечатлѣніяхъ дѣтства и въ его отношеніяхъ къ нянѣ. Но и няня и дѣтскія впечатлѣнія деревни таились тогда въ воспоминаніяхъ почти каждого отъявленнаго отрицателя Русской народности такъ что такая Русская бытовая черта въ поэзіи Пушкина является уже сама по себѣ нравственною его заслугою и оригинальною особенностью. Въ самомъ дѣлѣ, отъ отрочества до самой могилы, этотъ блистательный, прославленный поэтъ, ревностный посѣтитель гусарскихъ пировъ и велико-свѣтскихъ гостинныхъ, „нашъ Байронъ“ притомъ, какъ любили его называть многіе, не стыдился всенародно, въ чудныхъ стихахъ, исповѣдывать свою нѣжную привязанность—не къ матери (это было бы еще нестранно, такъ и многіе поэты дѣлали), а къ „мамушкѣ“, къ „нянѣ“, и съ глубокою-искреннею благодарностью величать въ ней первоначальную свою Музу.... Такъ вотъ кто первая вдохновительница, первая Муза этого великаго художника и перваго истинно-Русскаго поэта, это — няня, это простая Русская деревенская баба!... Точно прижавъ къ груди матери-земли, жадно въ ея рассказахъ пилъ онъ чистую струю народной рѣчи и духа. Да будетъ же ей, этой нянѣ, и отъ лица Русскаго общества вѣчная благодарная память! Невозможно не помянуть здѣсь этой няни собственными стихами Пушкина, въ которыхъ къ тому же такъ звенить Русскими струнами его душа... Вотъ что еще въ Лицеѣ, воспѣвая одновременно съ товарищами разныхъ Эльвинъ и Доридъ, еще въ 1816 году, писалъ онъ:

Ахъ, умолчу ль о мамушкѣ моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
Когда въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньѣ,
Она, духовъ молитвой уклоня,
Съ усердіемъ перекреститъ меня
И шепотомъ рассказывать мнѣ станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы....
Отъ ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь подъ одѣяло,
Не чувствуя ни ногъ, ни головы...
Предъ образомъ простой ночникъ изъ глины
Чуть освѣщаль глубокія морщины.

Замѣтите, что въ это время въ нашей литературѣ, если и встрѣчалось благосклонное упоминаніе о Русской женщинѣ изъ простонародья, то не иначе, какъ о „простодушной поселянкѣ“.... Но какимъ зрѣлымъ художественнымъ совершенствомъ звучать стихи 1821 года:

Наперсница волшебной старины,
Другъ вымысловъ игривыхъ и печальныхъ,
Тебя я зналъ во дни моей весны,
Во дни утѣхъ и сновъ первоначальныхъ.
Я ждалъ тебя. Въ вечерней тишинѣ
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидѣла въ шупунѣ,
Въ большихъ очкахъ и съ рѣзвою гремяшкой.
Ты, дѣтскую качая колыбель,
Мой юный слухъ напѣвами плѣнила,
И межъ пеленъ оставила свирѣль,
Которую сама заморозила....

А эти стихи:

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя,
Одна, въ глуши лѣсовъ сосновыхъ,
Давно, давно ты ждешь меня.

Ты подъ окномъ своей свѣтлицы
Горюешь словно на часахъ,
И медлятъ поминутно спицы
Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ....

За полтора года до смерти, посѣтивъ свое родное Михайловское, такъ вспоминаетъ онъ объ ней:

Вотъ смиренный домигъ,
Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моею.
Уже старушки нѣтъ; ужъ за стѣною
Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
Ни утреннихъ ея дозоровъ....

И тутъ же три зачеркнутые стиха:

А вечеромъ, при завываньи бури,
Ея рассказовъ, мною затверженныхъ
Отъ малыхъ лѣтъ и никогда нескучныхъ.

Не къ ней ли относятся и эти два стиха, вложенные Пушкинымъ въ уста Татьянѣ:

Гдѣ нынѣ крестъ и сѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моею...

Многіе „народность“ поэзіи Пушкина усматриваютъ именно въ Русскихъ сказкахъ и другихъ его произведеніяхъ въ такъ называемомъ „простонародномъ“ родѣ. Но Русская, стало быть и вполнѣ народная, стихія слышится у Пушкина едва ли не наиболѣе тамъ, гдѣ онъ не ставитъ себѣ „народность“ внѣшнею цѣлью, гдѣ онъ вполнѣ свободенъ и искрененъ съ своимъ творчествомъ и отдается безъ стѣсненій движеніямъ своей Русской души. Оставляя въ сторонѣ вопросъ, въ какой степени вѣрна самая задача: воспроизвести въ формахъ современной литературной поэзіи Русскій народный эпосъ, — скажу только, что не всѣ созданія Пушкина въ этомъ направленіи представляются одинаково удачными, но всѣ обличаютъ великаго мастера и свидѣтельствуютъ, какъ все глубже и глубже проникалъ его художественный взоръ въ красоты Русскаго народнаго эпоса, въ золотую руду народнаго слова. Онъ даже пришелъ вообще къ убѣжденію, что рифмованный, точно размѣренный стихъ слишкомъ тѣсенъ для Русской поэтической рѣчи и будетъ когда нибудь замѣненъ иною, болѣе широкою и свободною формою стиха. Нѣкоторыя же простонародныя его сказки дѣйствительно образцовы, какъ на примѣръ сказка о Кузьмѣ Остолопѣ, о Золотой Рыбкѣ. Припомнимъ кстати, что, кромѣ записныхъ ученыхъ, едва ли кто изъ Русскаго общества былъ въ то время такъ коротко знакомъ съ народными старинными сказаніями и былинами; едва ли не Пушкинъ первый заставилъ признать ихъ художественное достоинство и значеніе для Русскаго языка. Когда однажды критики напали на Пушкина за его стихъ:

Людская моэль и конскій топъ,

утверждая, что это „не порусски“, Пушкину пришлось уличать критиковъ въ безграмотности и невѣжествѣ цитатами изъ сборника Кирши Данилова. Замѣчательно при этомъ и увѣщаніе Пушкина къ критикамъ: „не должно стѣснять свободу нашего богатаго и прекраснаго языка.“

Никто до Пушкина не воспроизводилъ ни въ стихахъ, ни въ прозѣ нашей простой сельской природы съ такою простотою истины и съ такою теплотою сочувствія. Если встрѣчались, бывало, въ нашей литературѣ описанія, то или отрицательной окраски, или природы в о о б щ е, а не именно Русской, или же она одѣвалась какимъ-то буквалистическимъ покровомъ, а Русскіе мужики являлись въ видѣ Менандровъ и Дафнисовъ. И среди всей этой поэтической неправды вдругъ такіе стихи:

Былъ вечеръ. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.
Ужъ расходились хороводы,
Ужъ за рѣкой дымясь пылалъ
Огонь рыбачій....

Или.... Но не доставало бы и времени приводить примѣры. Ваша память сама вамъ ихъ подскажетъ. Въ стихахъ Пушкина, и теперь захватывающихъ сердце, не только видится, но и ощущается во всемъ вѣяніи своей жизни сама родная наша природа. Чтó же должны были испытывать Русскіе люди, впервые въ Русской печати прочитавшіе такіа воспроизведенія Русской природы? Не своего ли рода эмансипацію Русскаго угнетеннаго чувства? Не казалось ли имъ, что они точно возвращаются, послѣ долгой гдѣ-то отлучки, на родину, домой, домой!....

Но еще важнѣе болѣе внутреннія, нравственныя черты его поэзіи, чисто-Русскаго народнаго свойства. Я вижу ихъ прежде всего въ этомъ извѣстномъ Русскомъ народномъ отвращеніи отъ всякаго фразѣрства, отъ всего напыщеннаго, ходульнаго,—отвращеніи, такъ положительно выразившемся у Пушкина дивною простотою и трезвостью творчества. Пушкинъ, какъ художникъ, тѣмъ именно добрѣе и замѣчательнѣе, и отличается отъ большинства многихъ Европейскихъ поэтовъ, что онъ всегда искрененъ, всегда простъ, всегда свободенъ, никогда не позируетъ, не рисуется, не нянчится, не посяетъ съ своимъ „я“. Онъ если и выставляетъ себя, то непременно хуже, легкомысленнѣе чѣмъ онъ есть, но не такъ какъ другіе, которые не прочь надѣлать себя даже порочными качествами, но непременно красивыми: гордостью, презрѣніемъ, ненавистью къ людямъ и т. п. Эта черта въ Пушкинѣ въ высшей степени симпатична и въ высшей степени наша, народная, Русская.

Не глубокая ли также Русская психическая черта въ Пушкинѣ—это чувство реальной, жизненной правды, чуждающееся фальшивыхъ идеалистическихъ прикрасъ, но въ тоже время, сквозь отрицательныя стороны предмета, умѣющее распознать и положительныя его стороны, съ присущею имъ красою? Пушкинъ первый въ нашей литературѣ отнесся не только къ Русской природѣ, но и къ воспроизведеннымъ имъ явленіямъ Русской бытовой жизни съ ихъ положительной стороны, и притомъ съ такою вѣрностью, которой могъ бы позавидовать любой реалистъ нашего времени. Вспомните его изображенія Русской уѣздной сельской жизни въ Онѣгинѣ, его Капитанскую Дочку, и множество другихъ: сколько въ нихъ правды, и какъ эта правда согрѣта и освѣщена теплымъ свѣтомъ сочувствія, но въ тоже время ограждена въ читателѣ отъ ложной окраски тонкою, незлобивою ироніей! Вотъ эта способность шутки, это присутствіе ироніи въ умѣ—тоже коренная, народная черта истинно-Русскаго человѣка: это постоянно присущій Русскому человѣку антидотъ противъ всякой излишней, а потому и фальшивой, идеализаціи и противъ собственнаго самообольщенія. Такая иронія—свойство широкаго ума—не есть „отрицаніе“ и не противорѣчитъ любви. Она даетъ лишь усматривать человѣку, въ свѣтѣ любви, обратную, юмористическую сторону иной истины, отразившуюся вмѣстѣ съ положительной ея стороною въ явленіяхъ ли жизни, въ собственной ли душѣ. Такой граціозной шуткой и доброй, умной ироніей, прикрывающей иногда, легкой формой, глубокую серьезную мысль и цѣлую

перспективу мыслей, обилуетъ поэзія Пушкина, особенно же „Евгеній Онегинъ“ и именно въ изображеніи „героевъ“. Татьяна, напримѣръ, о которой онъ самъ сказалъ:

..... Я такъ люблю
Татьяну милую мою,

является въ самомъ реальномъ освѣщеніи „барышней увѣдной,“

Съ печальной думою въ очахъ,
Съ Французской книжкою въ рукахъ,

и въ тоже время съ книжкою гаданій и сновъ Мартына Задеки, съ простонародными страхами и суевѣріями. Начертанное съ искреннимъ сочувствіемъ изображеніе Ленскаго, этого возвышеннаго душою поэта, предназначеннаго такой трагической участи, вводится самимъ авторомъ въ должныя размѣры двумя стихами:

Онъ пѣлъ поблеклый жизни цвѣтъ—
Безъ малаго въ оснадцать лѣтъ...

Пушкинъ не былъ поэтомъ „отрицанія“, но не потому, что былъ неспособенъ видѣть, постигать отрицательныя стороны жизни и оскорбляться ими, но потому, прежде всего, что не таково было его призваніе, какъ художника; что ему данъ былъ отъ природы иной талантъ: усматривать въ явленіи предпочтительно его положительныя, человѣчныя черты и на нихъ предпочтительно отзываться, минуя тѣ стороны, гдѣ даже иронія не у мѣста, гдѣ уже нуженъ бичъ сатиры (требующій specialнаго дара), или вмѣшательство власти. Такъ изъ исторіи Петра Великаго онъ останавливается на пирѣ, заданномъ Петромъ въ честь примиренія его съ подданнымъ; изъ дѣяній Наполеона—на его посѣщенія чумныхъ въ Яѳѣ. Это еще потому, можетъ быть, что Пушкинъ своимъ Русскимъ умомъ и сердцемъ шире понималъ жизнь, чѣмъ многіе писатели, окрашивающіе ея явленія сплошною черною краскою. Здѣсь же кстати можно привести и собственныя слова Пушкина въ одной изъ его журнальныхъ статей: „нѣтъ убѣдительности въ поношеніяхъ, и нѣтъ истины, гдѣ нѣтъ любви“ *).

Да кстати припомнимъ, что онъ первый понялъ, первый оцѣнилъ и взлелѣялъ Гоголя.

Что особенно поражаетъ въ Пушкинѣ и является также Русскою психическою чертою, тѣсно впрочемъ связанною съ чувствомъ реальной правды, это отсутствіе мечтательности, въ смыслѣ Нѣмецкаго Schwärmerei,—и скажу болѣе, даже отсутствіе страстности. Я, конечно, разумѣю

*) Сочин. Пушкин. изд. 1870 г. т. V, стр. 421.

здѣсь исключительно сферу искусства. Пушкинъ представляетъ въ себѣ удивительное, феноменальное и глубоко-трагическое сочетаніе двухъ самыхъ противоположныхъ типовъ какъ человѣка и какъ художника: знойный Африканскій темпераментъ и чисто-Русское здравомысліе, поражающее въ самыхъ молодыхъ его произведеніяхъ, и потомъ все болѣе и болѣе развивавшееся; страстность природы и воздержность колорита въ поэзіи, самообладаніе мастера, неизмѣнно-строгое соблюденіе художественной мѣры; легкомысліе, вѣтренность, кипѣніе крови, необузданная чувственность въ жизни и, въ тоже время, серьезность и важность священно-дѣйствующаго жреца, способность возноситься духомъ до высотъ цѣломудреннаго искусства и писать такіе стихи, какъ „Пророкъ“, „Отцы-Пустынники“, „Отвѣтъ митрополиту Филарету“ и проч.

Онъ самъ сильнѣе всѣхъ сознавалъ въ себѣ эту двойственность:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ забавахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ....

Что долженъ былъ испытывать въ глубинѣ своего духа носитель такихъ великихъ божественныхъ даровъ въ тѣ минуты, когда сознавалъ свое „ничтожество“?....

Нѣкоторымъ покажется, пожалуй, страннымъ эпитетъ „важный“, и они укажутъ на множество стиховъ эротическаго и вообще легкомысленнаго содержанія. Правда, ихъ немало; но всѣ эти стихотворенія запечатлѣны характеромъ шалости, забавы молодаго таланта, хотя бы иногда и непозволительной, въ которой и самъ Пушкинъ потомъ горько раскапался. Все же это только избытокъ жизни, плескъ играющихъ волнъ на поверхности глубокихъ водъ. Но поэтъ весь преобразался, лишь

. . . божественный глаголь
До слуха чуткаго коснется,

и становился „взыскательнымъ художникомъ“, для котораго

Прекрасное должно быть величаво.

И никогда въ своемъ храмѣ, предъ алтаремъ, не священнодѣйствовалъ онъ пороку какъ принципу, не служилъ умышленному холодному разврату и божественнымъ глаголомъ не сѣялъ коварно безирравственности. Напротивъ, всѣ его сколько нибудь серьезные произведенія оставляютъ здоровый слѣдъ въ душѣ читателя. Онъ, какъ художникъ, самъ творить,

въ той или другой формѣ, судъ надъ своими героями, и даже Онѣгинъ, многими своими сторонами вполне сочувственный Пушкину, обличенъ и пристыженъ Татьяной, простой, въ Русской деревнѣ возросшей, умной Татьяной. Эта, безспорно, изъ всѣхъ героинь Пушкина имѣе наиболѣе любимая и чтимая, остается, какъ извѣстно, вѣрна своему долгу. Такая простая повидимому, но въ сущности трагическая нравственная развязка романа навлекла и на Пушкина, и даже на бѣдную Татьяну, упреки нѣкоторыхъ Русскихъ критиковъ, такъ что со стороны Пушкина это былъ своего рода смѣлый поступокъ художественной правды.

При всѣхъ такихъ Русскихъ свойствахъ поэзіи Пушкина, можно ли толковать серьезно о какомъ бы то ни было влияніи на него Байрона? Не было гениевъ болѣе другъ другу, по природѣ своего творчества, противоположныхъ. Впечатлительный Пушкинъ, разумѣется, восхищался Байрономъ, могъ даже увлекаться имъ временно и называть его властителемъ думъ (впрочемъ не лично своихъ, а „нашихъ“, т. е. вѣка), могъ иногда заимствовать у него какую либо внѣшнюю черту или форму, именно въ Бахчисарайскомъ Фонтанѣ (на чтó и самъ указываетъ), но Пушкинъ же и судилъ его строго. Онъ называетъ Байрона „поэтомъ гордости“, „мрачнымъ какъ море“. Пушкинъ же былъ поэтомъ дневнаго блага свѣта, а личной гордости въ немъ нѣтъ и тѣни. Но ужъ чему онъ вовсе не былъ причастенъ, такъ это байронизму, т. е. тому направленію въ умахъ и жизни, которое было навѣяно мощною, субъективною поэзіею Байрона. Онъ обличилъ и осудилъ это направленіе и въ лицѣ Алеко въ Цыганахъ („гордаго чловѣка“, который „лишь для себя хочетъ воли“), и въ лицѣ самаго Онѣгина (какъ я уже говорилъ), этого „Москвича въ Гарольдовомъ плащѣ“, вѣчно, по словамъ Пушкина же, „преданнаго бездѣлю“ и „томящагося душевной пустотой“. Но нигдѣ такъ гениально, умно, мѣтко и притомъ сжато не заклеименъ этотъ типъ со всѣми своими развѣтвленіями (долго и потомъ ледѣянный въ нашемъ обществѣ и литературѣ), какъ въ слѣдующихъ стихахъ. Онѣгинъ оставилъ у себя въ библіотекѣ только

Пѣвца Гуяра и Жуана,
Да съ нимъ еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный чловѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно:
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ!

Много и прекрасно было говорено объ объективности Пушкина, т. е. объ этой способности постигать предметъ въ немъ самомъ, какъ онъ дѣйствительно есть и воспроизводить его въ его собственной правдѣ. Я поз-

волю себѣ только высказать мнѣніе, что эта способность опять таки гнѣздится въ глубинахъ Русскаго духа. Едва ли не воспитывается она въ Русскомъ народѣ самымъ общиннымъ и хоровымъ строемъ его жизни, мало благоприятствующимъ развитію субъективности и индивидуализма. Думаю также, что и самый нашъ ви́шній просторъ, ширь этого народнаго союза и братскаго чувства въ объемъ свыше полусотни милліоновъ сердець, все это не можетъ не способствовать нѣкоторой широтѣ духа и многосторонности пониманія. Намъ легче быть объективнѣе, чѣмъ кому другому. Кромѣ того, Русскій человѣкъ, непричастный исторіи Европейскаго Запада, поставленъ въ выгодное относительно его положеніе уже потому, что можетъ обозрѣвать его извнѣ, судить о немъ съ тою свободою и всесторонностью, которой мѣшаютъ національныя междоусобныя пристрастія мѣстныхъ западныхъ писателей. Русское искусство и въ этомъ отношеніи предварило нашу Русскую науку, еще далеко не освободившуюся изъ своего духовнаго плѣна.... Образцомъ такого объективнаго постиженія являются у Пушкина всѣ его воспроизведенія Европейской жизни. Возьмите, напр. его „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“—это мастерское твореніе, еще недостаточно оцѣненное критикой, „Скупой Рыцарь“, „Каменный гость“, самое посланіе къ Юсупову съ блестящимъ очеркомъ Европы конца прошлаго вѣка, и пр. и пр. Самыя заимствованія у иностранныхъ писателей (и не у однихъ только Европейскихъ) и такъ называемыя „подражанія“ становятся у Пушкина, опять таки вслѣдствіе его объективной способности, вполне самостоятельными созданіями и даже выше, большею частію, подлинниковъ или образцовъ. Таковы: „Ширь во время чумы“, стихотвореніе изъ Буньяна, подражанія Алжорану, пѣсни Западныхъ Славянъ, заимствованныя у Мериме, и множество другихъ.

Не могу пройти молчаніемъ упрекъ, дѣлаемый Пушкину въ аристократизмъ или чванствѣ своимъ стариннымъ родомъ, выразившемся будто бы, между прочимъ, въ его „Родословной Езерскаго“. Упрекъ истинно забавный и относительно аристократизма несправедливый уже потому, что наши аристократы, къ сожалѣнію, весьма мало интересуются своими историческими предками. Пушкинъ дѣйствительно зналъ и любилъ своихъ предковъ. Чтожъ изъ этого? Было-бы желательно, чтобъ связь преданій и чувство исторической преемственности были доступны не одному дворянству (гдѣ оно почти и не живетъ), но и всѣмъ сословіямъ; чтобы память о предкахъ жила и въ купечествѣ, и въ духовенствѣ, и у крестьянъ. Да и теперь между ними уважаются старинныя честныя роды. Но что въ сущности давала душѣ Пушкина эта любовь къ предкамъ? Давала и питала лишь живое, здоровое историческое чувство. Ему было пріятно имѣть черезъ нихъ, такъ сказать, реальную связь съ родною исторіею, состоять какъ бы въ историческомъ свойствѣ и съ Александромъ Невскимъ, и съ Иоаннами, и съ Годуновымъ. Русская дѣтонись уже не представлялась ему чѣмъ-то отрѣшеннымъ, мертвою хартіею, но какъ бы и семейною хроникою. За то ужъ какъ и умѣлъ онъ воспроизвести въ своей поэзіи простую

предѣсть лѣтописнаго языка и самый образъ Русскаго лѣтописца (въ Бодуновѣ)! Онъ и въ современности чувствовалъ себя всегда какъ въ исторической рамкѣ, въ предѣлахъ живой, продолжающейся исторіи. Посмотрите, какъ чутко отзывается онъ на всѣ истинно-великія Русскія событія своей эпохи, какъ горячо принимаетъ къ сердцу и честь, и славу, и самое высшее достоинство Россіи; какой негодующій стихъ бросаетъ онъ въ отвѣтъ „Клеветникамъ Россіи“, скликавшимъ всю Европу въ новый противъ насъ крестовый походъ! Пушкинъ былъ живой Русскій, исторически-чувствовавшій человѣкъ, и не принадлежалъ къ числу доктринеровъ, которые не смѣютъ отдаться самымъ простымъ, естественнымъ движеніямъ Русскаго чувства безъ справокъ съ своей доктриной. Пушкинъ любилъ Русскій народъ не отвлеченно, а вмѣстѣ съ тою реальною историческою формою, въ которую онъ сложился и въ которой живетъ и дѣйствуетъ въ мірѣ,—любилъ и Русскую Землю, и Русское Государство, держа ихъ въ своей душѣ въ томъ тѣсномъ любовномъ союзѣ, въ какомъ содержитъ ихъ и душа народа, вопреки всѣхъ временныхъ ошибокъ и уклоненій государственной власти. Но никогда не слагалъ онъ хвалебныхъ одъ живымъ носителямъ этой власти, а если и „пѣлъ“ ихъ, то повинуюсь лишь искреннему, прекрасному движенію сердечнаго сочувствія, и тайно, между ближайшими друзьями, не предназначая стиховъ для печати.

На лирѣ скромной, благородной,
Земныхъ боговъ я не хвалилъ
И силѣ, въ гордости свободной,
Кадиломъ лести не кадилъ.
Свободу лишь умѣя славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожденъ царей забавить
Стыдливой Музою моею.

Но въ тоже время онъ „Елисавету тайно пѣлъ“. Въ день лицейской годовщины 19 Октября 1825, въ посланіи къ друзьямъ, за кого предлагаетъ и пьетъ первый кубокъ сосланный, у себя въ деревнѣ, поэтъ?

. . . простимъ ему гоненье:
Онъ взялъ Парижъ и основалъ Лицей!

Его стихи „Другъ и Поэтъ“, гдѣ воспѣвается посѣщеніе Наполеономъ чумныхъ, были вызваны великодушнымъ поступкомъ Государя Николая Павловича, который, узнавъ о появленіи холеры въ Москвѣ, помчался въ Москву (а холера считалась тогда наравнѣ съ чумою), куда и пріѣхалъ вечеромъ, въ оцѣпленный городъ,—на что и намекается стихами:

Или Москва пустынно блещетъ,
Его пріемля, и молчитъ...

Но никто не разумѣлъ этого намека, даже стихи были напечатаны безъ подписи Пушкина въ Телескопѣ. Одинъ Погодинъ былъ посвященъ Пушкинымъ въ тайну и открылъ ее печатно лишь послѣ смерти нашего благороднѣйшаго изъ поэтовъ. Сохраняя всегда во всемъ полную нравственную свободу и независимость художника, Пушкинъ не былъ пѣвцомъ ни официальныхъ торжествъ, ни официального величія: былъ чуждъ и слѣпаго, укаго національнаго эгоизма. Россія для него имѣла широкое историческое „предназначеніе“ не только Славянское, но и мировое. Онъ возглаголетъ не проклетіе Наполеону, вшивнику памятнаго ему нашествію на Москву 1812 года, а хвалу:

Хвала! Онъ Русскому народу
Высокій жребіи указалъ
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ,—

а когда въ 1829 г. Русскія войска двинулись къ Константинополю, онъ напоминалъ имъ, что они только снова обрѣли старый, Олеговскій еще путь. . . . Да, Пушкинъ былъ живой Русскій, исторически-чувствовавшій человекъ. Историческое чувство, историческое сознаніе! . . . Да вѣдь это значитъ—уваженіе къ своей землѣ, признаніе правъ своего народа на самобытную историческую жизнь и органическое развитіе; постоянная память о томъ, что предъ нами не мертвый матеріалъ, изъ котораго можно лѣпить какія угодно фигуры, а живой организмъ, великій, своеобразный, могучій народъ Русскій, съ его тысячелѣтнею исторіей! Да не въ томъ ли вся сумма нашихъ бѣдъ и золъ, что такъ слабо въ насъ во всѣхъ, и въ аристократахъ, и въ демократахъ, Русское историческое сознаніе, такъ мертвенно историческое чувство!

И конечно не исчерпалъ своей задачи, но, кажется, все же нѣсколько уяснилъ, въ чемъ я вижу Русскую стихію поэзіи Пушкина. Это былъ первый истинный, великій поэтъ на Руси, и первый истинно-Русскій поэтъ, а потому самому и народный, въ высшемъ значеніи этого слова. Онъ и до сихъ поръ самый Русскій изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ. Онъ первый внесъ правду въ міръ Русской поэзіи и разрѣшилъ плѣнь Русскаго народнаго духа въ доступной еху сферѣ искусства. Какъ орелъ паритъ надъ нами и до сихъ поръ его поэтической гений, широко простирая крылья, нигдѣмъ доселѣ не опереженный,—во вѣки гордость, слава и любовь Русской земли!

Не всѣ, конечно, стороны народной жизни и духа нашли себѣ выраженіе въ созданіяхъ Пушкина; тѣмъ не менѣе, мы еще только теперь начинаемъ dorостать нашимъ сознаниемъ до смысла всѣхъ тѣхъ откровеній, которыя таятся въ глубинахъ его поэзіи. И не одному только искусству указалъ онъ путь, но всей вообще Русской мысли, во всѣхъ ея разнообразныхъ проявленіяхъ, въ словѣ и въ жизни.

Пусть же воздвиженіе ему памятника станетъ въ самомъ дѣлѣ событіемъ и новою эрою въ нашей общественной жизни. Пусть изваянный въ мѣди образъ этого всемірнаго художника и Русскаго народнаго поэта немолчно зоветъ чреды смѣняющихся поколѣній къ труду народнаго само-сознанія, къ плодотворному служенію и с т и н ѣ на поприщѣ п р а в д ы н а р о д н о й,—чтобы сподобиться наконецъ Русской „интеллигенціи“ стать дѣйствительнымъ высшимъ выраженіемъ Русскаго народнаго духа и его всемірно-историческаго призванія въ человечествѣ!

2. Рѣчь издателя «Русскаго Архива».

Вы мнѣ позволите, мм. гг., по свойству моихъ занятій, указать на тѣ и с т о р и ч е с к і я явленія, при которыхъ возшло и засіяло солнце Русской поэзіи, лучшее достояніе нашей прошедшей жизни, наша гордость и утѣшеніе въ жизни современной.

Великіе писатели возникаютъ обыкновенно во времена возбужденія государственныхъ силъ. Пушкинъ родился, при Павлѣ, почти черезъ два года послѣ славнаго и н а р о д н а г о царствованія Екатерины. Его колыбель оглашалась громами Русской славы. 1799 годъ — это годъ Суворовскаго похода, когда Русскій человѣкъ совершалъ удивительные подвиги въ Италіи, въ ледникахъ и пропастяхъ Альпійскихъ. Нѣтъ сомнѣнія также, что съ ранняго дѣтства Пушкинъ слышалъ рассказы о рѣзкихъ перемѣнахъ во внутренней жизни нашего отечества. Устные преданія о необыкновенномъ тогдашнемъ времени спозаранку побуждали чуткаго мальчика задумываться надъ вопросами жизни общественной. Въ то время мы уже не могли жить безъ тѣсной связи съ Западною Европою; а тамъ едва остывала лава, которая пролилась изъ кратера Франціи и хмѣльное дѣйствіе которой такъ замѣтно въ новѣйшей исторіи нашей и въ первоначальной дѣятельности Пушкина.

Отрокомъ, въ стѣнахъ Царскосельскаго дворца, въ Лицеѣ, учрежденномъ для приготовления государственныхъ дѣятелей, застала Пушкина славная эпоха 1812 года.

И племена сразились,
Русь обняла кичливаго врага....

Никто у насъ не говорилъ о томъ времени такъ задушевно и выразительно, какъ Пушкинъ:

Напрасно ждалъ Наполеонъ,
Послѣдней славой упоенный,
Москвы колыбно-преклоненной
Съ ключами стараго Кремля.

Нѣтъ, не пошла Москва моя
Къ нему съ повинной головою.
Не праздникъ, не приѣмный даръ,
Она готовила пожаръ
Нетерпѣливому герою.

Можно сказать, что поэзія Пушкина была прекраснѣйшимъ плодомъ тогдашняго подъема народной Русской силы. Дѣтство навѣяло ему пѣсни свободы личной и гражданской; великія войны, во время которыхъ протекло его отрочество, запечатлѣлись въ душѣ его помышленіями о свободѣ государственной и народной.

Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы,

вспоминалъ онъ объ императорѣ Александрѣ Павловичѣ.

Вообще главною струною въ душѣ Пушкина всегда и до конца было чувство свободы, живая потребность независимости личной, народной и государственной, и къ концу жизни своей (21 Августа 1836 года), такъ сказать, обзрѣвая пройденное поприще, онъ могъ сказать про себя, въ подлинномъ наброскѣ стихотворенія П а м я т н и к ъ :

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что звуки новые для пѣсенъ я обрѣлъ,
Что въ мой жестокий вѣкъ возславилъ я свободу
И милосердіе воспѣлъ.

Послѣ нашей великодушной борьбы за народное освобожденіе, видимъ другое важное историческое событіе. Явилась безсмертная книга Карамзина, открывшая Пушкину неиссякаемые источники своенародныхъ вдохновеній. Имя Карамзина должно быть съ благоговѣйною признательностью помянуто на Пушкинскомъ праздникѣ. Своимъ умиряющимъ вліяніемъ онъ спасъ Пушкина отъ тѣснаго заточенія; своими наставленіями онъ указалъ ему на внутреннее самосовершенствованіе. Помянемъ вмѣстѣ съ нимъ Дельвига, Жуковского, князя Вяземскаго, Плетнева, Баратынскаго за ихъ беззапятную, никогда не измѣнявшуюся дружбу къ Пушкину.

Проживъ безвыѣздно болѣе двухъ лѣтъ въ глухой деревнѣ, Пушкинъ усвоилъ себѣ прелесть простонародной поэтической рѣчи, и тамъ же обратился къ поэзіи Священнаго Писанія. По свидѣтельству близкихъ къ нему лицъ, онъ зналъ наизусть многія страницы Св. Евангелія и весь Псалтырь: таково было историческое воздѣйствіе, произведенное на него Русскою старинною жизнію.

Къ концу Александровскаго царствованія дарованіе Пушкина вполнѣ опредѣлилось и окрѣпло. Событія внѣшнія уже не могли измѣнить его сущности; самъ онъ возымѣлъ великое чарующее дѣйствіе на современниковъ. Наступило новое царствованіе.

Ихъ было много на челнѣ,
Иные парусъ напрягали,
Другіе дружно упирали
Въ глубь мощны весла.

Въ тишинѣ,
На руль склонясь, ихъ кормщикъ умный
Въ молчаньи правилъ грузный челнъ;
А онъ, безпечной вѣры полнъ,
Пловцамъ онъ пѣлъ.... Вдругъ лоно волнъ
Измялъ съ налету вихоръ шумный....

Въ это новое царствованіе Пушкинъ написалъ лучшія свои сочиненія.

Горячая любовь къ роднѣ, твердая вѣрность отечеству, изученіе старинны и народности, возстановленіе Русскаго слова въ правящихъ сферахъ общества, уваженіе къ нашимъ писателямъ, изъ которыхъ съ однимъ царская семья обращалась какъ съ своимъ другомъ, а другой призванъ былъ воспитывать Наслѣдника Русскаго престола; все это, еще прежде возвращенія поэта на свободу, расположило его къ новому Государю. Въ откровенной бесѣдѣ съ пріятелями и между прочимъ съ Мицкѣвичемъ, Пушкинъ говаривалъ, что онъ невластенъ надъ собою въ своихъ чувствахъ къ Николаю Павловичу....

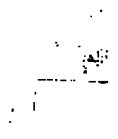
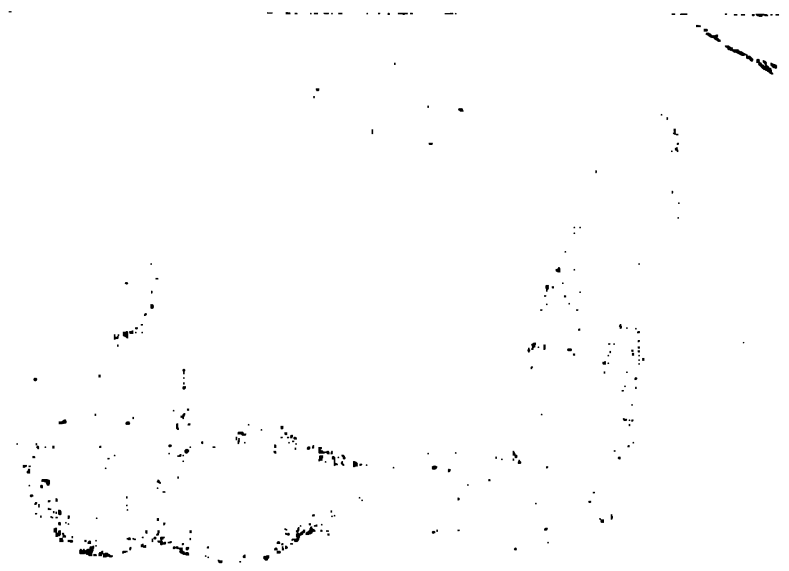
Текла въ изгнаньи жизнь моя,
Влачилъ я съ милыми разлуку;
Но онъ мнѣ царственную руку
Простеръ, и съ вами снова я.

Государь съ первой бесѣды оцѣнилъ Пушкина. „Я провелъ цѣлый часъ съ самымъ замѣчательнымъ человекомъ въ Россіи“, отозвался онъ Блудову 8 Сентября 1826 года.

Господа! Празднуя память великаго поэта, помянемъ добрымъ словомъ Государя, который освободилъ его изъ ссылки, изъ-подъ тройнаго надзора мѣстнаго губернатора, мѣстнаго предводителя и сосѣдняго архимандрита, и который, хоть и тяжело иной разъ бывало положеніе Пушкина, умѣлъ усладить послѣдніе часы его жизни извѣстнымъ трогательнымъ письмомъ своимъ.

Искренняя ему благодарность отъ безпристрастнаго потомства.





6.-

18

ЦѢНА ОДИНЪ РУБЛЬ.

Силадъ изданія въ Москвѣ, на Ермолаевской Садовой, въ Конторѣ Русскаго Архива.

Тамъ же можно получать первый выпускъ настоящаго изданія. Цѣна ОДИНЪ рубль.







PG
3350
.A4.1
v.2

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD CALIFORNIA

94505

